

ГРАНИ

GRANI

143

1987

Verlagsort: Frankfurt / M, Januar-März

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

**к литературной молодежи, к писателям
и поэтам, к деятелям культуры
— ко всей российской интеллигенции**

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет вам возможность публиковать те ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти произведения могут быть в журнале «Грани», в еженедельнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Будет сделана попытка их публикации и на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом, который будет строго соблюдаться издательством.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу, так и через иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**Possev-Verlag
Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt am Main 80**

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы помогаем российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик.

За свободное Творчество! За свободную Россию!

Издательство «ПОСЕВ»



Журнал основан в 1946 году
Основатель журнала Е. Р. Романов

Редактировали:

1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов, Б. В. Серафимов

1947 – 1952 Е. Р. Романов

1952 – 1955 Л. Д. Ржевский

1955 – 1961 Е. Р. Романов

1962 – 1982 Н. Б. Тарасова

1982 – 1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч

1984 – 1986 Г. Н. Владимов

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XLII

№ 143

1987

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Ирина РАТУШИНСКАЯ. Из новой книги. <i>Стихи</i>	5
Памяти Владимира К о р м е р а	10
Владимир КОРМЕР. Я — математик. <i>Глава из романа</i>	13
Даниил АНДРЕЕВ. Из "Избранного". <i>Стихи</i>	42
Вячеслав СОРОКИН. Любимый человек. <i>Рассказы</i>	55
Ю. КУБЛАНОВСКИЙ. От истоков до устья... <i>Стихи</i>	76

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Мария ШНЕЕРСОН. Главы, напечатанные петитом	86
Валентина СИНКЕВИЧ. Творческое одиночество Марины Цветаевой	109

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Марк ПОПОВСКИЙ. Мария Степановна	117

ПУБЛИЦИСТИКА

Д. ПОСПЕЛОВСКИЙ. Размышления над книгой	167

ИСТОРИЯ

Николай РОСС. Врангель и кронштадтцы	192

ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

Прот. К. ФОТИЕВ. "Дионис и прадионисийство" в свете новейших изысканий	220
Григорий АРХАНГЕЛЬСКИЙ. О простоте и сложности русской поэзии	237
П. КРАТОВ. О роли художника в персоналистической картине мира	251

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Михаил ХЕЙФЕЦ. Как воспитывают коммунистов	276
Наталья МАЛАХОВСКАЯ. Бочка меду и ложка дегтя	282
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ	293
КНИГИ НА ОТЗЫВ	296

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Февраль — Март 1917 года	297
П. Н. МИЛЮКОВ. Пять дней революции	299
Ген. А. И. ДЕНИКИН. Революция в Петрограде. Революция и армия	322

Ирина РАТУШИНСКАЯ

Из новой книги

*

Цапля ходит болотом,
Ставит циркулем ноги.
Холод лежит над лесом
Зеленоватой тенью.
Воздух, серый и плотный,
Сам под крыло ложится.
Сверху — сумерки неба,
Снизу — пряжа растений.
Кто там играет с ветром?
Кто, изменяя голос,
Дважды позвал из леса,
Но не пошел навстречу?
Луч забытого света
Зябко пробует воду.
Вот и пошел кругами
Наш бесконечный вечер.
Звери, люди и птицы,
И голоса, и блики —
Все мы проходим рябью,
И исчезает каждый.
Кто из нас повторится?
Кто в кого перельется?
Что нам нужно на свете
Для утоленья жажды?

Верьте мне, так бывало часто:
 В одиночке, в зимней ночи —
 Вдруг охватит теплом и счастьем,
 И струна любви прозвучит.
 И тогда я бессонно знаю,
 Прислонясь к ледяной стене:
 Вот сейчас меня вспоминают,
 Просят Господа обо мне.
 Дорогие мои, спасибо
 Всем, кто помнил и верил в нас!
 В самый лютый острожный час
 Мы, наверное, не смогли бы
 Все пройти — из конца в конец,
 Головы не склонив, не дрогнув —
 Без высоких ваших сердец,
 Озаряющих нам дорогу.

СВИДАНИЕ

Все равно с тобою не знать никогда,
 Что нам завтра судьба обещает.
 Наше дело — бесстрашие, если беда,
 И спокойствие, если прощанье.
 Улыбнись через силу, смотри мне в глаза —
 Чтобы так и запомнить друг друга!
 Нам не время еще отпустить тормоза,
 Не пройдя даже первого круга.
 Мне не время по-бабьи еще зареветь
 На плече твоём, твердом от муки.

Пять минут — и меня уведут запереть
За воротами новой разлуки.
Громыхайте, ключи: нам души не сомнут
Штемпеля на обратном билете!
Будет время — и пять этих лютых минут
Нам зачтутся — за сколько столетий?

*

Родина, ты мне вырастаешь в ребра!
Погоди, помедли, не теперь!
Я тебя так редко помню доброй.
Ты свирепа, как библейский зверь.
Снова дождик лупит по бетону,
Хлещет по решеточной броне.
Надышаться ветром законным
Дай мне сквозь намордник на окне!
Знаю: этой ласки ждать нелепо,
И смолчу, и боль не покажу.
Я возьму сегодня пайку хлеба
И на завтра корку отложу.
Сколько лет, склоняясь над стихами,
Мне их прятать, слыша звон ключей?
Сколько ты отмеришь мне дыхания,
Сколько лютых камерных ночей,
Родина? В твоих тяжелых лапах
Так до стога трудно быть живой!
Скоро ль день последнего этапа,
Чтоб могла ты прорасти травой
Сквозь меня, затихнуть надо мною,
Ветер уведя за облака?
Впрочем, погоди еще с отбоем:
Видишь — не дописана строка
Главная.

*

Страна задумчивых вокзалов
И вечно жалостливых баб!
Своих детей — силен ли, слаб —
Ты всех сомнением наказала!
Твои вопросы — до рассвета,
Твои укоры — до седин,
И нет бесспорного ответа
Ни на один. Ни на один.
И как нам жить с тобой, такую?
Куда — с твоей землей в горсти?
Ты смотришь, заслонясь рукою:
Забуть? проклясть? перекрестить?

*

Время складками ложится
И стекает по плечам.
Слышно: площадь веселится —
Ожидают палача.
Пьяны люди, сыты кони,
То ли топот, то ли пляс...
В каждом доме на иконе
Беспощадно смотрит Спас.
Кто там в сумерках кружится?
Погоди — еще светло...
Время петлями ложится.
Глядь — под горло подошло.

Царь Приам проходит по стенам,
 А внизу клубится осада.
 Как душа расстаётся с телом —
 Без отчаянья и досады —
 Из немыслимого покоя
 Глядя в город — уже вчерашний,
 Присягнув обреченной Трое,
 Он не двинется с этой башни.
 За высокий глоток прощанья
 Он Ахилла просил о сыне.
 Все исполнено. И отныне —
 Никаких забот за плечами.
 Посмотрите, люди и боги:
 На лице — ни страха, ни боли.
 Вот стоит он, седой и строгий —
 Как раба отпустив на волю.
 Вот еще посмотреть на кровли,
 Да на храм — беззащитно-белый.
 А потом захлебнуться кровью
 От стрелы, что уже запела.



Памяти Владимира Кормера

В Москве 23 ноября 1986 г. в шесть утра — от последствий тяжелой операции по удалению раковой опухоли — скончался известный современный писатель Владимир Кормер.

Столь безвременная кончина сорокасемилетнего автора, много работавшего, писавшего и не сумевшего опубликовать в Советском Союзе ни строчки — неизбежно трагична и трагична вдвойне: от нас ушел не только большой и своеобразный писатель, но — целый человеческий мир, микрокосм: Кормер был яркой и незаменимой фигурой в Москве 70-х — 80-х гг., человеком больших знаний, высокого духа, редкой коммуникабельности, яркого интеллекта и тонкого остроумия.

В. Ф. Кормер родился в Красноярском крае 29 января 1939 г., где на поселении находился в то время его отец, арестованный еще в 1931 году.

Кормер окончил мехмат МИФИ, однако, начиная с 70-х гг., по специальности уже не работал, целиком предавшись писательству и гуманитарной деятельности — в течение ряда лет В. Кормер вел иностранный отдел журнала "Вопросы философии".

Его первый роман "Хроника случайного семейства" несколько лет пролежал в портфеле "Нового мира", но несмотря на одобрение референтов, так и не появился в журнале.

В 1979 году парижскую премию Даля получила повесть писателя "Крот истории", сразу же опубликованная в УМСА-Press и переведенная на французский и итальянский. В этой повести Кормер поразительным образом предсказал и психологически проанализировал грядущую тогда оккупацию Афганистана.

Кормер был вынужден уйти из "Вопросов философии"

и — вплоть до начала болезни работать подсобником у московских скульпторов.

Однако писатель не оставлял попыток хоть как-то адаптироваться в реальности советского литературного мира, полагая, что публиковаться в России и важнее и нужнее, чем за границей.

Весной 1980 года Вл. Кормер вместе с Евг. Поповым, Дм. Приговым, Евг. Харитоновым и др. московскими писателями организует независимое литературное объединение "Клуб Беллетристов". Литераторы разработали даже конкретный устав Клуба: в рамках лояльности они попытались учредить не курируемую Главлитом литературную группу. Но брежневские чиновники не хотели, чтобы что-то менялось, скандал с "Метрополем" не послужил уроком бонзам, охранительно продлевавшим культурную и экономическую стагнацию общества. Инициаторов Клуба подвергли обыскам, одного из них — Евг. Козловского — арестовали.

Столь фатально закончилась еще одна попытка Владимира Кормера существовать в современной России в качестве, данном ему природой, — качестве независимого писателя. Не желая эмигрировать, Кормер и подобные ему писатели и поэты, не продавая совесть, хотели печататься, существовать литературным трудом, механизм же системы отбрасывал их раз за разом все жестче... У Вл. Кормера в начале 80-х провели два многочасовых обыска, его затаскали на Лубянку.

Любопытно, правда, что выдвинутые именно Кормером и его друзьями идеи солидарного литературного содружества были позднее использованы властями Ленинграда, где самиздатовские авторы легально объединились в творческое сообщество "Клуб—81" и даже в 1985 г. выпустили официально литературный альманах "Круг".

Владимир Кормер был плодовитым и разносторонним писателем.

Помимо вышеупомянутых произведений нам известна его повесть "Человек плюс машина" — остроумный детектив из быта провинциального НИИ — и пьеса "Лифт". Магистральным произведением писателя можно, очевидно, считать его многоплановый и полифоничный роман "Наследство", законченный тридцатипятилетним автором еще в 1975 году, тогда же попавший на Запад, но по разным при-

чинам не нашедший издателя. Возможно, людей, от которых зависела публикация "Наследства", шокировала непривычная тогда критика диссидентства. Между тем Кормер в "Наследстве" мастерски вскрыл те отрицательные аспекты в правозащитном и духовном движениях, которые привели к "показательным процессам" Якира, Красина, Регельсона, Дудко... Великолепные фрагменты романа на Западе теперь напечатаны (Литературное приложение к газете "Русская Мысль" от 27. 12. 1985 и "Грани" № 141). Роман "Наследство" вскоре будет опубликован полностью.

В начале 80-х гг. у Кормера была четкая возможность уехать, — опасаясь скандала, КГБ, очевидно, не стал бы ему перечить. Кормер сделал выбор — остался.

Он прожил — обычную на поверхности — жизнь московского интеллигента. Но за этой внешней оболочкой — трагичная глубина. Еще одно творчество загнано куда в стол, в подполье, в "трофейную" коллекцию московских гебистов.

... Владимир Кормер похоронен на Митинском кладбище в Планерной, что по Ленинградской дороге. Рассказывают, что певчие и священник (это теперь редкость) сопровождали после отпевания гроб до могилы и пели Вечную Память. Присоединимся и мы к этому восклицанию заупокойной молитвы, выразим соболезнование жене и двум детям покойного, а также уверенность, что его книги будут опубликованы и не потускнеют во времени.

Ю. Кублановский



Я – математик

*Глава из романа "Наследство"**

Зайдя к Наталье Михайловне в палату, милая пожилая докторша сказала:

— А я только что познакомилась с вашим сыном, Наталья Михайловна. Какой очаровательный мальчик. Он сейчас придет сюда.

— Да уж малому-то сорок, — ответила Наталья Михайловна, ничем не обнаружив своего волнения, и лишь потом поинтересовалась, — он что же, заходил к вам?

— Нет, не совсем. Представьте себе, Споковскому, — (это был директор клиники), — давно был нужен математик для исследований, для консультаций, и вот кто-то указал ему на вашего Сергея. Какие бывают совпадения, правда?

Наталья Михайловна только и подумала про себя: верно ли пожилая докторша не знает, как было на самом деле, или, разумеется, обо всем догадалась, но хитрит, чтоб не расстраивать ее. И тотчас же в душе ее стала разрастаться тревога: здешние врачи, конечно, были достаточно опытны и прекрасно поняли, что с ее сыном, и лишь приняли на время его игру.

Сама она не сомневалась, что значат эти слова — "кто-то указал ему на вашего Сергея", и картина про-

* См. "Грани" № 141.

исходящего нарисовалась ей точно. Все это значило, что те две, почти уже три, недели пока она была здесь, ее сын, боясь как огня сумасшедшего дома, боясь просто так прийти сюда и навлечь одним своим видом на себя подозрения в сумасшествии, вынашивал фантастические идеи *проникновения* и после долгих трудов разработал план, который был, наверное, не лишен *теоретической смелости* и изящества, был построен на тонком понимании чужой психологии, но который, тем не менее, практически должен был обязательно разрушиться из-за того, что главный исполнитель не мог выдержать свою роль до конца, — быть по-настоящему расчетливым: принимал близко к сердцу чужие отношения, ввязывался в них, кого-то защищал, кого-то ненавидел, и кончал тем, что пробуждал всеобщее беспокойство, страхи и желание отделаться от него любой ценой.

Он был физик, теоретик с блестящими, как говорили, математическими способностями, хотя Наталья Михайловна в этом ничего и не понимала.

Уже на втором курсе института его заметили и взяли работать в одну огромную сверхсекретную лабораторию, в которой он, судя по всему, также выделялся и был личностью весьма популярной, хотя там для разработки секретной их проблемы собрали немало талантов. Наталье Михайловне не очень нравилось, что это *секретная* лаборатория, что сын ее работает за колючей проволокой; но не нравилось не потому даже, что она догадывалась, что работают они над *оружием*. Об этом всерьез почему-то не думалось, да она и не знала точно в чем там дело. Беглые размышления лишь оставляли в душе неприятный осадок, оттого что все равно нельзя было решить, хорошо это или нет, и она не считала себя вправе сказать сыну: "Это *безнравственно*. Как ты можешь заниматься этим?"

Ведь то, чем ты так увлечен, предназначено для убийства людей”.

Но иногда ей хотелось сказать ему нечто подобное, — когда он слишком радовался какой-нибудь лабораторской удаче и, захлебываясь, толковал о ней с зашедшими к ним друзьями-сослуживцами. Наталья Михайловна со смутным испугом слушала их речи, в которых был исключен и тщательно обходился (из соображений секретности) главный объект, конечная цель, а мелькали только становившиеся постепенно знакомыми фамилии, имена, шифры тем и объектов, или *варианты решений*, но тут же ловила себя на том, что с удовольствием наблюдает, как ровно и быстро пишут они строчки формул, как аккуратно делают численные выкладки — *школа*, привычка к тяжелому черному труду уже чувствовалась в них .

Так, то пугаясь, то любуясь ими, сыном, который — она не сомневалась — говорил ярче и работал лучше их всех, она не могла решиться вдруг заговорить об оружии, о бомбе, о гибели, — слова эти начинали казаться ей пошлыми, высокопарными; и оттого что, осаживая себя, ей приходилось повторять себе другую пошлость, что, дескать, ”так уж устроен мир”, — она злилась и на себя и на сына, и спешила уйти под предлогом, что не хочет мешать им.

Все это было особенно неприятно ей потому, что она видела, как нравится это сыну, какого очарования исполнен для него режимный распорядок, эти шифры, ”особый” отдел, военные мундиры, которые временами нашивали глубоко штатские евреи-академики, с каким рвением сын предается этой игре в солдатики и торжествует, воображая и себя солдатом. Он и напоминал солдата. Наталья Михайловна хорошо представляла себе, как сред-

него роста, крепкий, квадратный, породой в отца, с горящими глазами (в Александре Матвеевиче была цыганская кровь), он не ходит, а стремительно носится по лабораторским коридорам, топоча, будто боевой слон, башмаками сорок пятого размера, останавливается с кем-нибудь, развивая свои идеи, и в разговоре все время прыгает, не в силах сдержать кипящую в нем энергию. "Что ты все прыгаешь?" — укоряла его Наталья Михайловна, замечая, что собеседники его на улице, например, часто смущаются. — "Чтоб быть в постоянной боевой готовности!" — отвечал он. — Николай Николаич учит нас: "Вы — солдаты! Вы как должны? Ружья наперевес! Где тот интеграл, который надо взять?!" — и прыгал на месте, имитируя удар штыком, раз-два.

Наталья Михайловна не находила в нем ни честолюбия, ни тщеславия. Она полагала одно время, что ему, может быть, льстит ощущение исключительности, которое неизбежно должно было возникнуть у этих мальчиков, поставленных в такие условия, но у ее сына не было и этого, по-настоящему он был поглощен лишь своей принадлежностью к лаборатории, он был человеком *оттуда*, гордился только этой своей принадлежностью, но не собой лично, и ничего вокруг для него не существовало. Только свои лабораторские кумиры, боги, идолы — начальники, профессора и академики, учившие его считать и ровно выписывать столбцы и строчки формул; он был всецело их человеком — душою и телом. Наталья Михайловна заочно недолюбливала его учителей и наставников, зная насквозь по его отрывочным рассказам, по шуткам, которые он с торгом передавал ей, их истинный облик, мелкие человеческие привычки, слабости, жалкие пристрастия, и не могла уразуметь, почему ее сына так опьяняет этот стиль — смесь солдафонства и деше-

вого академизма. И страшась, что это калечит его, она не могла простить им, что они, его кумиры, по существу, равнодушны к нему, что они видят в нем лишь молодого сильного зверя, который прыгает по их команде, и чем выше он прыгает, тем лучше, и важны красота прыжка, искусство прыжка, а остальное неважно. Он же не раболепствовал перед ними, не старался сделать карьеру, *пролезть*, наметить себе иные выгоды, он хотел от них одного: чтобы они научили прыгать его еще выше, еще ловчее. Он даже не подражал им, словно знал, что это для него невозможно, — он мечтал лишь принадлежать им, раствориться в них, отказавшись от своей воли.

”Как ... монастырский послушник, — говорила о нем Таня. — Не иметь своей воли. Странное послушничество”.

Дети уже много лет — едва вышли из отрочества — стали совсем равнодушны друг к другу, хотя в отрочестве, — Наталья Михайловна знала это, — Сергей был тайно влюблен в ее приемную дочь. Он нелепо скакал тогда вокруг нее, тщился объяснить ей математику, интегралы и уравнения, она понимала, способности к этому были и у нее, но не упускала случая показать ему, насколько это неинтересно. Она пыталась, в свою очередь, *проповедовать* ему, пылко обращала его в веру, но убедившись, что это не удастся, охладела, смотрела с тех пор на него и слушала его рассказы с вежливым сожалением.

”Послушничество. Послушание. Нет, это солдатчина. Бедный мальчик, дитя военного времени”, — думала иногда Наталья Михайловна, надеясь все же, что, может быть, наваждение пройдет, и сыну предстанет и еще что-то, кроме высоких, неприступных стен, местных богов и службы.

К тому времени он уже окончил институт. Почти

сразу ему предоставили комнату рядом с лабораторией и обещали квартиру, как только он женится. Действительно, он вдруг собрался жениться на девушке оттуда же, из лаборатории. Наталью Михайловну это ободрило: женитьба была все же чем-то иным, подлинной жизнью, — хоть он и нашел, как ей показалось, из всего многотысячного коллектива жену наименее привлекательную. Молодая жена была расчетлива, практична, плохо воспитана и скоро стала груба и стервозна, но Наталья Михайловна сперва находила в этом даже хорошую сторону: такая жена могла совершить то, на что оказалась неспособна мать — вернуть сына к реальности, здраво разъяснить ему настоящую цену его учителей и богов, настоящее значение их к нему отношения.

Она не ошиблась. Выйдя замуж, конечно, не без обольщения перспективами, простиравшимися перед супругом, молодая жена приложила все усилия, чтобы направить его дикую волю в нужное русло, и начала и впрямь с того, что безжалостно ввела его в курс всей лабораторской закулисной механики, поведала ему истории всех возвышений и падений, взаимных счетов, тайных деловых связей и всем известным адюльтеров.

”Они тебя используют. Неужели ты не видишь этого? — кричала она мужу, в гневе от того, что он так инфантильно смотрит им в рот и ждет, пока они его похвалят. — Они используют тебя, твой талант, твои способности. Они сами уже ничего не хотят делать, хотят чтобы за них работали другие, такие дурачки как ты!” Примерно то же говорила она ему и о его сверстниках, из которых многие нередко пользовались его помощью, и немалой, обгоняя его, делая на его плечах карьеру, добиваясь чинов, благ и тому подобного.

Однако эффект в целом был не тот, какого обе женщины ожидали. Реальность приоткрылась молодому человеку, он узнал, что кроме учителей и интегралов есть еще доброжелатели, недруги, личные склонности, давняя вражда, тайные цели, дипломатия; он обнаружил, что есть еще и внешний мир, который тоже по-своему относится к их лаборатории, и с этим надо считаться. Он вдруг ощутил себя гражданином. Наталье Михайловне показалось, что он впервые за всю свою жизнь заметил наличие того, что называется *социальными отношениями*. Но было уже поздно, что-то было упущено безвозвратно: он не перестал чувствовать себя солдатом.

Только прежде он был солдат *чистого разума*, чистой науки (учителя его были жрецами этой чистой науки и все вместе они воевали против абстрактного мирового хаоса), теперь же вся лаборатория разбилась для него на ряды враждующих групп, взаимно простреливаемых огневых точек, опорных пунктов. Он был обязан воевать уже не с *хаосом* самим по себе, а с людьми, его олицетворявшими, и поддерживать других людей, олицетворявших *порядок, разум*. Короче говоря, он ввязался в институтскую интригу со всем своим пылом, то выступая на стороне "Николая Николаевича" и "Александра Петровича", то изменяя тому и другому и выдвигая новые фигуры, внося новый элемент хаоса в едва начавшую налаживаться структуру.

Наталья Михайловна с ужасом смотрела, как добрый ее сын, горя возбуждением, но как всегда ровно и аккуратно, чертит схемы военных действий, строит временные диаграммы введения свежих сил, возможных измен и контрударов со стороны других лабораторий (она уже знала, что это называется "применением кибернетических методов"), или, безумно волнуясь, запинаясь от старания по-воен-

ному рубить ясно и твердо, тоненько кричит в телефон:

— З-з-дравствуйте. Я Л-леторослев, я сотрудник с-с-ектора лаборатории... Николай Николаевич п-поручил мне...

Слова "проникновение", "группа прорыва", "психическая атака" не сходили у него с языка.

Наталья Михайловна не сомневалась, чем это кончится: и кумир Николай Николаевич и все его присные должны были возненавидеть своего добровольного помощника, которым еще недавно гордились. Молодая жена уже не могла спокойно смотреть на него. Беременная (она упустила время или не решилась сделать аборт), с выступившей вокруг глазниц пигментацией, страшная, она к концу срока, боясь выкидыша, переехала к родителям, да там и осталась. Счастливый отец прибежал туда раз, второй...

На третий его не пустили. Пытаясь хихикать и дурачиться, он попрыгал на газоне под окнами (они жили на первом этаже), кричал: "Ната, ку-ку, ку-ку, выгляни в окошко", — до тех пор, пока Ната, приоткрыв створку и высунув наружу голову с накрученным после ванны полотенцем, не заорала ему яростным шепотом (соседи уже выглядывали из других окон и старухи с детьми у подъездов, уставясь на него, поджимали губы): "Пошел отсюда на ..., мудак!" — и в истерике что-то еще, уже за закрытым окном, когда родители оттаскивали ее и задерживали штору. Он приехал к матери потрясенный, в лихорадке, то стараясь острить и тоненько смеяться, то начиная непослушными руками рисовать свои схемы, и, к удивлению Натальи Михайловны, ухитряясь все так же ровно и толсто вырисовывать стрелки и кружочки. Из этого отрывочного бреда Наталья Михайловна и восстановила всю кар-

тину происшедшего, с отчаянием размышляя, что с годами процедура реставрации по кусочкам сыновьяго бреда — того. "что было на самом деле", — становится все более неизбежной и привычной.

Между тем в лаборатории его кумиры, раздраженно кидая ему вслед "услужливого дурака", один за другим выставляли его. В это время умирал, изъеденный раком, многожды облученный, главный руководитель лаборатории. Он еще приходил и сидел иногда у себя в кабинете, но дни его были сочтены, и лаборатория готовилась к новой жизни и коренным перестройкам, неизбежным с появлением нового начальства. Улучив минуту, когда в коридорах никого не было, Леторослев скользнул в кабинет больного с пачкой вычислений и диаграмм в руках:

— Судьба проблемы в руках посредственности! — воскликнул он, подбегая к столу и становясь невытяжку.

Умудренный сложной жизнью и близкой смертью больной посоветовал ему на это — уходить из лаборатории *немедленно*, и сам звонил своим высоким министерским знакомым, рекомендуя им замечательного, подающего большие надежды математика, который наверняка поможет им решить задачи, возникающие в связи с внедрением кибернетики и вычислительной техники в народное хозяйство.

...Лаборатории больше не существовало. Изредка заходил один прежний сослуживец, правдоискатель и романтик, погрузневший и сделавшийся скептиком, да сосед-слесарь приносил невероятные рассказы о том, как пьянствуют разработчики и рабочие на новых, неудачных, многомиллионных установках; остальные, встречая во дворе, в окрестном парке, где они прогуливали своих детей или бегали в тренировочных костюмах, чурались Сергея. На-

талья Михайловна видела, что сын простил их скорее, чем они его, но не знала радоваться тому или нет. Лаборатории не существовало, — существовали Комитет, Главк, Министерство, и сын ее тем же срывающимся от волнения голосом кричал в трубку: "З-з-дравствуйте. Я — Леторослев. Я — с-сотрудник... Иван Александрович п-поручил мне!.." — и на другом конце провода снова пора-жались, зачем Иван Александрович связался с *таким товарищем*, а Иван Александрович, еще вчера очарованный блеском молодого ученого, его умением быстро, логически четко разбираться в том, что и самому ему, сорок лет проработавшему здесь и прошедшему всю служебную лестницу, оставалось неясным, потихоньку злился. Сын же пока еще не замечал этого — он опять был в бою на стороне чистого разума против хаоса, против посредственности, служившей этому хаосу агентом и забравшей в свои руки судьбу важнейшей государственной проблемы.

Друзьями сына теперь стали какие-то вовсе странные, малопонятные типы: полуэкономисты, полуинженеры, как ее сын, деквалифицированные, если не деклассированные, не знавшие, по-видимому, ничего толком, излагавшие свои мысли сбивчиво, поспешно, но одержимые одной идеей, — она одна и звучала рефреном во всех их горячих речах, ее на все лады они повторяли и писали во всех бумагах, которые в изобилии отправляли "на-верх", — как можно скорее внедрить кибернетику и вычислительную технику в народное хозяйство, и, в частности, в работу того Комитета, куда их так опрометчиво взяли в качестве группы "перспективных исследований", прикрепив организационно к главку этого самого "Ивана Александровича".

Правда, в эти годы вся страна, казалось, только

и говорила о "внедрении кибернетики", но Наталья Михайловна, слушая такие разговоры, всегда думала, что это чистая авантюра — пытаться внедрить электронные машины там, где еще считали на деревянных средневековых счетах, и, наблюдая новых приятелей сына, утверждалась в мысли что, пожалуй, права. Впрочем, они были не совсем уже молодые люди (в том числе, и ее сын) — им было около тридцати, а то и побольше, и в возбуждении их чудилась некоторая нервозность. Они подогревали себя, бодрились и смеялись коротким смешком, словно собирались на "дело". Наталья Михайловна профессионально прикидывала, есть тут состав преступления или нет: обойти начальство, распропагандировать его, заставить дать деньги на покупку машины, на ставки для сотрудников вычислительного центра, самим возглавить центр и, не ведая, что делать дальше, жить обещаниями, векселями, уверениями, что все будет "о-кей", "эффект колоссальный!". "Давайте мы и вам в тресте кибернетику внедрим", — шутя предлагали они Наталье Михайловне. — "Нет уж, — тоже в шутку отвечала она им. — У нас между прочим своих аферистов хватает". — "Кому-у киберне-е-е-тику-у внедрять?! — начинал петь ее сын, подражая точильщикам. — Кому-у киберне-е-е-тику внедрять!"

Наталья Михайловна смеялась вместе со всеми, но и тревожилась все больше. Слова "группа прорыва", "круговая оборона", "необходимый оперативный простор" — раздавались чаще и чаще. У Натальи Михайловны иногда возникало ощущение, будто она окончила по крайней мере школу Генерального штаба, настолько легко из обрывков этих условных военно-технических текстов она восстанавливала истину о состоянии все ухудшавшихся дел.

Еще один код долго оставался для нее нерас-

шифрованным, хотя возникал часто — "Понсов". Наталья Михайловна предполагала вначале, что это сокращенное наименование организации (последняя часть явно расшифровывалась как "научный совет"), потом решила, что это чья-то резиденция, сельцо, где расположился этот институт (вроде Панкова), и лишь затем поняла, что это субъект из плоти и крови. В один прекрасный день Понсов появился у нее, расшаркиваясь, кланяясь и улыбаясь. Он принес Наталье Михайловне торт и коробку конфет, и Наталья Михайловна, приняв незаслуженные дары и глядя на него в продолжение вечера, сообразила, кто он и в чем тут дело. Он был вылитый гоголевский Чичиков, но только Чичиков современный, который еще успел прихватить конец войны в парашютно-десантных войсках под Кенигсбергом, окончил после демобилизации какие-то юридические курсы, поработал следователем районной прокуратуры, и лишь затем уже, то ли согрешив, то ли заскучав от однообразных и тяжелых обязанностей отправился искать счастья в столицу, где его и вынесло неизвестно как на "внедрение кибернетики". Тронутая слегка сединой голова его была коротко стрижена "под бокс", затылок был прям и составлял одну прямую линию со спиной, впереди торчала гангстерская или фельдфебельская нижняя челюсть. Он ходил в костюме спортивного покроя, водил автомобиль... Но по душевному складу был — Чичиков.

С ним два мотива, — один, правда, не новый, — перекрыли все остальные. Во-первых, появился некий отставной генерал-покровитель, у которого Понсов с ее сыном теперь часто по вечерам пили на кухне чай и намечали планы многоцелевых операций. Хуже, однако, было другое — то именно, что с некоторого момента в их беседах Наталья

Михайловна слышала без конца повторяемое: "первый отдел, первый отдел". Наталья Михайловна долго не понимала, причем тут "первый отдел", то есть секретная часть; не удержавшись, спросила однажды у Чичикова: "Егор Петрович, а что же секретного в вашей работе?" — и только из тарбарщины, которою он посыпал в ответ, смекнула. Они намеревались объявить свои разработки секретными, чтобы их недруги не имели доступа к материалам, не имели возможности сказать, что вот это — ерунда, и никакого смысла не имеет. Сама Наталья Михайловна была убеждена, что последнее справедливо, и не ошиблась.

Скандал не замедлил разразиться. Специально составленная комитетская комиссия, и в ее составе приглашенный со стороны кандидат наук, математик, затребовав секретные материалы "группы Леторослева и Понсова", увидела только испещренные формулами и стрелочками с кружками листы. И чем дольше толковал Леторослев стороннему математику про "информацию", "пропускную способность канала", "избыточные коды", и чем громче вопил Понсов: "Генерал Аксельбантов поручил мне ... !" — тем подозрительней комиссия внимала претензиям старого генерала, а математик, краснея, что подставляет ножку коллегам, но исполненный сознания ответственности и долга, бубнил: "Непосредственно практического применения не имеет и секретного ничего нет".

Уволяясь из этого Комитета всей группой, они некоторое время сидели без работы, продолжая, как утверждал сын, начатую тему, и ожидая, кажется, что вот-вот комитетское начальство одумается и позовет их обратно. Потом кто-то из друзей-инженеров, устроясь первым в другой Комитет, убедил новое начальство, что такой человек, как Ле-

торослев, им нужен до зарезу. Началась новая история, как две капли воды похожая на предыдущую, и снова была "группа прорыва", "первый отдел" и *проблема* снова была "в руках посредственности". Но если прошлая операция заняла два года, то на сей раз хватило нескольких месяцев.

Снова Леторослев сидел дома, а Понсов-Чичиков, твердыми шагами отставного служаки обивал пороги комитетов и министерств, убеждая на своем военно-птичьем языке "внедрять кибернетику" и обещая представить "единственного в своем роде математика, который один лишь и способен решить все специфичные для данного ведомства проблемы".

Однако слава о них уже прокатилась, их уже знали, и хотя, — как объяснил Наталье Михайловне тот же прежний сослуживец сына по лаборатории, грустный скептик, — хотя то, что предлагал Леторослев, было не вполне все-таки бессмысленно, никто уже не хотел связываться с ними и рисковать. Генерал Аксельбантов тоже лишил их своего покровительства. К тому же и вид у сына был теперь далеко не самый свежий — сидя периодически без денег, он обносился, да и вообще постарел. Но главное, он потерял уверенность в себе, хорохорился, но разговаривать с людьми, предлагая им свои услуги, вовсе не мог, особенно с начальством; начинал не к месту хихикать, — не угодливо, а раешничая, — читал стихи, запинаясь, заикался (опыт, неудачи ничему не научили его), на короткое время загорался, но обещая прийти назавтра побеседовать снова, уходил уже обреченно. Энергия у него еще была, носился он еще довольно быстро, но быстрее чем прежде и бросал начатое. Понсов тоже постарел, поседел, обтрепался, и машина его едва ходила, дребезжа всеми составными частями, а чаще стояла, как он выражался, "на консерва-

ции". Остальные из компании, образуясь, постепенно осели по разным учреждениям. Этим двоим пришлось спуститься на уровень ниже, предлагать свои таланты второразрядным институтам, трестам, чуть побольше того, в котором служила Наталья Михайловна. Года на полтора они осели в ветеринарном эпидемиологическом центре, там опять был взрыв энтузиазма, сын много работал, и к концу срока у них было достаточно материала, чтобы Понсов мог защитить диссертацию, в которой, естественно, сам не написал ни буквы. Но они решили, что защищаться должен именно он (Леторослев, конечно, не мог представить себе — себя, защищающим в сорок лет халтуру по внедрению кибернетики в ветеринарное дело), что так им будет легче *пробиваться*. Защитясь, Понсов сразу сделал все, чтобы заставить своего приятеля уйти из этого центра, ибо резонно полагал, что с ним все рано или поздно закончится как обычно, а бывший десантник испытывал уже усталость от походов и хотел дожить свой век в этой тихой заводи мирно. Он нашел ему другое место, Леторослев не согласился, и взбешенный вероломством, отплатил тем же, рассказав всем о диссертации. В центре, конечно, и без того догадывались обо всем. Наталья Михайловна была возмущена, хотя отчасти предвидела все это, но сына уже ничто не могло остановить. Опять началась заварушка с "первым отделом", теперь уже они обвиняли друг друга в нарушении секретного режима и использовании секретных документов; опять появилась комиссия, было назначено общее собрание, на котором "общественность" требовала отдать мошенников под суд, а кто-то кричал о психиатрической экспертизе. Оба приятеля оказались на улице и разошлись, не попрощавшись.

Наталья Михайловна и сама терялась, не су-

масшедший ли он, и как могла она так упустить сына, просмотреть момент, когда затрудненность общения и стеснительность вылились в чудовищные гримасы, прыжки и хихиканье; как не уберегла от военщины и всего прочего. Но и сам он терзался.

Наталья Михайловна даже поражалась иногда, до чего он умен: начиная в чем-то убеждать его (например, — еще до ссоры, — в том, кто такой Понсов), она вдруг обнаруживала, что он и сам все превосходно видит. "Зачем же тогда? — удивлялась она. — Какой во всем этом смысл?" Вот на это он не мог ей ничего ответить. Он давно подозревал в себе сумасшедшинку, это мучило его, — но, разумеется, ни о каких консультациях или лекарствах речи быть не могло. Это было бы для него крушением. Наталья Михайловна не заводила об этом разговора, да и сама не понимала, могут ли помочь здесь врачи и лекарства, а вновь услышав от сына какое-нибудь весьма трезвое и ясное суждение о том, чем он так казался только что увлечен, или видя, как быстро и четко разбирается он в незнакомом материале, помогая кому-то (когда он не работал, это иногда становилось чуть не основным его занятием, и он проводил целые дни, бесплатно трудясь ради каких-то бездарных проходимцев, которым тоже хотелось защитить диссертацию), думала: "Кто его знает? Быть может, ведь, это он прав, а сумасшедшие — остальные?"

Услыша от милой докторши, как сын появился в клинике, Наталья Михайловна догадалась, что он решил сыграть *ва-банк*, рискнуть, но удостовериться окончательно: кто он. Если он сумасшедший, врачи быстро определяют это, но он сдастся с честью — он пришел сам. Если же, работая с ним бок о бок, они не найдут ничего ненормального,

то тогда... тогда все прежние его хулители, узнав, где он работает и как к нему относятся — должны будут заткнуться и понять — кто из них шизофреник. При том, как всегда, он, конечно, старался уверить себя, будто предпринял все это не для чего иного, но лишь затем, чтоб выручить мать.

— И как он вам? Понравился? — продолжала спрашивать Наталья Михайловна у милой врачихи, стараясь прочесть в ее лице тайную мысль о диагнозе.

— Ну-у, очаровательный мальч, — лучезарно улыбнулась та, быть может даже искренне. — Он всех нас просто очаровал. И какая умница. Так сразу все понял. Они со Споковским сразу же придумали что-то. Споковский ведь тоже, знаете, большой фантазер. Даже Геннадий Иваныч заинтересовался. Автоматическая модель лечения шизофрении — это любопытно. Я, правда, к сожалению, ничего в этом не смыслю...

— Математическая модель, — поправила Наталья Михайловна. Понятно...

— Странно, однако, как долго его нет. Неужели они все разговаривают? — удивилась милая врачиха.

Споковский, высокий сутуловатый старик, с лицом изборожденным расхажившими в самых неожиданных направлениях резкими морщинами, с большим орлиным, съехавшим отчасти набок носом, в заключение прокаркал со своей тоже совершенно неожиданной артикуляцией, так, что звуки произносились одни, а рот шел вроде бы в прямо противоположную сторону:

— Прекрасно! Продолжайте работу над своей моделью. Но одновременно мы с вами начнем одно исследование, провести которое мне хочется уже давно. Мы с вами будем разрабатывать теорию

”ядерной шизофрении”, — торжественно объявил он хорошо поставленным лекторским голосом.

— Ядерной? — удивился Леторослев. — Почему ядерной? Ах, понимаю, потому что разлетается как взрыв! Ба-бах! — он подпрыгнул несколько раз на обеих толстых ногах и показал руками. — Здорово! Ха-ха-ха! — тоненько засмеялся он. — А цепная реакция, это потому что ”как с цепи сорвалась”, да? Ведь говорят: ”Вот бешеный, верно с цепи сорвался”. Это и есть ”цепная реакция”. Да?

Споковский недоверчиво, криво ухмыльнулся. Присутствовавший при разговоре Геннадий Иванович фыркнул, явно не одобряя фантазий начальства.

— Нам бы использовать его для внедрения вычислительной техники, Всеволод Константинович. Ведь сколько лет говорим. Вычислительная машина нам необходима. Сейчас у меня как раз находится на излечении один инженер из Ростова, с завода сельхозмашин, он обещал, как выйдет, сконструировать именно такую, какая нужна нам.

Леторослев посмотрел на него с изумлением и стал раскланиваться.

— А насчет матушки не беспокойтесь, — продолжал Споковский, обращаясь к задним рядам вверху амфитеатра, — ваша матушка практически здорова, через неделю-две она будет дома.

Щелкнув в поклоне стоптанными каблуками, Леторослев выскочил в коридор.

— Из Ростова, что ж такого? — прошептал он про себя ввевшиеся в память детские стишки, аккуратно притворяя дверь.

Он нервно хохотнул, повторив эту строчку двум стоявшим у окна молоденьким сестрам, и помчался по коридору в наброшенном на широкие плечи развевающимся маленьком, не по размеру, халате, опустив голову вниз, не глядя по сторонам (Спо-

ковский объяснил ему, что на больных, чтобы их не тревожить, смотреть не нужно, но Леторослев забыл совсем, что здесь не было больных — это была половина администрации), похожий на боевого слона в атаке, круто в последнее мгновение разворачиваясь, чтобы не наткнуться на кого-нибудь, или вдруг пружинисто отскакивая и переходя на галоп. В гардеробе он не стал надевать свою синюю лыжную курточку, в которой ходил с начала марта, а схватил ее под мышку, на ходу кинул гардеробщице халат и, прыгая в старинном вестибюле только на большие редкие красные кафелины, выбежал на улицу, прикидывая, где может ждать его мать, которой конечно уже сказали, что он здесь.

Пошевелив губами и поглядывая на небо, — он ориентировался по солнцу, — он рассчитал возможные варианты и решительно двинулся к наметенному перекрестку парка. Матери там не оказалось. Он постоял, постепенно поворачиваясь вокруг своей оси.

В эту секунду сзади он услышал шорох кустов и скрип гравия, по хриплому дыханию понял, что это не мать, замер на мгновение, и затем резко обернулся.

Он увидел перед собой худого человека в кепке, обвисшей на треугольной голове, длинном пальто, больших байковых бесформенных штанах и галошах, надетых прямо на шерстяные носки. Глаза незнакомца искрились.

— Сергей Александрович Леторослев, вы должны помочь вашей матери, которая вас родила, — проговорил незнакомец, останавливаясь шагах примерно в пяти от Леторослева и запахивая пальто без пуговиц, как тогу.

— П-простите, мы, мы с вами, кажется, не знако-

мы, — вежливо, но твердо возразил Леторослев, поклонившись.

— Да. Но я вас хорошо знаю. Пойдемте, я хочу поговорить с вами *о смысле техники*.

— А, вы тот изобретатель из Ростова! — обрадовался Леторослев. — Из Ростова, что ж такого? Верно? Геннадий-то уже про вас говорил.

По словам Геннадия Ивановича он представил себе инженера молодым и теперь всматривался в желтое лицо незнакомца, пытаясь определить, сколько же ему лет.

— Да, да, — подтвердил инженер. — Пойдемте. Здесь есть один такой уголок, *там хоть стреляй, никто не услышит*.

Они прошли в глубь парка, к забору отделявшему парк от леса, инженер сзади, Леторослев, озираясь, впереди, и сели за трансформаторной будкой на доску, — местные алкоголики (больные и прислуга) давно облюбовали себе это местечко. Леторослев брезгливо отгреб ногою в сторону осколки бутылочного стекла и бумажки, расчищая на утоптанной сырой земле перед собою некоторое пространство.

— Вот смотрите, — едва они сели, приступил он.

Он подобрал щепочку и нарисовал в центре пространства кружочек, а от него расходящиеся веером линии.

— Это информационная машина. А это система передающих каналов. Здесь картотека, в которую занесены данные о всех без исключения больных района. Я понятно говорю? — переспросил он, быстро взглядывая на сумасшедшего и тотчас опуская глаза, потому что сумасшедший оторопело и сердито молчал, уставясь в схему. — Данные, это что значит? Это значит пол, возраст, а также история болезни, анамнез, ну, словом, все. Если

больной обращается к врачу, то немедленно по каналу связи идет запрос к машине и машина выдает все сведения, а также заносит в картотеку новые. Это понятно? Такая система картотек должна быть создана по всей стране. Я сейчас объясню, почему. — Он медленно, раздельно произнес: — Только такая система может нам помочь покончить с беспорядком и произволом...

Он ободряюще улыбнулся собеседнику, как бы призывая того не бояться, но тот не внял призыву и смотрел молча, в оцепенении.

— Но ведь машина разговаривает цифрами, верно? — спросил Леторослев у него тоном, каким говорят с детьми. — Значит, нужно научиться с ней разговаривать на ее языке. А мы-то говорим словами, да? Значит, нужно ей наши слова переводить. Понятно, да? Это называется программа-транслятор. У машины должен быть толковый словарь. Понятно, да? Только ей не нужен словарь для всех слов, которые мы используем. Пускай она знает только необходимые слова! — Он вдруг заторопился и пошел в ускоренном темпе, запинаясь, забирая все выше и выше. — Должна быть осуществлена специализированная языковая программа! А этого никто не понимает. Каждый разговаривает на своем языке, и машину нужно учить ему! Понятно, да?! Но сначала надо уяснить самим себе, что это за язык, его правила. А потом уже только покупать машину. А ваш Геннадий хочет, наоборот, истратить деньги, а потом разбираться, да? Какой он Геннадий, он Генка, мальчишка, да? Нажить капиталец, надавать векселей, без расчета, без предварительного исследования, да? Создать шум в канале! Объем памяти ограничен, да?..

Сумасшедший наконец опомнился, глаза его за-

сверкали, Леторослев теперь разглядел, что они были с красноватой подоплекой, словно кровь, в бешенстве приливавшая к ним, запеклась и выцвела на солнце.

— Это справедливо, — заговорил он и остановил собеседника, положив желтую голую руку на рукав куртки Леторослева, — если познание слова будет вестись не по правилам грамматики, а на основании и через посредство категорий, потому что каждое слово образуется различно по-разному, но в то же время имеет единство в образовании.

— Пожалуй, верно, — поколебавшись, согласился Леторослев, надеясь еще перехватить инициативу. — Только я хотел заметить...

Но сумасшедший не дал ему ничего заметить:

— Корнем в слове, — повел он, слегка раскачиваясь всем телом, отчего оно поскрипывало где-то в глубине все быстрее и тоньше, как вагон, набирающий ход, — в обычном смысле понимается основное в слове, ядро в слове, от которого путем изменения окончаний и приставок можно получить еще целый ряд слов. От корня *сел*, например, путем изменения окончания можно получить следующие слова: села, селась, селся, сели, селись, селился; путем изменения приставок: присел, надсел, засел, приусел, приподзасел, приподзаусел, приподнасел, приподнаусел и другие; смежно: надселся, надселась, подселись, приуселся, приуселась, приуселись, приуселися, приподзаселись, призаселся, приподзауселись, приподнаселся, приподнаселись...

Он посмотрел, переводя дыхание, как Леторослев, в свою очередь, немного опешивший от такого оборота, чертит что-то на земле своей щепочкой.

— Здесь следует заметить, — сумасшедший нервно затряс ногой, — что изменение, то есть *синтаксикация* в слове уходит в бесконечность, так как причин

есть множество. В слове "сел", например, не происходит резкого изменения, то есть синонимум в основном сохраняется. Кроме того многие корни синтаксируются с другими корнями, словами и тоже различно, по-разному, в соответствии с происхождением и действительностью слова. Вся наша речь состоит из звуков, причем каждый звук имеет свою интонацию, букву. Возьмем, например, слово *белка*; то это слово, в основном состоит из двух основных корней *бел* и *ка*. Корень *бел* — он взят нашими предками из понятия или синонимума *бела* (белое), а корень *ка* из синонимума или понятия *как* (две первые буквы). Корнем *как* предки по существу отобразили синонимум удивления, то есть *как она беленька*, и в то же время, как она красива, мила, быстра и так далее. То есть корнем *как* предки отобразили не только одно качество, как она беленька, но и как она миленька, как она красивенька, как она легка, быстра, как справляется с орехами, шишками. И действительно все эти качества присущи белке, из них исходило слово. Корень *бел* здесь является как основным корнем, так как под ним подразумевается сама белка, а корень *ка* — он перечисляет свойства.

Он попытался умильно сложить потрескавшиеся губы, собираясь еще что-то сказать о том, как миленька белка, но Леторослев глядел на него исподлобья и без улыбки. Вскинувшись, затрясшись, стуча одной коленкой о другую, возбужденный тем, что ему, по-видимому, оказывали сопротивление, сумасшедший закричал:

— Возьмем, например, слово *змея* — то это слово в основном состоит из трех основных корней: *з-ме-я*. Мне долго не удавалось обнаружить из чего предки могли взять корень *з*. Я изучил все особенности, свойства змеи, но корня не обнаруживалось! И

только через посредство категории единичное-общее-всеобщее мне удалось найти этот корень, который заключается в свойстве *шипенья* — *ш-ш-ш...*

Он зашипел, разбрызгивая слюну. Леторослев, смотревший на него теперь неотрывно и все мрачнее, отодвинулся, но не отвел глаз, словно был уже заморожен этой самой змеею.

— Однако, — развивал свою идею собеседник, — этот корень предки опять же взяли не из самого свойства шипенья, так как в таком случае слово змея выглядело бы в слове *шмея*. А они его взяли из свойства жужжания осы, шмеля, овода и пчелы (з-з-з-з-з), и чем достигли отображения той необходимости, которая внутренне присуща змее, потому что в шипеньи и жужжаньи существует общее — звук, притом у них подобна и защита — ядом!

Леторослев хотел что-то спросить, но удержался и только сам начал слегка дрожать от холода в своей легкой курточке.

--- Продолжайте, п-п-пожалуйста, — попросил он, поживаясь.

— Возьмем слово *концлагерь*, — сказал сумасшедший.

— Вот-вот, — подхватил Леторослев, как будто заранее знал, что сейчас они займутся именно этим. — Из Ростова, что ж такого...

Собеседник посмотрел на него с подозрением. Он выпрямился теперь и говорил довольно твердо, хоть по-прежнему сучил ногами, топча полы своего длинного расстегнувшегося пальто.

— Это слово состоит из двух основных корней *конц* и *лагерь*, то есть методика образования слова одна и та же. Корень *конц*, он исходит из слова *конец*, упущена только буква *е*, и заключает в себе

жизнь человека как самого человека. Корень *лагерь*, он в основном в себе заключает материальную часть, его персонал. И слово концлагерь, оно образовано не случайно или из ничего, а оно образовано из обстоятельств, из фактов действительности, из условий жизни и смерти. Слово *конец*, оно в любом случае отображает понятие конечности, а в слове концлагерь — конец жизни, образуемой насильственно эгоизмом. В этом слове в основном заключаются два основных понятия: условия, приводимые к смерти, и конец жизни.

— Угу, угу, — откликнулся Леторослев, затем резко повернувшись к нему звонко отчеканил:

— Позвольте, а кто вы такой?! Ведь вы никакой не инженер, и не из Ростова. Не так ли?!

Сумасшедший сгорбился, поник и только сейчас заметив, что испачкал пальто, подобрал полы и стал чистить их одна о другую.

— Я несчастный, одинокий человек, — с усилием прохрипел он после долгого молчания. — Обижен от людей... На железной дороге...

— Вы железнодорожник?

Сумасшедший, пошамкав, не ответил, потом неожиданно вскочил, побежал за будку и долго молчился, приплясывая там, отхаркиваясь и сморкаясь. Леторослева передернуло от отвращения.

— Но у меня есть знакомые во всех семьях нашего общества, — прошептал сумасшедший, появляясь из-за будки, довольный, пошатываясь и поблескивая красноватыми глазами. — Я и языки знаю. Их воля мейне шмерцен ергоссен... Но об этом ни слова... Молчок. Молчок. Унд заген мит ейнигем ворт. Вам нужно знать языки.

Леторослев гневно уставился на него:

— Для чего мне знать языки? Чтоб защитить диссертацию?!

Сумасшедший снова уселся на доску рядом с ним, взял под руку и доверительно в самое ухо прошептал:

— Вы без меня не сможете этого сделать...

— Защитить диссертацию?! — закричал Леторослев возмущенно.

— Да. Потому что против вас и вашей матери и вашей сестры сговорились некоторые люди. И только я знаю, как подействовать на них, потому что они у меня *вот где*. — Он раскрыл испещренную странными линиями желтую ладонь и постучал в нее указательным пальцем другой руки. — Вот где. *Один оперативный час, и их нету!* Но они меня боятся и держат здесь обманом. Я скоро выйду, я уже написал о них несколько заключений. Мы должны действовать вместе, иначе мы никогда не покончим с беспорядком. Но не говорите никому. Ни-ни-ни. Это очень опасно. Вы в опасности, а в *опасности спасение*. Корень в этом слове будет *нас* и происходит из значения *пасть* у зверя. Р-р-р-р!!! — Он вдруг оскалился и зарычал так, что Леторослев вздрогнул.

— Понял, — перебил его Леторослев, наконец сорвавшись с места и несколько раз прыгнув на месте, затем остановил себя и слегка поклонился, щелкнув каблуками. — Я-я вам ч-чрезвычайно благодарен.

— Ты куда? — Его собеседник не ждал этого.

— Я должен идти. Я еще не навестил маму.

— А-а, хорошо, — успокоился сумасшедший. — Я скоро выйду и мы им покажем, — пообещал он, подымаясь. — Я знаю все.

— Я вам очень благодарен, — повторил Леторослев. — Я должен сейчас идти.

— Иди, иди, — напутствовал сумасшедший.

Увидя сына, взъерошенного, бледного, задыхающегося от возбуждения, Наталья Михайловна была подавлена и чувствовала, что стыдится перед Лизой, детской писательницей.

— Ну, как твоя *модель*? — постаралась спросить она, как могла весело.

Схватив с Лизиной тумбочки обрывок бумаги, в которую завернуты были цветы, принесенные ей поклонником, он лихорадочно начал чертить какую-то схему.

— Вот смотри, это информационная машина, это канал связи... Понятно, да? — (Присутствие Лизы смущало его.) — А вот ось времени. Скажи, а кто это у вас ходит тут такой старик?

— Какой старик? — изумилась Наталья Михайловна.

— С треугольной головой? — захохотала Лиза и захлопала в ладоши.

Леторослев тревожно посмотрел на нее.

— Да. А что вы его знаете?

— Ну, разумеется, мы часто его видим, — спокойно сказала Наталья Михайловна, жестом останавливая Лизу. — А тебе он чем понравился?

— Понятно, понятно, — не ответил сын. — Он с тобой разговаривал?

— Нет.

— И не проявлял к тебе никакого интереса?

— Нет, — Наталья Михайловна знала, что не стоит говорить ему о давешних цыганкиных намеках.

— Значит, это была разведка боем, — прошептал сын.

— Что ты городишь? Опять эта военная истерия. Ты что, с ним разговаривал? О чем?

— О происхождении и действительности слова. Прежде всего, что познание слова будет вестись не по правилам грамматики, а на основании или при

посредстве философских категорий, — выпалил он одним духом, и Наталья Михайловна против воли даже улыбнулась тому, что у него такая память и он с одного раза мог запомнить весь этот бред. — Корнем в слове в обычном случае понимается основное в слове, ядро в слове, от которого путем изменения окончаний, приставок и так далее... — Он засмеялся, но принужденно. — Возьмем к примеру слово белка, то оно образовано из двух корней... Бел-ка, бел-ка — несколько раз повторил он задумчиво. — А возьмем, к примеру, слово сексот, сек-сот, — он поднял голову и посмотрел матери в глаза. — То оно образовано из двух слов — сек ретный и сот рудник. Верно, да? Сек-сот. Секретный сотрудник. Он секретный сотрудник, сексот, да?

— Что за ерунда! — с досадой воскликнула Наталья Михайловна, морщась от внезапной неприязни к сыну.

— Это ерунда, конечно, — поспешно кивнул Леторослев. — Конечно, конечно. Но только он слишком много знает. Откуда он, например, знает меня по имени-отчеству. Он как-нибудь связан с Генкой, да?

— С каким Генкой?

— С Геннадием Ивановичем. Он же ведь Генка, мальчишка, да?

— Я ничего не понимаю, — вздохнула Наталья Михайловна. — Знаешь, я очень устала. Иди домой. Как там моя внучка? Ты давно был у нее?

— Я был недавно.

— Пустили?

— Пустили. Мы ходили с ней в зоопарк. Я ей решал задачки и сочинил стихотворение про тигра... и про белочку... как она миленька... Только ты напрасно к этому так относишься. Ведь я не даром

столько лет работал в лаборатории. Я их столько насмотрелся там. Они у нас ходили тогда зимой в таких ботиках "прощай молодость", помнишь, носили такие?

— Даже если он и сексот, как ты говоришь, то сейчас он, прежде всего, больной.

— Но он может завтра выйти. Он, по-видимому, написал доносы на всех здешних врачей, они испугаются и его выпустят. Генка ему поможет. Он заинтересован в том, чтобы прорваться наверх и готов на все. Ты же видела его и сама знаешь, что это так. А этот — бывший разведчик, он был в Германии. Подрывал железные дороги. Он мне сам сказал.

— Таких все равно не выпускают, — сказала Наталья Михайловна безнадежно. — Ну, а если даже и выпустят, то что? Или ты полагаешь, что он притворяется? Так что из того?

Он посмотрел на нее с некоторым упреком, как будто это не он, а она ломала теперь комедию, но Наталья Михайловна не стала выяснять, что он имеет в виду, и прикрыв глаза, легла на койку, повторив:

— Иди домой, иди. Ты ведь будешь теперь приходить сюда часто, у тебя же работа со Споковским...

— Да-да, да, — тоненько откликнулся он уже в дверях. — Т-только в эту н-неделю, я, к-к сожалению, н-не смогу н-начать.

Наталья Михайловна заключила из этого, что он испуган и больше наверное не придет сюда ни разу.



Из «Избранного»

У СТЕН КРЕМЛЯ

Ранняя юность. Пятнадцать лет.
Лето московское; тишь... прохлада...
В душу струится старинный свет
Первопрестольного града.

Скверы у Храма Спасителя... Даль...
И издалека — Серебряной речью
Мерно несет родную печаль
Кованный благовест Замоскворечья.

По переулочкам узким брожу:
Там разноцветно цветут пятиглавия,
Там, у высоких амвонов, слежу
Теплящиеся огни православия.

В смутных мечтах о добре и зле,
Долго внимаю рассеянным сердцем
Древней, полупонятной хвале
Великомученикам и страстотерпцам.

И, упований ни с кем не деля,
Вижу: над гребнем зеленого ската

Тихо слетают с зубцов Кремля
Лебеди розовые заката.

Бархатен, мягок уличный шум...
В старых притворах — ладан, стихиры...
Это вливает крепнувший ум
Вечную правду о Солнце мира;

Это — душа, на восходе лет,
Еще целокупная, как природа,
Шепчет непримиримое "нет"
Богоотступничеству народа.

1933

КАМЕННЫЙ СТАРЕЦ

Когда ковчегом старинной веры
Сиял над столицею Храм Христа,
Весна у стен его, в тихих скверах,
Была мечтательна и чиста.

Привычкой радостною влекомый,
Обычай отроческий храня,
К узорным клумбам, скамье знакомой
Я приходил на исходе дня.

В кустах жасмина звенели птицы,
Чертя полет к золотым крестам,
И жизни следующую страницу
Я перелистывал тихо там.

Я полюбил этот час крылатый,
Открытый солнечному стиху,
И мудрость тихую белых статуй
Над гордым цоколем, наверху.

Меж горельефов, едва заметен,
Затерян в блещущей вышине,
Один святитель, блажен и светел,
Стал дорог, мил и понятен мне.

На беломраморных закомарах,
С простым движеньем воздетых рук,
Он бдил над волнами улиц старых,
Как покровитель, как тайный друг.

Мой белый старец! наставник добрый!
Я и на смертной своей заре
Не позабуду твой мирный образ
И руки, поднятые горé.

1933

УСПЕНСКИЙ СОБОР

Из обездоленности,
Сирой оставленности,
Силою веры стяжав ореол,
Полон намоленности,
В волны прославленности
Белым ковчегом собор отошел.

Вся вековая моя
Русь, просветляемая
Столько столетий в несчастных сердцах,
Молит о крае моем,
Плачет о крае моем,
И не утешится в райских венцах.

Выйди на кровлю свою!
Встань надо всхолмиями!

Учитель красоты! наперсник Вечной Розы!
Благослови! раскрой! подаждь! усынови!

И кажется: согрет народными руками,
Теплом несчетных уст гранитный пьедестал, —
Наш символ, наш завет, Москвы священный
камень,
Любви и творчества магический кристалл.

1950

*

Исчезли стены разбегающиеся,
Пропали городские зданья:
Ярчеют звезды зажигающиеся
Любимого воспоминанья.

Я слышу, как в гнездо укладываются
Над дремлющим затоном капли,
Как сумерки с лугов подкрадываются,
Роняя голубые капли;

Я вижу очертаний скрадываемых
Клубы и пятна... мошки, росы...
Заречных сел, едва угадываемых,
Лилово-сизые откосы;

Возов, медлительно поскрипывающих,
Развалистую поступь в поле;
Взлет чибисов, визгливо всплывающих
И прядяющих ввысь на воле...

И в грезе, жестко оторачиваемой
Сегодняшнею скорбной былью,
Я чувствую, как сон утрачиваемый,
Своей души бывшие крылья.

1950

*

Вы, реки сонные,
Да шум сосны —
Душа бездонная
Моей страны.

Шурша султанами,
Ковыль, пырей
Спят над курганами
Богатырей.

В лесной глуши горя,
Не гаснет сказ
Про доблесть Игоря,
Про чудный Спас.

И сердцу дороги,
Как вещий сон,
Живые шорохи
Былых времен:

Над этой поймою —
Костры древлян,
Осины стройные
Сырых полян,

Луна над мелями,
Дурман лугов,
В тумане медленном
Верхи стогов.

Вода текучая —
Все прочь и прочь,
Звезда падучая
В немую ночь!

1950

*

Про всенародное наше Вчера,
Про древность я говорю.
Про вечность. Про эти вот вечера,
Про эту зарю.

Про вызревающее в борозде,
Взрыхленной плугом эпох,
Семя, подобное тихой звезде,
Но солнечное, как Бог.

Не заговорщик я, не бандит, —
Я вестник другого дня.
А тех, кто сегодняшнему кадит, —
Достаточно без меня.

1950

Речи смолкли в подъезде.
Все ушли. Мы одни. Мы вдвоем.
Мы живые созвездья,
Как в блаженное детство, зажжем.

Пахнет воском и бором.
Белизна изразцов горяча,
И над хвойным убором
За свечой расцветает свеча.

И от теплого тока
Закачались, танцую, шары —
Там, на ветках, высоко,
Вечной сказки цветы и миры.

А на белую скатерть,
На украшенный праздничный стол
Смотрит Светлая Мать
И мерцает Ее ореол.

Ей, Небесной Невесте —
Две последних, прекрасных свечи:
Да горят они вместе,
Неразлучно и свято в ночи.

Только вместе, о, вместе,
В угасаньи и в том, что за ним...
Божий знак в этой вести
Нам, затерянным, горьким, двоим.

1949

Этот двор, эти входы,
Этот блик, что упал на скамью,
В роды, роды и роды
Помнят добрую нашу семью.

Эти книжные полки,
Досягнув, наконец, к потолкам,
Помнят свадьбы и елки,
И концерты, и бредни, и гам;

Драгоценные лица,
Спор концепций и диспуты вер —
Все, что жаждется, снится,
Что творится, — от правд до химер.

Эта комната светит
Среди ночи, как маленький куб, —
Ей так мирно в привете
Твоих рук, твоих глаз, твоих губ.

До далеких Басманных,
До Хамовников, хмурых Грузин
Свет годов нерастанных
Мне — вот здесь. Он певуч. Он — один.

Но над теплою крышей
Проплывает, как демон, наш век,
Буйный, вязкий и рыжий,
Будто ил взбаламученных рек.

Звездный атлас раскрою:
Грозен в чуткую ночь Зодиак,

И какому герою
По плечу сокрушить этот мрак?

Ни границ, ни сравнений,
Как для путника в снежной степи...
Дай зарыться в колени,
Силу — знать и молчать — укрепи!

1958

*

Медленно зреют образы в сердце,
Их колыбель тиха,
Но неизбежен час самодержца —
Властвующего стиха.

В камеру, как полновластный хозяин
Вступит он, а за ним
Ветер надзвездных пространств и тайн
Вторгнется, как херувим.

Страх, суету, недоверие, горе,
Все разметав до тла,
Мчат над городами и морем
Крылья стиха — орла.

Жгучий, как бич, и легкий, как танец,
Ясный, как царь к венцу.
Скоро он — власть имеющий — станет
С миром лицом к лицу.

Жду тебя, светоча и денницу,
Мощного, как судьба,
Жду, обещен позором темницы,
Мечен клеймом раба.

1955

СКВОЗЬ ТЮРЕМНЫЕ СТЕНЫ

Завершая труд,
 раскрывается вся панорама:
Из невиданных руд
 для постройки извлек я металл,
Плиты слова, как бут,
 обгранил для желанного храма,
Из отесанных груд
 многотонный устой создавал.

Будет ярус другой:
 в нем пространство предстанет
 огромней;

Будет сфера — с игрой
 золотых полукруглых полос...
Камня хватит: вдали,
 за излучиной каменоломни
Блеском утра залит
 непочатый гранитный колосс.

Если жизнь и покой
 суждены мне в клокочущем мире,

Я надежной киркой
 глыбы камня от глыб оторву,
И, невзгодам вразрез,
 будет радость — все шире и шире
Видеть купол и крест,
 довершаемые наяву.

Мне, слепцу и рабу,
 наважденья ночей расторгая,
Указуя тропу
 к обретенью заоблачных прав,
Все поняв и простив,
 отдала этот труд Всеблагая,
Ослепительный миф —
 свет грядущего — предуказав.

Нет! не зодчим, дворцы
 создающим под солнцем и ветром,
Купола и венцы
 возводя в голубой окоем —
В недрах русской тюрьмы
 я тружусь над таинственным метром
До рассветной каймы
 в тусклооком окошке моем.

Дни скорбей и труда --
 эти грузные, косные годы
Рухнут вниз, как обвал —
 уже вольные дали видны,
Никогда, никогда
 не впивал я столь дивной свободы,
Никогда не вдыхал
 всею грудью такой глубины!

В круг последних мгновень
я с народом безбрежным вступаю —
Миллионная нить
в глубине мирового узла...
Сквозь крушение царств
проведи до заветного края,
Ты, что можешь хранить
и листок придорожный от зла!

1956



Любимый человек

СЛУЧАЙ В ФЕВРАЛЕ

В феврале в кабинете Владимира Ильича лопнула труба и кабинет стало заливать водой.

— Черт знает что! — воскликнул Ильич. — Как это некстати!

Он как раз работал, и работы было еще много. Он уже забыл, когда спал. Может быть это было вчера; а может быть он не спал уже всю неделю.

Вода прибывала быстро. Поплыл по комнате стул, потом кепка. Ильич встал на стол. Стула было не жаль, а кепку — жаль. Скоро она намокла и пошла ко дну.

Ильич между тем старался дозвониться до водопроводной конторы. И вот дали контору:

— Алло, говорит Ленин! — сказал Ильич. — Меня тут заливают водой, тут прямо — потоп. Кепка уже утонула. И вот я хочу вас просить: ни в коем случае не присылайте водопроводчика! Повторяю: ни в коем случае! Я сам устраню неисправность, а товарищ пусть отдохнет.

Когда водопроводчику предложили отдохнуть, он не стал ломаться: пошел в курилку и долго там сидел и отдыхал — пускал табачный дым и кашлял.

Он до сих пор не забывает, как хорошо тогда отдохнул.

А Владимир Ильич быстро устранил неисправность и вода спала. Он выжал кепку и повесил сушить.

Домой он пришел веселый и возбужденный.

— А где кепка? — спросила жена.

— Ах я растяпа! — Владимир Ильич стукнул себя по лбу. — Забыл!

Он не хотел волновать Надежду Константиновну.

— Какой ты, Володя, стал... а все потому, что не жалеешь себя. Все бы тебе работать и работать, и только бы не отдыхать. Вот уже и кепку забывать начал.

Сели ужинать. Владимир Ильич был в прекрасном расположении духа и то и дело шутил:

— А что, Надя, если лопнет водопроводная труба? Ведь зальет нас, а ты и плавать не умеешь!

— С чего бы это ей лопнуть?

— Да так: возьмет да и лопнет. Ведь я выплыву, а ты — нет. Так и потонешь!

— Эгоист! — сказала Надежда Константиновна, а сама с теплотой подумала: нет, не даст мне Володя утонуть. И даже улыбнулась, представив такую картину: она тонет и кричит: "Володя, тону!" Он отвечает: "Вижу". Она кричит: "Ну так спасай меня скорее!" А он отвечает: "Нет, главное — работа". И продолжает работать.

— Потонешь, потонешь! — посмеивался Ильич. — А все потому, что не училась плавать. Вот сейчас, сию минуту ка-ак лопнет водопроводная труба!

— Ты ешь, ешь! — замахала на него Надежда Константиновна. — А то переутомляешься и вот кепку уже забывать начал. Я, может быть, летом запишусь на курсы плавания.

— Это хорошо, — сказал Ильич. — Это хорошо.

Он поужинал и пошел в кабинет. "Полежать на диване", — сказал он, но Надежда Константиновна знала: нет, не ляжет Ильич. Опять будет работать.

Владимир Ильич и в самом деле стал работать и проработал трое суток, вставая только для того, чтобы сходить в уборную.

А о своем благородном поступке он не обмолвился жене ни словом!

Да он о нем уже и сам забыл.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ

Фиалка — цветок весенний. Особенно много фиалок в апреле. Осенью их почти не бывает, а зимой и тем более.

...Однажды зимой Владимиру Ильичу прислали корзиночку фиалок. Надо было видеть, как он им обрадовался! В стране голод, тиф, а тут — фиалки — нежный, ароматный дар весны!

Владимир Ильич подошел к карте и задумался: откуда же прислал ему неизвестный доброжелатель такой подарок? Из Африки? Но там он никого не знает. Из Австралии? Но и там он никого не знает. Ах да, конечно! Фиалки прислали докеры из Чили! Но ведь и докеров из Чили он не знает! Да и есть ли они?

Тут взгляд его упал на записку в букетике. Он развернул ее, еще не зная, на каком она языке. Записка была на русском языке.

"Вот видишь, Ленин: для нас ничего невозможного нет. Держись нэпманов! С нами не пропадешь!

Нэпманы".

Прочитав записку, Ильич в волнении заходил по комнате. Затем потребовал карандаш и на оборотной стороне написал:

”От классового врага подарков не принимаю. Фиалки выбросил в мусорное ведро.

Ленин”.

Записку он велел отнести с нарочным к тем, от кого пришли фиалки. Фиалкам же обрезал ножничками корешки и поставил их в вазу с водой. А сам заложил руки за спину, словно в пьесе у Погодина, отошел к окну и задумался.

Все-таки приятно, когда тебя любит даже твой классовый враг...

САМЫЙ ПЛОХОЙ

Как-то большевики выпили и между ними завязался откровенный разговор.

— Я не верю, — сказал один, — что мы тут все ангелы. Быть может, только у Владимира Ильича совесть чиста.

Ильич сделал протестующий жест:

— Нет, товарищи, я не хочу быть лучше, чем вы все.

Большевики стали спорить, кто из них хуже. Тот, который начал этот разговор, сказал:

— Несомненно, самый плохой — я. У меня много грехов, я не отпираюсь.

Все начали шуметь и кричать, что и они не ангелы. Кто-то предложил, чтобы каждый признался в чем-то плохом.

— Только чур — все выкладывать, не скрывать.

Стали признаваться и получилось, что во всей компании не только не было ангела, но что и сам черт был перед ними ангел.

— Я, — кричал один большевик, — хоть завтра тещу зарежу.

— А я, — кричал другой, — тестя!

— Это что! — кричал третий. — А вот я... — и он начал, загибая пальцы, перечислять, кого он зарежет.

Долго они так кричали и спорили. Один Ильич молчал. Это заметили и смолкли, давая и ему возможность выступить.

— У меня совесть тоже нечиста, — начал Ильич. — Смогу ли я выложить все? Думаю, что нет. Я поэтому лучше буду молчать.

— Пожалуйста, пожалуйста, Владимир Ильич! — стали упрашивать большевики. — Выкладывайте! Тут все свои!

Ильич долго отнекивался, но в конце концов согласился.

— Ну, слушайте. Было это давно. Я ехал в первый раз на поезде и очень трусил. Билет, помню, купил, а сдачу забыл взять. Еду и думаю: шут с ней, со сдачей, — остаться бы живому. Вдруг паровоз как-то ужасно заревел и стало темно. Тут я перекрестился. И сразу светло стало — это поезд из тоннеля вышел. Я подумал: слава Богу, живой! В другой раз я уже не так боялся, а потом и совсем привык. Но то, что тогда перекрестился, — с этим грехом с той поры так и живу.

Ильич умолк.

Долго стояла тишина, потом кто-то неуверенно сказал:

— Ну, это давний грех.

— Конечно, конечно! — был он тут же поддержан всеми. — Другой бы такой грех уже забыл!

Другой бы, может, и забыл, а Ильич — нет. Хорошая у него была память. Ангелом он не был, но получалось, что очень похож. Это всем было ясно.

Но только не ему самому:

— Что вы, друзья! — сказал он. — Такой грех нельзя забывать.

После этого большевики еще не раз напивались и спорили, кто из них самый плохой. И каждый раз Ильич поднимался и тихо говорил:

— Не нужно спорить. Я — самый плохой. Я хуже всех.

И густо краснел.

ЦАРСКИЙ АВТОМОБИЛЬ

Когда большевики победили, от царя остался автомобиль. Владимир Ильич пришел в гараж, где он стоял, и ахнул:

— Боже, какой прекрасный автомобиль!

— Это — Роллс-Ройс, — сказали ему.

— Молодцы английские рабочие! — воскликнул Ильич. — Прекрасный Роллс-Ройс!

И он задумался, что с ним делать. Кому-то надо было его отдать — но кому?

— Скажи-ка, братец, — Ильич взял за пуговицу одного рабочего гаража, первого, какой ему попался. — Кому, как ты думаешь, отдать автомобиль?

— Да хоть мне!

Ильич засмеялся.

— Нельзя, — сказал он. — Получится, что у тебя автомобиль есть, а у других — нет.

Как он ни прикидывал, а выходило, что отдать

дет обижен.

А что если... да, конечно! племянник! Вот кому надо его отдать. Но что скажут люди? Скажут: ну и Ленин, отдал автомобиль родственнику. Да и нет у него племянника.

А что если укатить на Роллс-Ройсе в Германию? Подъехать там к безработному. Он уже и надежду потерял и думает: эх-ма, скоро окочурюсь! Тут-то ему и сказать: ты, дескать, погоди окочуриваться. На-ка вот тебе лучше автомобиль. Это было бы — великолепно!

А может быть махнуть на нем в Африку? Там автомобилей совсем нет — все пешком ходят. То-то будут рады! Станут плясать и прыгать. Это у них не каждый день бывает, что им Роллс-Ройс дарят. Шаман придет. А вдруг он и заберет автомобиль? Шаман в Африке — очень крупная фигура.

И вдруг Ильичу пришла такая мысль: а почему не взять автомобиль себе? Ай-ай, чуть не отдал такой прекрасный автомобиль шаману, а сам бы пешком ходил!

И Ильич взял автомобиль себе.

О себе он, как всегда, подумал в самую последнюю очередь.

ДУРНАЯ ПРИВЫЧКА

Однажды шофер Владимира Ильича заболел и ему дали другого. Это был молодой, жизнерадостный парень Вася. Его сразу все полюбили.

Сев за баранку, он отер кепкой пот со лба и весело сказал:

— Ну и жара нынче! — и длинно выругался, да

так, как даже при дамах нельзя, а тем более при Владимире Ильиче!

Ильич сделал вид, что не слышал. Он только ответил:

— Ничего, спадет.

И они поехали.

Шофер молчал недолго, а потом снова помянул жару и выругался точь-в-точь как в первый раз. Ильич и на этот раз сделал вид, что не слышал.

— Хорошо, — сказал он, — хорошо ведешь машину, Вася.

Шофер подумал, что вождь, должно быть, не очень хорошо слышит. Он остановил машину и прокричал, наклонившись к Ильичу:

— Жарко, а?

— Жарковато, — согласился Ильич.

И тут Вася опять выругался — громко — прямо Владимиру Ильичу в ухо.

Ильич уже не мог делать вид, что не слышал. Он хлопнул дверцей и вышел из машины. Минут десять его не было. Потом он пришел, в руке у него была кружка кваса.

— Вот, — сказал он, — это помогает от жары.

Вася залпом выпил квас, крикнул — и они поехали.

Некоторое время Ильич молчал, а потом нагнулся к Васе и загнул такое, что Вася раскрыл рот и чуть-чуть не наехал сначала на столб, а потом на дерево.

— Вот это да-а! — сказал он с восхищением, когда пришел в себя.

— Видишь, — сказал Ильич, посмеиваясь. — Выражаться нецензурно и я могу, но не делаю этого. Нехорошо это. Надо бы тебе эту привычку оставить.

После этого случая все изменилось в васиной

жизни. Он стал благороднее, внушительнее смотрел и ступал. Ильича он полюбил беспредельно и не отставал от него ни на шаг. Когда ему бывало жарко, он выпивал кружку кваса — и сразу наступало облегчение.

А свою дурную привычку он оставил. Трудно было отвыкать, но он себя поборол — и не только при Ильиче, но даже при дамах не выражался больше нецензурно.

МОРКОВКА

— Знаешь что, Володя, — сказала однажды Надежда Константиновна, — неудобно: нас уже все крупные большевики к себе на ужин приглашали, пора бы и нам их пригласить. Давай пригласим — на завтра.

Ильич забеспокоился — такой ужин стоил денег.

— Хорошо, пусть приходят, но — на завтрак.

Надежда Константиновна поняла, что Ильич хочет сэкономить, но смолчала.

— А сколько, Володя, истратить: сто рублей, тысячу?

— Знаешь, Надя: если истратишь сто рублей — большевики все съедят, а если тысячу — тоже все съедят. То есть — результат будет одинаковый. Поэтому истрать-ка — десять рублей.

Надежда Константиновна послушаться не посмела, пошла на базар и купила морковку.

Большевики явились на другое утро большой компанией, пили чай, шутили, ели морковку — и часам к десяти весело разошлись по домам — завтракать.

... Минуло немало лет. Одних большевиков постреляли, другие умерли. А те, что остались

живы, скушали не один и не два пуда моркови.

Но ту морковку ни один не забыл.

Та была — самая вкусная.

САМОЗВАНЕЦ

Случилось, что Владимиру Ильичу нужно было что-то купить, а денег у него было мало. "Ничего, — подумал он. — Займу, а потом отдам. Ведь меня знают".

Он пришел в магазин и выложил деньги, какие у него были, на прилавок. Продавщицы сосчитали и сказали:

— У вас, гражданин, не хватает.

— Я потом отдам, — сказал Ильич. — Я — Ленин.

Продавщицы сделали вид, что не слышали, и опять сказали:

— У вас не хватает, гражданин.

Владимир Ильич опять стал разъяснять, что отдаст потом.

— Отдам, когда будут, — сказал он.

Позвали директоршу. Директорша выслушала Ильича и задумалась.

— А сколько ты получаешь? — спросила она. Она не поверила ему, что он Ленин, поэтому сказала "ты"; а то бы сказала "вы".

Ильич получал очень мало, ему стало стыдно и он сказал:

— Тысячу рублей!

И покраснел, потому что не умел лгать.

— Ха-ха! — рассмеялась директорша. — Этого не может быть. Так много Ленин не получает. Нет, ты — не Ленин. Держите его, — сказала она, — и

смотрите, чтобы он не убежал. Сейчас узнаем, кто он такой, — и она пошла за милиционером.

Скоро пришел милиционер.

— Вот, — сказала ему директорша, — выдает себя за Ленина, а сам тысячу рублей получает.

— Хе-хе, тысячу рублей! — удивился милиционер. — Ну, брат, тогда ты не Ленин. Ты самозванец. У Ленина зарплата даже меньше, чем в милиции — так, рублей двадцать пять.

— Ну, не тысячу... — Ильич покраснел, потому что опять надо было лгать. — Девятьсот.

— И девятьсот — много. Нет, ты не Ленин.

— Восемьсот, — сказал Ильич.

— Давай-ка, брат, пройдемся в каталажку, — сказал милиционер. — Посидишь с ворами, а там глядишь и вспомнишь, сколько ты получаешь.

И он повел Ильича в каталажку.

Ильич шел и думал: "Неужели с ворами буду сидеть? Нет, этого нельзя допустить. Ведь они меня обкрадут!"

— Ну, шут с тобой, — сказал он наконец. — Тебя как звать-то: Костя? Шут с тобой, Костя: получаю двадцать пять рублей.

— А не врешь?

— Нет, — сказал Ильич — и в первый раз не покраснел.

Только тут милиционер поверил, что перед ним Ленин.

— Владимир Ильич, вы — свободны! — рявкнул он и взял под козырек. — Идите, Владимир Ильич, и больше не попадайтесь. И не держите на меня зла. Ошибка вышла. Бывает.

И он пошел своей дорогой, а Ильич — своей.

ЖЕЛТЫЙ ПАКЕТ

Один старый большевик пришел в газету.

— Стар я уже, — сказал он. — Хочу рассказать про Ильича, а вы — напечатайте. Очень боюсь помереть, не рассказав.

И он рассказал вот что:

"Было это в девятнадцатом. Вызывает меня Ильич и дает желтый пакет. "Вот, Егор, — говорит, — доставь пакет. Да в срок доставь! От этого многое зависит".

Я тогда молодой был и лихой. "Есть, — говорю, — доставить пакет в срок!"

Сажусь на телегу, а Ильич сам запрягает. Запряг он, обнял меня и говорит: "Смотри, Егор: не заглядывай в пакет!" Хлопнул он лошадь по задку, и я поехал.

Еду и пою, а сам думаю: что же такое, думаю, в пакете? Пакет пухлый и желтый, — что же в нем, думаю, может быть? И ужасно заглянуть хочется. Но только помню: слово дал Ильичу, да и печать на нем сургучная.

Вот еду и пою, чтобы о пакете не думать. Да только это мало помогает. Но все-таки выдержал и доставил пакет в целости.

Еду обратно и думаю: что же в пакете было? Не пою уже и очень жалею, что не заглянул.

Приезжаю, а Ильич при всем народе выходит и троекратно меня целует. "Ну, Егор, большое ты дело сделал!" И лошадь сам распрягает — это потому как я теперь герой и чтобы мне самому не заниматься.

Я его и спрашиваю:

— Владимир Ильич, а что было в пакете?

— Этого тебе, Егор, знать не положено, — сказал он.

Так и не узнал я, что в том пакете было”.

Большевик кончил.

Газета тут же напечатала рассказ Егора и его фотокарточку: какой он был в 1919 году. А был он — красноармеец хоть куда.

На другой день к Егору пришли и починили крышу, а сыновей его взяли учиться на дипломатов. К нему повалил разный знакомый народ и все спрашивали его:

— Эх, Егор! Зачем же ты не заглянул в пакет?

— Я и сам не знаю, — отвечал Егор.

— Дурак ты, Егор, — говорили ему.

— Да ить печать была сургучная! — возражал он.

Однажды к нему и сам первый секретарь заглянул.

— Эх, Егор! — сказал он ему за рюмкой. — Кабы знал ты, что было в пакете, мы бы тебе не только крышу, мы бы тебе новый дом справили! Но все равно — почетный ты у нас человек”.

Жизнь пошла у Егора легкая и приятная, с него даже картину писать стали, — и все было прекрасно, пока от него не ушла жена. Она-то и проболталась, что не было пакета, что это, дескать, ее выдумка была, а то у них крыша капала, а чинить — не чинили.

Вот как обернулось дело!

Егор, чуя недоброе, дрожит, сыновья его — дипломаты уже — дрожат, да и жена уже одумалась — и тоже дрожит.

Но, слава Богу, все обошлось хорошо. Ее вызвали и сказали: ”Был, был пакет. Вы подумайте: может вспомните”.

Она так была рада, что и думать не стала — сразу вспомнила: ”Как же, как же: как сейчас помню — бы. Голубенький такой, о четырех углах”.

Так что о том, был ли пакет, споров нет. Спорят о другом: что в том пакете было.

В самом деле: что же в нем было?

ТОСТ

Накануне одного знаменитого съезда большевики собрались в ресторанчике для разговора. Кто-то налил Ильичу стакан водки, а он, между прочим, водки в рот не брал! Тот, который налил водку, стал упрашивать его выпить. Он почему-то думал, что Ильич обожает заложить. Бог его знает, почему он так думал.

Владимир Ильич твердо сказал "Нет!" — и отодвинул стакан. То есть — отказался выпить!!

У большевиков прямо глаза на лоб вылезли и вот они решили проверить, не притворяется ли Ильич и стали теснить его к стакану.

— Выпить бы нужно, Владимир Ильич! — говорили одни.

— Нужно, нужно! Тут не может быть сомнений, — говорили другие.

— Никак нельзя не выпить! Так что — придется пить, Владимир Ильич, — говорили третьи.

Ленин долго отказывался, а потом сказал:

— Ну хорошо, я выпью, но сначала дайте мне пять минут на размышления: хочу придумать тост.

И он побежал в уборную — как бы затем, чтобы придумать тост. В уборной он заперся, выпрыгнул из окна — и был таков.

Потом на съезде от всех большевиков пахло водкой и они очень стыдились этого; а от Владимира Ильича пахло чаем.

Что же касается того стакана, то он так и стоит до сих пор невыпитый.

Вот только никто не знает — где.

ГЛУПЫЙ ШПИК

В 1912 году Владимира Ильича вызвали в Третье отделение и сказали:

— Либо вы раскаетесь в ваших политических убеждениях, либо мы посадим вас в тюрьму. Идите!

”Вот так номер! — думал Владимир Ильич, выходя из Третьего отделения. — Что же делать?”

Нечего и говорить, что он и не думал раскаиваться в своих политических убеждениях. Но и в тюрьму ему не хотелось. Он медленно шел по улице, размышляя, как быть.

Часа через два перед ним как из-под земли вырос шпик. Он был усат, на голове у него был котелок. Приподняв котелок, он вежливо осведомился, раскаялся ли уже Владимир Ильич в своих политических убеждениях.

— Ну, что вы! — сказал Владимир Ильич. — Вы должны подождать. Подождите вот здесь, у гастронома, а я зайду в гастроном.

Шпик встал у гастронома с таким видом, что всякому было ясно, чего он ждет: а именно, что Владимир Ильич раскается в своих политических убеждениях.

Долго он так стоял. А Владимир Ильич купил тем временем продукты на ужин, вышел через заднюю дверь и давно уже сидел у себя дома и громко смеялся над глупым шпиком.

Поняв, что его надули, шпик злой и пристыженный пошел домой.

На другой день в Третьем отделении не работали — стоял хохот. Собрались все начальники. ”Ой, не могу!” — кричал то один, то другой начальник, хватаясь за толстый живот. Снова и снова шпик должен был рассказывать, как Владимир Ильич его надул, а начальники снова и снова хва-

тались за толстый живот и кричали: "Ой, не могу!"

Нахохотавшись, они уволили шпика.

Теперь он служит надзирателем в одной провинциальной тюрьме и мечтает только об одном: чтобы Владимир Ильич ни в коем случае не раскаивался в своих политических убеждениях и попал за это в тюрьму — сюда, в его отделение.

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

На именины Владимиру Ильичу подарили ослика. Осел быстро привык к новому хозяину. Завидя Ильича, он его радостно приветствовал: "Их-ах, их-ах!" А Ильич никогда не забывал ответить. Это было либо "здравствуй, здравствуй, дурашка", либо — если Ильич был занят — "пошел, пошел, не до тебя". И осел отходил и не обижался: понимал, что вождь — занят.

Все было хорошо, пока большевики не задумали на том осле работать. Думали на нем листовки развозить или ездить на сходки — но куда там! Осел их и близко не подпускал. Очень умный был и все понимал, а работать не хотел.

Большевики стали думать, что делать.

— Отдать его на колбасу, — говорили одни. Другие, которые знали, как сильно Ильич привязался к ослу, не соглашались.

— Ильич не может жить без осла, — возражали они, — и если отдадим его на колбасу, то будет беда. Поэтому давайте просто прогоним его.

Так они спорили и спорили, а осел жил себе и не работал.

Однажды был коммунистический субботник. Ильич пришел первый и осла привел. Осла привя-

зал, а сам стал таскать бревна. Навалит на себя самое тяжелое бревно и несет, как ни в чем не бывало. А если увидит молодую большевичку, то обязательно пошутит с ней. Работать было нелегко, но он был весел: понимал, что работает не на капиталиста, а на себя.

Осел смотрел, смотрел, а потом как закричит: "Их-ах, их-ах!" И сам опустился на колени, дал навалить на себя бревно, а потом понес его. Он его нес легко и красиво, как Ильич. А когда проходил мимо молодых большевичек, то косил на них взглядом и очень хотел пошутить, но не знал, как.

Оказывается, он вовсе не был ленив. Просто он еще молодой был и без опыта. Ему надо было показать, чего от него хотят, а остальное он бы и сам понял.

... С тех пор не было такого субботника, на котором бы не видели того осла. Он как только слышал "Гей, все на коммунистический субботник — бесплатно работать!", — так начинал радостно кричать: "Их-ах, их-ах!"

И всегда — первый являлся.

ХОДОКИ

Владимир Ильич всегда готов был помочь — и советом, и делом, и люди шли и шли к нему. За это и прозвали их: ходоки. Приходили они к Ильичу мрачные, а уходили веселые, перебрасываясь шутками. Это значило: опять Ильич помог — добрым делом либо советом.

Однажды пришли к нему пять мужиков просить вот какого совета: бежать им в Америку или нет? Ильич ввиду важности дела тут же кликнул Надежду Константиновну, чтобы поставила самовар.

Долго советовались мужики с вождем, отхлебывая из чашек вкусный, ароматный напиток; причем Владимир Ильич убеждал их не бежать, говоря, что Америка далеко, а они отвечали, что это — ничего, главное — чтобы не поймали.

— А откуда вы будете, мужички? — спросил Ильич.

— Мы — камчатские, — ответили мужики.

... Даже с далекой Камчатки шли люди к Ильичу! Шли по морозу в лаптях, не боясь простуды. Да и только ли с Камчатки! Шли отовсюду — и с Урала, и с Владивостока. Люди шли огромными толпами. И приходили все мрачные, а уходили — веселые.

Ушли веселыми и те, с Камчатки: разрешил-таки им Владимир Ильич бежать в Америку.

Ныне все четверо живут в Америке и поминают вождя добрым словом.

САМОУБИЙЦА

Митя Плетнев хороший был парень. Врагов у него не было. Работал он слесарем и всегда был весел.

И вдруг — повесился.

Пополз слух, будто повздорил с владельцем фабрики Кругловым. Веревку он купил толстую, самую толстую. Пришел в магазин и сказал:

— Отрежьте на всю зарплату!

Зарплаты-то маленькие были.

И вот — не стало человека.

Ильич как узнал об этом, всплеснул руками:

— Как, Митя ушел из жизни? Такой славный был мальи!

И он решил лично расследовать дело. Накинул пальтишко и поехал. Тут что-то было не так; тут

пахло классовым конфликтом, а это было очень хорошо. Это было прекрасно для агитации и пропаганды.

Когда он прибыл, Митя уже лежал, вынутый из петли. Ильич повернул его на один бок, потом на другой. Пошлепал по щеке. Наверное он думал: "Вот сейчас откроет Митя глаза и все расскажет".

— Что покойника мучишь? — спросил подошедший сторож.

— Мне бы только узнать, отчего это он так, — сказал Ильич. — Ленин я, рабочий вождь, понимаешь?

— Все равно — покойника не трожь. Он и так получил.

— Что же было? — стал Ильич допытывать сторожа. — Может, зарплату ему фабрикант Круглов не додал?

— Все было добавлено.

— А может обсчитал он его все-таки, а? Это бывает. Это бы нам ох, как подошло!

— Не обсчитал, но и лишку не дал.

— Тогда может оскорбил? Может сказал: ах ты, сукин сын! А?

— Митька Плетнев, — сказал, — иди зарплату получи!

— Что же, что же тогда было?

Ильич не спешил уходить. Нет, тут что-то было. Так этого дела оставить было нельзя.

И вдруг ему пришло в голову обыскать покойника. Так и сделали и нашли то, что было нужно Ильичу — записку. Митя простался с какой-то Нюрой:

"Эх, Нюра-Нюра! Не вышло у нас с тобой счастье и не выйдет. Я сейчас холодный уже, а ты еще живая, теплая. Умер я от неразде-

ленной тобою жестокой любви. Любил я тебя одну, и вот теперь ты так далеко! Ты по мне не плачь; да ты и не будешь, я знаю. Прощай навеки! Передай поклон фабриканту Круглову. Хороший он человек, и зарплату всегда сполна выдавал.

Митя”.

— Это черт знает, что такое! — забегал Ильич туда-сюда. — Не может быть, чтобы все было так, как он пишет. Нет, тут было другое.

Он остановился перед Митей и закричал на него:

— Да ты думал ли головой, что делал? Из-за девки — ай, ай, ай! А еще — рабочий!

И Ильич отошел с брезгливым выражением на лице.

— Нет, вы только подумайте! — повернулся он к сторожу. — Вешается хороший человек, а причина — Нюра какая-то. Впрочем, он был глуп — фабриканту поклон передавать, а?

И, сказав ”тьфу!”, Ильич хлопнул дверью и ушел.

А Митя остался лежать — холодный и никому не нужный.

КЛАССОВЫЙ ПОДХОД

Проезжая как-то через одну деревушку, Владимир Ильич увидел похоронную процессию. Шли к кладбищу. Владимир Ильич велел шоферу остановиться и высунулся, желая лучше разглядеть покойника.

— Эй, старичок! — окликнул он. — Не подскажете ли, кого хоронят: бедняка, середнячка или богача?

— Богача, — ответил спрошенный и перекрестился.

Владимир Ильич повеселел и заторопил шофера:

— Что же ты встал, Гриша? Поезжай же, поезжай!

Но Гриша уже и сам знал, что пора ехать. Уж ему-то было известно: не кинется Ильич к покойнику и не заключит его в объятия, лобызая и обливая слезами. Это с ним бывало только когда хоронили бедняка. Тут он очень убивался: голову себе прахом посыпал и прямо нельзя было от покойника оторвать. Когда хоронили середняка, он хмурился и молчал. И лишь когда хоронили богача, он веселел и торопил Гришу ехать.

Машина покатилась, обдавая пылью процессию, в том числе и покойника. Гриша тайком перекрестился. А Владимир Ильич помолчал, а потом сказал:

— Ко всякому явлению, Гриша, надо подходить с классовых позиций. К покойникам тоже.

— Это так, — согласился Гриша, — это верно.

А сам украдкой смахнул слезу.

У него было доброе сердце: хотя он и понимал, что Ильич прав, — ему было немного жаль того богача.



От истоков до устья...

* * *

Божье сердце — над Шварцвальдским лесом.
...Проезжаешь островерхий Страсбург,
пегие от копоты контрфорсы,
мутный Рейн форсируешь, бывало,
и берешь направо круто — в гору.

Ястреб пегий, гость средневековый,
видит все — но ничего не помнит,
помнит все — но этого не знает,
— темное бесцветное пространство
загребая ветхими крылами.

Против виноградников Эльзаса,
замков на высотах голубиных,
скопом народившихся капустниц,
блестко парусинящих на зное,
— сумрачный еловый лог Европы.

Скользкие от старой хвои тропы
меж стволов прямых мироточивых
пролегают в богомольный Фрайбург
— к алтарю пурпурно-голубому
кисти Ганса Бальдуинга Грина,
льды в аду навряд ли столь же яркие.

Свечи, свечи — в нефах и трансептах,
маслянисто зыблющийся пламень,
словно в дело с факелами рати
ангельские брошены по склонам,
сколько их — Распятый не считает.

.....

Даром бесы, аспиды, блудницы
каменными окают губами:
"Божье сердце — цинковое солнце,
скупо светит — никого не греет".
Но душе-то помнится другое!

Август 86

* * *

*Где ж други? лежат на полях
Близь ими разрушенных башен.*

Дельвиг

Крылья распущены пегого сокола
с блестяще слепящей каймой,
воздухом их растрепало, а около
меркнет и радужит зной.

Ор рукопашной литания райские
перекрывают: Гряди!
Дельвига други легли в придунайские
травы с ожогом в груди.

Кто его знает, во что еще выльется
смерть, обретенная здесь.
Снится ль покойным родная кириллица,
швабский ли сумрачный лес?

Незабываема каждая тленная
тьнь среди тленных теней.
Да ведь и наша с тобою вселенная
— тот же этап без огней.

.....

Иль неприступные, подслеповатые
камня кремнистого из
башен клешни по холмам и зубчатые
стены, бегущие вниз,

в чьих амбразурах гнездо обнаружится
пегого стража при них,
— нас обдавая известкою, рушатся
разве что в сводках штабных?

Август 86

* * *

Греясь в бесснежное олово,
лезут друг другу на голову
чайки в прожорливом раже.

Как на звезду Вифлеемскую,
катит в империю венскую
райский гонец в экипаже.

Снова сойдясь врукопашную
с клавиатурою страшною
каждой костяшкой с костяшкой,

кто там ему позавидовал,
ибо бессмертной не видывал
сроду души под рубашкой?

Или сама благоверная
хлорная известь холерная
не помогает и за

грош уступает богатому
негоцианту рогатому
в черном плаще по глаза?

.....

На родовые с секретами
склепы, кофейни с газетами
и на Дунай, голубой

разве твоими молитвами
— из преисподней с пюпитрами
льется игра вразнобой.

Январь 86

* * *

Памяти Вл. Кормера

Как пламя, прикрыта рукой
руины бойница,
за коей парит с бахромой
растрепанной птица.

Навряд ли закал
был утра темней и зеркальной,
когда умирал
товарищ мой в Планерной дальней.

Тесно́ ему там
теперь с непривычки,
где место кротам,
без вовремя вспыхнувшей спички.
Зябко́ там ему
под ситцем в халтурной юдоли
совсем одному
не на побегушках у воли.

Ему мишуры
рождественской там не хватает.
Среди немчуры
товарищ его обитает.
Увижу ль когда
я крест на его домовине?
Вскипит ли вода
святая в прорубленной льдине?

Увы нам! И там,
где он поселился навеки,
и тут по пятам
текут незамерзшие реки.
Дуная и Леты свои
единые розно
фарватеры... И
бесснежно, бесслезно.

Декабрь 86

Молочные темные железы
альпийских громад вдалеке.
Дрейфуют у берега селезни
и лебеди в снежной реке,
которых относит течением
над отмелями ключевым,

когда золотое сечение
померкшего солнца над ним.

Тут Тютчев, сходя за повытчика,
зонтом прикрывался в метель,
смирившийся хаос — во взрывчатый
с поспешностью пряча портфель,
как будто от тайной полиции
исхоженной Богом земли.

Что ждало его бледнолицую
тогда баронессу вдали?

Поставь же стопу безуспешную
на хрупкую кромку ледка,
с той ивою правобережною
на крик перейди с шепотка,
как ежели видишь хранителя
в гнездящемся ангеле том

— бессильного освободителя
с спадающим в реку крылом.

Апрель 86

Моя стезя, не столь жестокая,
как ей положено по чину,
планида ровная, убогая,
с всегда попутным ветром в спину...

Как оживающая в озере
плотвица с рваною губою
или трепещущий по осени
клочок осины над тобою,

как в ласте клена перепончатой
крепь сухожилия сурова,
— так и моя судьба не кончена,
хоть вервие ее багрово.

Как в пору темную, мятежную,
раскатанную до молекул,
впрок собирают крупку снежную,
а не мучную по сусекам,

как обо мне воспоминание
в помехах, бьющих в цель и мимо,
— так и мое забывание
скорее с забытьем сравнимо.

Прощай! Какая сила встречающая
у шестибуквенного кода,
обрывная и бесконечная
в него заложена свобода.

.....

Пред тем, как будем смертью скручены
или уличены в повторе,

— какие токи и излучины
осолонит и примет море?
Рассыпалась ли безымянная
твоя в одесской душегубке
та бабочка, из шелка тканная
на чесуче широкой юбки,

несут ли волны византийские
разграбленных святынь обломки,
как встарь, на скалы киммерийские
в холодноватые потемки,

и все ли слышимы уключины
на рубежах с иного краю,
где были столькие замучены
и не воскрешены — не знаю.

1. X. 86

* * *

Дряхлый ястреб, парящий бессрочно,
многомилостив и безучастен,
над в пространство раскатанной точкой
темноты, может статься, и властен.
А всего-то столетие только,
как осьпалась вся на пути и
по обочинам — жухлая фольга
до Венеции от Византии.

Как крылатые львицы, свирепы
прирученные волны лагуны.
И теснятся роскошные склепы,
словно виллы, где дергают струны.

Кто-то первым из нетерпеливых
незаметно пробрался в усадьбу,
утонувшую ночью в оливах,
— в Галилейскую Кану на свадьбу.

.....

В этих сумерках сытно-тревожных
прозревается кисть Веронезе:
многолюдство его осторожных
персонажей в парче и железе.
Оглушенные кроткие тени
оборванцев и дожи-апаши,
примостясь на ступенях,
смотрят в кубки и чаши.

Август 86

ОТ ИСТОКОВ ДО УСТЬЯ

Зеленолиственный Дуная
исток... поток,
сторожевые огибая
холмы, глубок.

Река Дунай — двупол и холост
его ручей.
В лучах оконных белый хвост
горит свечей.

В его водоворотах цепких
ныряющая та
щепа сколоченного крепко
для нас креста.

Как сукровица от стигмата
на полотне
или заржавленная лата
— зенит в огне.

.....

Дунай, сливающийся с Летой
в спектральной мгле
далекой дельты — не на *этой*
давно земле,

где выпотрошены седые
валы
и наши тени молодые
легли, светлы

— на растолченные частицы
ракушек; и
обугливаются страницы,
Творец, Твои.

1986



Мария ШНЕЕРСОН

Главы, напечатанные петитом

(Из наблюдений над "Красным колесом"
А. Солженицына)

"Но что за эпоха для художника! На что ни взглянешь, все задача, загадка, разгадка которой только возможна поэзией. Весь узел русской жизни сидит тут"¹. Так писал Лев Толстой об эпохе Петра Великого. Слова эти совпадают с замыслом Солженицына, посвятившего свою жизнь воссозданию правдивой истории русской революции. Особенно знаменательной представляется мысль Толстого, что разгадка исторических загадок возможна лишь средствами искусства. Об этом мы не раз вспомним, размышляя о структуре "Красного колеса".

Эпопея Солженицына — сложный конгломерат разнородных (лишь на первый взгляд) элементов: документы сочетаются с художественным текстом, историческое повествование соседствует с вымышленными эпизодами, исторические деятели — с придуманными героями. Однако весь этот пестрый материал сцементирован единым замыслом.

Трудно сейчас сказать, по силам ли одному человеку грандиозная задача, поставленная автором

"Красного колеса": пахать целину в качестве ученого, разгребая груды лживых напластований и, докапываясь до истины, в то же время — с помощью творческой интуиции и воображения — заполнять белые пятна истории. Пока эпопея не завершена, вряд ли можно ответить на этот вопрос. Но и уже опубликованные Узлы — "Август четырнадцатого" и Октябрь шестнадцатого"* — дают достаточно пищи для размышлений и наблюдений.

Исключительный интерес в обоих Узлах представляют главы, которые писатель называет обзорными и считает целесообразным печатать петитом, подчеркивая тем самым их необязательность и адресуя их лишь вдумчивому, особенно заинтересованному читателю. Однако, внимательно всматриваясь в текст "Августа" и "Октября", нетрудно убедиться, что обзорные главы — не вставные, что они органически связаны с основным текстом и составляют вместе с ним нерасторжимое целое. Их роль в освещении многоликого главного героя эпопеи — России — не менее важна, нежели роль всех прочих компонентов. Ведь без глав, напечатанных петитом, исчезли бы важнейшие звенья исторического процесса, а, следовательно, пострадал бы и общий замысел.

Думается, в критической литературе о "Красном колесе" обзорные главы еще недостаточно оценены как явление искусства. Так, Михаил Геллер пишет, что они "принадлежат к замечательнейшим страницам исторической литературы"². Лишь об исторической ценности этих глав говорит и Никита Струве: "...в петитных главах, по замыслу необязательных для рядового читателя, но отличающихся

* В декабре 1986 г. вышел уже и "Март семнадцатого".
— Р е д.

высочайшей пробой, Солженицын ограничивается тем, что организует документы и факты, дает синтетически-уплотненное изображение течений и событий. В главах личностных он восполняет авторским воображением недостающие звенья, угадывает сокровенный образ человека”³.

Но то же самое можно бы сказать и о главах обзорных. В них сочетаются методы научного исследования с приемами художественного творчества и, с точки зрения мастерства, они не только не уступают остальным главам, но порою и превосходят их.

В основу ”Красного колеса”, в том числе — и обзорных глав, положены художественные принципы, которые определили и своеобразную структуру ”Архипелага ГУЛага”. Вот что говорит сам Солженицын об этих принципах:

”...Художественное исследование, как и вообще художественный метод познания действительности, дает возможности, которых не может дать наука. Известно, что интуиция обеспечивает так называемый ”туннельный эффект”, другими словами, интуиция проникает в действительность, как туннель в гору. В литературе так всегда было. Когда я работал над ”Архипелагом ГУЛагом”, именно этот принцип послужил мне основанием для возведения здания там, где не смогла бы этого сделать наука...”⁴.

Слова, сказанные об ”Архипелаге”, определяют и творческий метод воссоздания исторического прошлого в эпопее о русской революции.

Я не ставлю перед собой задачу выяснять научную достоверность ”Красного колеса”. Это — дело историка. Цель настоящей статьи — рассмотрение обзорных глав как части огромной панорамы, ком-

поненты которой созданы по законам художественного творчества.

*

Обзорным главам "Красного колеса", как и великому "Архипелагу ГУЛагу", присущи черты, характерные для научного труда. Это — плод огромной исследовательской работы над архивными и печатными первоисточниками, включая периодику изучаемой эпохи, над письменными и устными показаниями современников и участников событий, над книгами и статьями других ученых — историков русской революции. Как и положено в научном труде, автор "Красного колеса" широко использует и цитирует документы, делает экскурсии в предысторию событий, сопоставляет факты, приводит точные даты, названия, имена, адреса. Все эти материалы тщательно выверены и прокомментированы. И на основе строго научных данных устанавливаются причинно-следственные связи явлений, делаются выводы и обобщения. Одним словом, налицо все элементы серьезной исследовательской работы.

Но есть принципиальное отличие обзорных глав "Красного колеса" от труда ученого-историка. Существенную роль в изысканиях Солженицына играет творческая интуиция и фантазия. Именно художнический дар помогает писателю увидеть и нарисовать живых людей, красочные сцены, проникнуть во внутренний мир исторических персонажей, прочесть документы так, что они начинают играть всеми красками подлинной жизни. Да и компоновку документальных материалов нередко определяют не научные, а чисто художественные задачи. Достаточно указать, что часто

документ не приводится ни полностью, ни в сокращении, а создается своеобразный монтаж из фрагментов писем, дневников, воспоминаний, притом без всяких ссылок на источник. Метод, недопустимый в труде историка, но весьма эффективный в художественном произведении⁵.

Язык обзорных глав, отличающийся точностью и лаконизмом, в то же время сохраняет образную силу, пластичность, многозначность и свободу поэтической речи. Слово не только передает мысли ученого, но и живописует людей и обстановку, вскрывает переживания автора и его героев. Вот один из множества примеров:

"Николай II, внезапно *застигнутый* короной, и по молодости, и по характеру особенно был неподготовлен к самым *бурным и опозданным* годам России. Девятьсот Первый, Второй и Третий *проносились мимо него* мигающими багровыми маяками, — он со всем своим окружением не понял их знаков ... и так *легкомысленно понесся на японские скалы*. ... Тогда в потерянности он *заслонился Манифестом*..."⁶.

Выделенные мною слова (как и весь контекст) настолько выразительны, что они заменяют пространственный рассказ, содержат точную характеристику общей ситуации, выражают авторское отношение к царю и к сложившемуся положению вещей. Чего стоит один лишь эпитет — "застигнутый короной" или метафора — "заслонился Манифестом"! А как трагичен возникающий в подтексте образ обреченного корабля, который не замечает предостерегающих знаков и несется к гибели! Поэзия здесь, как и в других случаях, вторгаясь в область науки, помогает раскрыть суть явлений, озаряя их с прожектором необычайной яркости.

Еще несколько примеров. Опровергая десяти-

летиями укреплявшуюся клевету на Столыпина, Солженицын не только приводит убедительные факты и аргументы, но и находит образные слова, разрушающие ложные представления об этом замечательном деятеле. Вот как говорится о клевете, запятнавшей имя и начинания Столыпина: клевета "выхватила, понесла, перекувырнула — с легкостью неотмываемого оболгания, которая так доступна тысячеликой безликости..." (XII, 216). Здесь что ни слово — то точная метафора: и глаголы, рисующие рождение и нарастание клеветы, и оценка толпы, бездумно воспринимающей лживые наветы.

А вот характеристика Государственного Совета и его маститых членов: "...он был засижен отставными бездельными старцами, и в них останавливалось продвижение живого дела, как в старческом организме останавливается кровь..." (XII, 217). Как многозначно одно лишь словечко — "засижен"! Члены Государственного Совета, действительно, там сидят, заседают. Но этот глагол, обычно употребляющийся в ином словосочетании ("засижен мухами") обретает здесь ярко выраженную сатирическую окраску.

Не менее образно и ядовито говорится о придворных кругах, тормозивших начинания Столыпина: "Эта среда не отличается стальной упругостью, но — болотной вязкостью. ... В такой вязкости всегда тянутся неисследимые липкие нити из одного края в другой, они и дают болотной среде свою непобедимую болотную упругость..." (XII, 228). Привычное сравнение косной общественной среды с болотом здесь обогащается новыми оттенками и точно характеризует невыносимые условия, в которых приходилось жить и действовать Столыпину. Далее писатель прослеживает, как постепенно "липкие нити" опутывали и делали бессильным

даже такого человека богатырского склада, как Столыпин. Присущие ему "природная победность", "счастливая уверенность делателя" (XII, 207, 217) не могли преодолеть "сопротивления всей чвакающей среды" (XII, 229). Так, развернутое сравнение выразительнее и лаконичнее каких-либо научных оценок и определений рисует обстоятельства, парализовавшие деятельность премьер-министра и в конечном счете погубившие и его, и Россию.

Поэтическая образность глав, напечатанных петитом, сближает их с остальными главами "Красного колеса" и свидетельствует о том, что творческая мысль и художническое видение мира в равной мере определяет стиль всей эпопеи.

*

Одна из особенностей искусства, отличающая его от научного мышления, заключается в том, что в художественных произведениях неизменно воплощается личность их создателя. "В художественном произведении главное — душа автора..." — утверждает Лев Толстой⁷.

Душа автора присутствует и на страницах обзорных глав "Красного колеса", хотя присущий Солженицыну полифонизм характерен и для этих глав. И в них часто слышится хор разнородных голосов, звучат противоречивые мнения, проявляются несхожие характеры.

Но есть существенное отличие, на которое указал сам писатель: в обзорных главах "я иногда разрешаю себе дать свое прямое отношение, а в повествовательных этого нет, там все занято персонажами"⁸. И, действительно, в повествовательных главах события рисуются, за редким исключением, с точки зрения действующих лиц и изложение напо-

минает порой их внутренний монолог. В обзорных же главах доминирует голос автора. Даже отбор и компоновка документов определяются в конечном счете авторской позицией, его отношением к людям и событиям.

Тон обзорных глав кажется нередко особенно страстным, нетерпимым, резким. История России начала века волнует писателя не только как "дела давно минувших дней". В исторических картинах трепещут сегодняшняя боль и предчувствие завтрашней беды. Обнажая правду о том, что было, Солженицын предостерегает от того, что сейчас нависло над человечеством черною тучей. Отсюда — острый публицистический накал обзорных глав.

Здесь часто встречаются прямые высказывания автора — мыслителя и историка. Стиль его нередко становится афористичным, и многие афоризмы заставляют задуматься о закономерностях исторического процесса, о явлениях нынешнего времени, о человеческой жизни вообще.

"Мудр тот, кто уступает, стоя при оружии, а не опрокинутый навзничь" (XII, 202), — говорит Солженицын по поводу борьбы царского правительства с террористами в эпоху 1905 года. Но разве эта мысль не относится и ко многим другим историческим ситуациям, хотя бы — ко взаимоотношениям демократических и тоталитарных государств в наши дни?! И разве следующий афоризм (речь идет о действиях царских министров полвека назад) не характеризует современную историю России: "Мы еще мало ведаем, как многое в великой истории народов зависит от ничтожных людей и ничтожных событий" (XIII, 256).

А вот любимая мысль Солженицына, высказанная по поводу деятельности Столыпина, но имеющая куда более широкое значение: "В истории са-

мые трудные линии действий — по лезвию, между двух бездн, сохраняя равновесие, чтобы не свалиться ни в ту, ни в другую сторону. Но они же — и самые верные..." (XII, 203).

В главах повествовательных афоризмы бывают, как правило, вложены в уста героев, и не всегда можно угадать, разделяет ли автор их точку зрения. В обзорных же главах, хотя, повторяю, и им присущ полифонизм, авторская позиция всегда очевидна, даже если слово и предоставляется кому-либо из персонажей.

Так, например, явственно звучит голос русского крестьянства в следующей тираде: "...парила в крестьянской груди наследственная обида на помещичье землевладение: ...у каких-то предков наших когда-то вы отняли землю ни за что, да р и л и нас целыми деревнями вместе с землей! — и этого незажившего пыланья не могли остудить столетия" (XII, 192). Местоимения "наших", "вы" сближают приведенные слова с прямой речью. Но в то же время слышится здесь и голос Столыпина, и голос автора. Именно из этих слов вытекает вывод, к которому приходит премьер-министр и с которым, несомненно, солидарен писатель: "Правовое бесправие крестьян далее нетерпимо..." (XII, 192).

Но, пожалуй, чаще голос автора звучит не в унисон с голосами других персонажей, а вступает с ними в противоречие, не заглушая их, а лишь обнажая подлинную, обычно скрытую суть.

...Депутаты Государственной Думы обсуждают программу, выдвинутую Столыпиным. "Ах, да разве для этого собрались со всей Империи пламенные ораторы... — передает их настроение писатель: — Неужели — дремать над цифрами ... Избавьте! ... И — куда же направить алый гейзер сво-

бодолубивых речей?" (XII, 197). Тут угаданы потаенные мысли и настроения левых думцев. Но несомненна и авторская ирония: о себе не могли они говорить "пламенный оратор" или "алый гейзер..."

Обильно цитируя выступления членов Думы, царских министров или других деятелей (все цитаты берутся из достоверных источников), Солженицын дает иронический комментарий, обнажая подоплеку речей и свое отношение к оратору.

...На заседании Думы в августе 1915 года представители так называемого "Прогрессивного блока" кричат о необходимости создать "правительство из лиц, пользующихся доверием страны" — и автор саркастически замечает, прерывая говорящих: "И — к т о же эти лица?.. Заветный вопрос. Ясно, что мы, всем известные думские ораторы" (XIII, 284). Когда же Гурко заявляет, что следует "поставить у руля подходящего человека", — снова звучит ядовитая ремарка писателя: "У многих колотится тайно сердце: уж не меня ли?.." (XIII, 284).

Реплики Солженицына порою носят частный характер и касаются лишь слов данного оратора. Иногда же следуют общие выводы, глубокие наблюдения над человеческой психологией и сутью происходящего. Так, лидер кадетов утверждает (речь идет о народе): "...в н а с он видит первых законных исполнителей своей воли". Автор же прерывает эту речь: "Как всегда, русский либерализм говорил прямо от имени народа, от народного ума и чувства, не предполагая отличия или трещины между народом и собой" (XIII, 260).

Авторские замечания сопровождают не только прямую речь персонажей, но и чисто информативный рассказ самого писателя о событиях, придавая

повествованию остро публицистический характер. Вот, например, говорится о колебаниях царя, который не может решить: принять или не принять земско-городскую депутацию? При этом отмечается отрицательное отношение Николая II к деятельности Земского и Городского Союзов. И тут же в скобках писатель обращается к монарху: "Но вы же сами их великодушно утвердили, Ваше Величество?.." Далее продолжается рассказ о том же событии, и снова следует авторское замечание в скобках (речь идет об адресе, представленном Союзами царю): "И за прекрасными словами их адреса таилась мысль — научить монарха, ограничить его, а самим прорваться к власти. (По неопытности она казалась им сладкой.)" (XIII, 313).

Модуляции авторского голоса в тех случаях, когда дается комментарий к словам героев или к событиям, бесконечно разнообразны. То слышатся разные оттенки иронии, то острая боль, тревога, негодование, отчаяние, сострадание...

...На заседании Думы в 1915 году один из деятелей заявляет: "Мы, очевидно, накануне вооруженного восстания!" И прерывая оратора, автор в скобках бросает слова, полные пророческой тоски: "О, как давно оно грезилось, в своих таинственных пурпурных ризах!" (XIII, 309).

...Некий октябрист, нападая на Столыпина, кричит о нарушении законности и о "нашем историческом грехе — неуважении к идее права". И какой же горький сарказм, какая боль прорываются в авторской ремарке: "Как легко в пиджаке, галстук и запонках оценить наш исторический тысячелетний грех, не упомня ни дебрей, ни морозов, ни хазар, ни татар, ни ливонцев, ни поляков, — то-то у всех у них, кто сжимал нас, было уважение к праву!" (XII, 235).

Разнообразные авторские комментарии всегда объединяет нечто общее: они не бывают холодны, бесстрастны и раскрываются в них не только личность того или иного персонажа, не только подлинный смысл его слов и суть совершающихся событий, но и душа самого художника.

*

Особенно отчетливо это можно ощутить, обратившись к портретным характеристикам исторических деятелей, то здесь, то там мелькающих на страницах обзорных глав. (Следует отметить, что многие из них занимают не мало места и в повествовательных главах — тот же Столыпин, Николай II, Гучков, Янушкевич и другие.) Авторское отношение к ним чаще всего очевидно, но далеко не всегда однозначно.

Солженицын — мастер лаконичного сатирического портрета. Вот, например, появляются перед нами "жадный хорек Курлов" (XII, 218), "истерический перекидчивый Пуришкевич" (XII, 238), "ничтожный самоупоенный Янушкевич" (XIII, 256), военный министр Поливанов, "чья язвительная раздраженность так и рвалась со всех привязей, из острых глазок, из выставленных челюстишек" (XIII, 262). А вот и "шумливый кипливый" председатель Государственной Думы Родзянко. Впрочем, в этом случае (как нередко и в других) автор не ограничивается односложной характеристикой и рисует небольшую выразительную сценку. Узнав, что царь решил принять пост Верховного Главнокомандующего, Родзянко вскипел и "кинулся в Царское Село уговаривать Государя" отказаться от этого решения. Но Николай на сей раз проявил непреклонность. Тогда Родзянко "кинулся

ругать правительство". Но и премьер-министр Горемыкин не поддавался. И тут Родзянко воскликнул: „Я начинаю верить тем, кто говорит, что у России нет правительства!" — и, не прощаясь, с сумасшедшим видом бросился к выходу. Он был уже так невменяем, что когда швейцар подал ему забытую трость — он закричал: 'К черту палку!', и вскочил в экипаж" (XII, 275).

Большинство персонажей в обзорных главах рисуется бегло, двумя-тремя штрихами. Но более значительные лица раскрываются полнее, и облик их отличается многогранностью. Так, далеко неоднозначен образ председателя Совета министров Горемыкина. Сперва о его назначении на столь высокий пост говорится явно иронически: "ослабелый семидесятипятилетний старик", "как старая шуба, вынутая из нафталина, снова был в употреблении" (XIII, 250). И далее рисуется сатирический портрет высокопоставленного старца: "Опытный, бывалый, даже вялый царедворец Горемыкин, с утомленными глазами, пушистыми усами и долгими бакенбардами, свисшими в две боковых бороды..." О деятельности его говорится столь же насмешливо: "Обязанности свои Горемыкин тянул в полном равнодушии к занимаемому посту" (XIII, 285).

Дряхлость его неоднократно подчеркивается именно потому, что он — один из тех старцев, что тормозили жизнь страны и стояли когда-то поперек дороги Столыпина. Но тем более поражает стойкость, неожиданно проявленная премьером, поскольку дело коснулось священных для него принципов. Тут меняется и тональность авторской речи: "Этот осмеянный всем русским обществом старик сохранял мужество и твердость взгляда, которых не было у его министров..." (XIII, 304).

Столь же сложен образ министра земледелия Кривошеина, метившего на пост премьера. Он явно противопоставлен старому, но несгибаемому Горемыкину. Кривошеин соткан из противоречий. Он мог бы стать соратником и продолжателем Столыпина. Но не стал. Мог бы занять пост Горемыкина. Но не занял. "...Есть пределы в каждом характере... — размышляет о нем писатель. — Он был исконный, природный человек — второго места" (XIII, 285). И далее Солженицын замечает, что в человеке этом "боролась любовь к сильной власти, определенным действиям. И — готовность к ним. И — неготовность к ним" (XIII, 297). В трудную минуту он то хотел уйти со сцены, хоть на время, то снова "сам шагал к посту премьера, решился!" (XIII, 301).

Так под пером художника оживают забытые люди и "сквозь магический кристалл" видим мы давно утихшие страсти, закулисную борьбу и ее живых участников. Прикосновение волшебной палочки мастера превращает пожелтевшие страницы документов в живую плоть и кровь. При этом душа самого мастера неизменно ощущается в каждом слове, в каждом портрете.

*

Оживают не только исторические лица, но и целые эпизоды, в которых воплощен как бы экстракт совершающихся событий. Одна-две сцены — и суть исторического явления обнажается с исчерпывающей полнотой. "Вот, трое городских агитаторов, с девушкой, подняли 400 крестьянских подвод на разгром сахарного завода: они сами — в масках, и в квартире управляющего играют на рояле, пока крестьяне громят завод. Пришлые поджигатели — не соседние крестьяне — распарывают животы ско-

ту на племенном заводе, и быки и коровы подышающе режут над своими внутренностями. Крестьяне жгут имения, библиотеки, картины, рубят в щепки старинную мебель, бьют фарфор, топчут ногами, ломают, рвут, где — не дают спастись из горящих домов, где — увозят награбленное возами” (XII, 181). Так из нескольких картин складывается жуткий образ ”русского бунта, бессмысленного и беспощадного”.

А вот другая незабываемая сцена.

Террористы взорвали казенную дачу на Аптекарском острове, где поселился с семьей Столыпин, месяц назад назначенный премьер-министром. Взрыв был приурочен к моменту приема посетителей. Злой сарказм слышится в самом начале рассказа о покушении на нового премьера: ”Это был — из успешнейших взрывов революции: 32 тяжелораненых и 27 убитых! (Все больше — посторонние...)” (XII, 186).

А далее рисуются кровавые подробности:

”...Раскопками солдат двух полков и пяти пожарных команд обнаруживали раненных и трупы в скрюченных позах, с оторванными частями тел, без голов, рук, ног.) Разнесло полдома, отпали стены, лестницы, трехлетнего единственного сына Столыпина и одну из дочерей выкинуло с балкона через забор далеко на набережную, мальчику сломало ногу, девочка попала под раненых перепуганных лошадей. ... Одна просительница была с младенцем — убило обоих. В клочья были разорваны и сами революционеры и останавливавшие их генерал и швейцар, — и только одна комната в доме совсем не пострадала: кабинет Петра Аркадьевича” (XII, 186).

Достаточно этой картины ”успешнейшего взрыва революции”, чтобы у читателя возникло нагляд-

ное представление о том, что такое террористические акты начала XX века, не менее бессмысленные и беспощадные, чем бунт русских мужиков (или, добавим, чем кровавые "подвиги" какого-нибудь современного бомбометателя).

Солженицын рисует не только само злодеяние, но и воздействие его на участников драмы. После взрыва на Аптекарском царский катер перевозит семью Столыпина в более безопасный Зимний дворец:

„В яркую летнюю субботу катер проезжал под мостами, а там наверху шло кипливое шествие с красными флагами. Восьмилетняя, не раненая, дочь в испуге спряталась от них под скамейку. Столыпин, только что умоливший не ампутировать ног раненой дочери (их мучительно пролечат два года, но она останется хромой на всю жизнь), сказал тут остальным: 'Когда в нас стреляют, дети, — прятаться нельзя' ” (XII, 186).

Поразительная сцена! Как и всегда в истинно художественном произведении, она многозначна и многопланова. Здесь — и образ революционного Петербурга, и бесовская сущность террористов, не щадящих даже детей, и душа ребенка, быть может, на всю жизнь травмированная пережитым, и боль, и горе отца, и его поразительная стойкость, и — перст судьбы: ведь через несколько лет он сам грудью встретит смертельные выстрелы!

Столь же многозначно и описание Зимнего дворца, где, по настоянию царя, вынужден был прятаться от новых покушений чудом спасшийся Столыпин. Под пером художника бывшая резиденция русских императоров становится символом гибели и разрушения.

Великолепное творение Растрелли Солженицын называет "перепыщенной мрачноватой тюрьмой".

Но это — не только тюрьма. Картина, возникшая в воображении писателя, значительно многогранней. На всей обстановке лежит печать вымирания, одряхления, гибели:

”В залах Зимнего горели только дежурные лампы, отчего было еще мрачней. В полумраке тускнела позолота рам бесчисленных портретов, позолота и хрусталь несветящихся люстр. Чехлами была покрыта неподсчитанно-богатая отслужившая мебель, стольких высокоумных сановников принимавшая в свои изящно-изогнутые объятия, а вот — с пустыми затянутыми зевами, с застывшей хваткой мертвецов. И чехлом же был покрыт императорский трон. Как тоже отслуживший. И забирала дрожь: да жива ли русская монархия?” (XII, 188)

Единственные живые существа здесь — певчие птицы в зимнем саду. Упоминание о них подчеркивает контраст между жизнью и вымиранием. Людей же, не считая старых, как и вся обстановка, лакеев, Столыпин не встречает. И невольно рождается вопрос: да встретит ли за стенами выморочного дворца?! Как не вспомнить тут образ старцев, коими ”засижен” Государственный Совет!

Интуиция подсказывает писателю, что должен был чувствовать живой, сильный, полный неукротимой энергии человек в атмосфере медленной агонии:

”За этой мертвой мебелью Столыпин ощущал тысячи высокопоставленных живых мертвецов, кто сбившейся своей толпой хотел бы остановить всякое движение истории. А вокруг дворца бродили обесевшие юноши с бомбами, кто хотел бы взорвать историю и тем тоже окончить ее” (XII, 188).

Чутьем художника Солженицын угадывает, что именно здесь, прозрев, Столыпин увидел ”в земле-

трясной обстановке почти невероятный путь: путь равновесной линии по обломочному хребту” — сочетание реформаторской деятельности с беспощадной войной против терроризма.

Так раскрываются переживания и мысли Столыпина, которые предопределили избранный им путь. Фантазия помогла художнику заглянуть в мир его героя не в меньшей степени, нежели документальные материалы. *Dichtung und Wahrheit* сплелись здесь в нерасторжимое единство.

*

О том, что обзорные главы написаны рукою художника, свидетельствует и их архитекtonика. Свидетельствует она и о том, что главы эти прочными узами связаны с текстом всей эпопеи.

Остановимся подробнее на шестьдесят пятой главе ”Августа четырнадцатого”. В скобках ей дано название ”Петр Аркадьевич Столыпин”, и повествует она о героическом единоборстве премьер-министра с левыми и правыми кругами, которые в равной мере препятствовали его деятельности.

По своему характеру глава эта напоминает трагедию шекспировского масштаба. В центре драматического действия стоит герой-одиночка и его титаническая борьба с обстоятельствами и людьми: с обезумевшей революционной стихией, с враждебно настроенным обществом и Думой — с одной стороны; со ”старцами”, с болотной средой царедворцев, с распутинской кликой — с другой; наконец, с безвольным, переменчивым и подвластным посторонним влияниям императором — с третьей.

Борьба эта разрастается, постепенно накаляясь, доходит до своего апогея и завершается гибелью

героя. Как и в драматическом произведении, здесь есть завязка (первое покушение на Столыпина, жизнь в Зимнем дворце), развитие действия (перипетии борьбы на три фронта), кульминация (победа над революцией, план преобразования России и начало его осуществления), медленно приближающаяся и внезапно наступившая развязка (схватка с Третьей Думой, охлаждение царя, подготовленная всем ходом действия гибель Столыпина, прощение виновников его убийства и забвение его подвига).

Впрочем, развязка в этой трагедии двойная: внешняя — касается судьбы главного героя; внутренняя — определяет судьбы его родины, а, быть может, и всего человечества. Драматические события первого тома "Августа" (военная катастрофа) и грядущая революция — все так или иначе, по мысли автора, связано с крахом столыпинских планов и начинаний и с гибелью самого Столыпина. Недаром Солженицын утверждает: выстрел в Столыпина "был выстрел — в Россию. Во всю нашу судьбу"⁹.

Таким образом, внутренне стройная, содержащая развитие единого драматургического конфликта шестьдесят пятая глава, неразрывно связана с соседними главами (в том числе и с обзорной семьдесят третьей — "Царское милосердие") и со всей эпопеей. Более того. Глава эта является едва ли не эпицентром "Красного колеса", ибо в ней завязаны главные узлы русской и всемирной истории: рисуется единственно возможный, но не состоявшийся путь спасения от большевистской проказы и единственный человек, который мог бы ее предотвратить, если бы не роковая пуля.

Другие обзорные главы Первого Узла носят более частный характер и связаны лишь с событиями

1914 года: 23, 32, 41, 49 и 57 главы — обзор военных действий за определенный период. Однако и эти главы — органическая часть "Августа четырнадцатого".

Поглядим, хотя бы, какое место занимает пятьдесят седьмая глава. Ей предшествует один из эпизодов отступления: сцена в госпитале перед уходом русских войск из Найденбурга (сестра милосердия Таня прячет на себе полковое знамя). И вот обзорная пятьдесят седьмая глава содержит важную информацию о наступлении немцев на Найденбург, о панике, охватившей штабное начальство, по вине которого была упущена возможность прорвать немецкое кольцо. Завершается глава документом, дополняющим характеристику штабных деятелей: без зазрения совести они опровергают сообщение врага о победе над русскими войсками в Восточной Пруссии.

На этом фоне, сугубо деловом, документальном, особенно выделяется одна из самых потрясающих глав "Августа четырнадцатого" — пятьдесят восьмая, киноэкранная: "Поле боя. Картина котла глазами лошади". Здесь как бы завершается повествование о Самсоновской катастрофе, которое занимает почти весь первый и часть второго тома "Августа". (А далее следует ряд ретроспективных глав, повествующих о Столыпинской катастрофе.)

Последние слова киноэкранной главы служат связующим звеном между военными и столыпинскими главами. Лошади видят толпы русских пленных, которых ведут в загон для людей, огражденный колючей проволокой. И глава кончается восклицанием автора: "Новинка! кон-цен-тра-ционный лагерь! — судьба десятилетий! Провозвестник Двадцатого века!" (XII, 65). Так возникает при-

зрак будущего ГУЛага — порождения русской революции, торжество которой в конечном счете было предрешиено Первой мировой войной и гибелью Столыпина.

В "Красном колесе" существенную роль играют подобные "стыки". И в переключке глав значение обзорных не менее велико, нежели других. Текст, напечатанный петитом, подобен слову, которого из песни не выкинешь.

То же можно сказать и о композиции Второго Узла. И там, среди обзорных глав, которые носят частный характер и приурочены к одному конкретному событию, есть одна центральная, по своему значению связанная со всей эпопеей.

Седьмая обзорная глава посвящена истории Кадетской партии; сорок первая — Александру Гучкову; шестьдесят вторая — "Прогрессивному блоку"; шестьдесят пятая, а вслед за ней и семьдесят первая — подробно рассказывают о заседаниях Думы в ноябре 1916 года. И лишь одна обзорная глава в "Октябре" — девятнадцатая — касается не отдельных лиц и событий, а носит обобщенный характер и связана многими нитями с основными узлами русской истории, опять-таки обнажая причины грядущей революции. Уже само название этой главы говорит о ее глобальном значении: "Общество, правительство и царь". Речь здесь идет о трех противоборствующих силах, конфронтация которых в конечном счете и привела Россию к катастрофе.

Рассказ о схватке этих враждующих сил, как и рассказ о гибели Столыпина, полон драматизма. Однако на сей раз нет центрального трагического героя и драматургический конфликт основан не на борьбе титанической личности, а на столкновении мелких людей, мелких страстей и самолюбий. Но роковая развязка неизбежна и тут.

Центральным персонажем девятнадцатой главы мог бы стать, но не стал император. Он оказался непригодным для роли трагического героя. Рисуеться единоборство сил, которые в свое время противостояли Столыпину справа и слева. И выясняется, что между ними невозможны ни понимание, ни примирение. В этом — коренная трагедия России.

На исторической сцене действуют кадеты, Земский и Городской союзы, Дума, Совет министров, мелькают лица отдельных участников событий, разыгрываются трагикомические баталии. Особенно подробно изображена битва, которая разгорелась в связи с решением царя принять пост Верховного Главнокомандующего. В этой истории наиболее резко проявился конфликт между обществом, правительством и царем.

И тут, как и в обзорной столыпинской главе, очевидны как бы две развязки. Одна из них носит частный характер: после долгих колебаний и борьбы Николай II принял пост Главнокомандующего и вроде бы одержал победу над общественными силами, которые противились такому решению. Но победа оказалась пирровой. И глава завершается словами автора, имеющего в виду истинную, еще не наступившую, но неизбежную развязку:

”...смертельная рознь власти с обществом была болезнь России, и с этой болезнью нельзя было шагать гордо победно до конца. Любя Россию, надо было мириться с нею со всей и каждой. И еще не упущено было помириться. Но за десятками неразстворных дубовых дверей неуверенно затаился царь...” (XIII, 314).

Собственно говоря, весь Второй Узел и раскрывает бездонную пропасть между обществом, правительством и царем, обнажает роковой характер этого конфликта, завершившегося, как в шекспи-

ровской трагедии, гибелью всех противоборствующих сил. Таким образом, и здесь одна из обзорных глав становится эпицентром не только всего Узла, но и всей эпопеи.

Нет сомнения, лишь сочетание и сцепление разнохарактерных глав, их стыки и нерасторжимое единство помогают читателю "услышать, как бьют большие часы истории"¹⁰.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Русские писатели о литературном труде. Ленинград, "Советский писатель", 1955, т. 3, с. 560.

2. "Обозрение", № 17, ноябрь, 1985, с. 15.

3. Там же, с. 23.

4. "Континент", № 11, 1977, Приложения, с. 20.

5. Этот вопрос подробно рассматривается в моей статье "Документальная правда и художественный вымысел". "Стрелец", 1987, № 1.

6. Александр Солженицын. Собрание сочинений. Вермонт-Париж, 1983, т. 12, сс. 202—203. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте (в скобках указывается номер тома и страницы).

7. Русские писатели о литературном труде, с. 447.

8. Интервью с Бернаром Пиво. "Русская мысль", № 3541, I/XI, 1984. Специальное приложение, с. III.

9. Там же, с. II.

10. Там же, с. III.



Творческое одиночество Марины Цветаевой

”Я любящая, отнюдь не любимая”, — говорила о себе Цветаева. Действительно, путь ее не только земной, но и творческий, был, как нам известно, трагичным, — поистине волошинским ”темным жребием”. Можно лишь заметить, что в то время как Мандельштам справедливо и точно обвинял свой век, сравнивая его с волкодавом, Цветаева говорила, что родилась она вне времени и поэтому нет у нее места в современности.

”Стихов моих, забывая, что я поэт, нигде не берут, никто не берет — ни строчки”. Да, лейтмотивом писем Цветаевой эмигрантского периода были строчки: ”Стихов моих нигде не берут, пишу мало — и без всякой надежды, что когда-нибудь увидят свет”. Цветаева в общем не преувеличивала. А. Седых говорил мне, что в эмиграции были два имени, избегаемые редакторами: Ремизов и Цветаева. Обоих все же печатали, но печатали неохотно, потому что оба не имели успеха у читателей.

”С Вашей высокой оценкой дарования Марины Цветаевой мне трудно согласиться. Талант ее мне кажется крикливым, даже истерическим, словом она владеет плохо и ею, как А. Белым, владеет слово. Она слабо знает русский язык и обращается с ним бесчеловечно, всячески искажая его”, — пи-

сал Горький Пастернаку в 1927 году. В то же время писал он в несколько более мягкой форме сестре Цветаевой Анастасии Ивановне: "И у сестры Вашей многого не понимаю, как не понимаю опьянения словами вообще ни у кого".

Так думали о поэзии Цветаевой писатели и поэты не только горьковского литературного направления; Бунин, Гиппиус, Адамович, Г. Иванов и другие писали о ней почти словами Горького. Г. Иванов называл ее стихи сложными, многословными, бессмысленными. И даже Д. Святополк-Мирский, в дальнейшем благосклонный критик Цветаевой назвал ее однажды "талантливой, но безнадежно распушенной москвичкой". А какой-то Ф. Манов в 1923 году в Праге печатно высказался о том, что поэзия Цветаевой — "явление преходящее, случайное". В основном, современные критики постоянно повторяют, что поэзия Цветаевой прошла мимо слуха ее современников, несмотря на благожелательное к ней отношение таких значительных поэтов, как Пастернак, Рильке, Волошин, Белый...

Юрий Терапиано в предисловии к составленной им антологии "Муза Диаспоры", 1960 г.*, пытается объяснить равнодушие эмигрантского читателя к творчеству Цветаевой: "В то время, как Пастернак шел от сложности к простоте — Цветаева усложняла свою поэзию, шла веку наперекор, что и явилось причиной ее одиночества в эмиграции". И дальше в том же предисловии: "Времена были иные, не громкий зов, а приглушенные голоса, не вихрь и буря, а тишина казались тогда более убедительными для человека тридцатых годов".

Так ли это? "Приглушенные голоса", "тишина" — для читателей 30-х годов. А для 20-х? Цветаеву

* Изд. "Посев". — Р е д.

ведь критиковали не только в 30-х годах. "Опьянение словами"? Но разве не был опьянен словами популярнейший одно время Бальмонт? Сложность? Но разве мало сложных стихов у Блока и у многих других поэтов Серебряного века? Эгоцентризм? — в нем тоже обвиняли Цветаеву. Но разве Ахматова менее эгоцентрична? Разве мало у Цветаевой стихов о других? И какие это стихи восторженно-хвалебные! А о Москве? А "Лебединый стан"?

Но возьмем два стихотворения, характерно цветаевские. Первое о любви, обращенное к Пастернаку, в которого на расстоянии страстно была влюблена Цветаева; второе о творчестве. Между стихотворениями одиннадцатилетнее расстояние: о любви написано в 1923 году, о творчестве в 1934.

Не чернокнижница! В белой книге
Далей донских наострила взгляд!
Где бы ты ни был — тебя настигну,
Выстрадаю — и верну назад.

Ибо с гордыни своей, как с кедра,
Мир озираю: плывут суда,
Зарева рыщут... Морские недра
Выворочу — и верну со дна!

Перестрадай же меня! Я всюду:
Зори и руды я, хлеб и вздох,
Есмь я и буду я, и добуду
Губы — как душу добудет Бог:

Через дыхание — в час твой хриплый,
Через архангельского суда
Изгороди! — Все уста о шипья
Выкроваю и верну с одра!

Сдайся! Ведь это совсем не сказка!
— Сдайся! — Стрела, описавши круг...
— Сдайся! — Еще ни один не спасся
От настигающего без рук:

Через дыхание... (Перси взмыли,
Веки не видят, вкруг уст — слюда...)
Как прозорливица — Самуила
Выморочу — и вернусь одна:

Ибо другая с тобой, и в судный
День не тягаются...
Вьюсь и длюсь.

Есмь я и буду я и добуду
Душу — как губы добудет уст —

Упокойтельница...

*

Вскрыла жилы: неостановимо,
Невосстановимо хлещет жизнь.
Подставляйте миски и тарелки!
Всякая тарелка будет — мелкой,
Миска — плоской.

Через край — и мимо —
В землю черную, питать тростник.
Невозвратно, неостановимо,
Невосстановимо хлещет стих.

Без всякого сомнения, в обоих стихотворениях, написанных в цветаевской экспрессионистской манере, чувствуется мистическая сила большой поэзии, чувствуется характерно цветаевская смесь торжественности с некой иступленностью и очень своеобразная сложная внятность, являющаяся орга-

нической частью всего цветаевского творчества. В ритмах — неимоверная энергия поэтического слова, огромный, стихийный дар поэтессы. Мгновенно видна большая культура — знание Библии, богатство словаря, в котором не только неологизмы, но и возврат к словам архаичным, книжным. Особенность знаков препинания с обилием двоеточий, многоточий, восклицательных знаков, тире и вишащей в воздухе последней строчкой-концовкой, состоящей из одного слова, характерная, опять-таки сложно-внятная строфика. И, конечно же, потрясающее воображение большого художника. Ничего пешеходного. Все полет.

Сущность обоих стихотворений почти одинаковая: стихийная, неистовая сила любви и такая же стихийная и неистовая сила вдохновения. Во втором стихотворении неостановимо "хлещет стих", то есть вдохновение; в первом — так же неостановимо хлещет иступленное чувство любви, чувство, по аллюзии в начале стихотворения, возвращающее мужа Цветаевой Сергея Эфрона невинным из походов Белого движения: "...В белой книге/Далей донских наострила взгляд!" Она выстрадала его, вернула его. И таким же образом — через все границы, через все преграды, любовь ее жаждет добыть другого, любимого ею человека, в данном случае — Бориса Пастернака, к которому обращено много стихотворений Цветаевой. Этот изумительный по силе выражения монолог-заклинание написан в Чехии. Он является частью цикла, обращенного (без посвящения) к Пастернаку. Перед этим поэтесса писала циклы стихов к Ахматовой, Блоку, и другим. Почему же все-таки поэт такой щедрой самоотдачи не имел должного резонанса? Почему долго не был надлежащим образом принят в ряды лучших поэтов нашего века?

Мне хочется высказать очень простое предположение. Упрощая многое до предела, можно сказать, что каждое поэтическое произведение мы воспринимаем в трех измерениях: чувство, форма и рациональное начало, то есть содержание или мысль стихотворения. Чем больше гармонии между этими тремя компонентами, тем легче восприятие, тем больше стихотворение нравится. Ахматова была на редкость одарена гармоничным стихотворным даром, посему восприятие ее творчества не встречало резкой критики, а наоборот, до сих пор вызывает восторг и у читателей и у критиков, не считая особо страшного времени в Советском Союзе. Но даже и там в конце концов она победила. Чувство, форма, содержание — у Ахматовой нечто гармоничное, нечто целое. Даже характерный ее understatement* умерен, не вызывает сомнения в художественной ценности стихов.

Чувство же у Цветаевой, благодаря исключительно складу ее характера, гипертрофировано. Некоторые цветаяевские строчки производят впечатление эмоционального отчаяния, независимо от того пишет ли она о несчастной любви, о творческом процессе, или заполняет простую анкету. (Под вопросом о любимых книгах: "Книги, с которыми дам себя сжечь".) Как у Цветаевой часто, ее же словами: "Через край и мимо". Мимо, потому что через край. Мне кажется, больше всего в этом, а не в трудной семантике, трудной форме, или в "словострастии" заключается трагическое цветаяевское "отнюдь не любимая".

Но если чувством управлять Цветаева не всегда могла, — словом владела она виртуозно. И знала

* Understatement (англ.) — преуменьшение, сдержанное высказывание, замалчивание.

об этом: "Я же, знающая цену слова, всю невозвратимость его, знала, что получила все". Умение не только слышать, но даже осязать и видеть звук слов — у нее феноменально. "Челюскинцы! Звук как сжатые челюсти. Мороз из них прет". Или: "России (звука) нет, есть буквы СССР — не могу же я ехать в глухое, без гласных?" (Как трагично, что не вняла она своему слуху! Он ее не обманывал.) Конечно, есть и в этой области у Цветаевой перегибы. Например, в поэме "Крысолов" такая бездна увлечений анафорами, ассоциациями, аллитерациями, что многие строчки превращены в сплошную скороговорку; этим "выловить", "выудить", "выведать" — числа нет. И все же, на "Страшном суде Слова" — Цветаева — да, чиста!

Однако естественный для нее мир ее души, до предела натянутый, до предела эмоциональный, был для многих чужд и даже враждебен. "Буду провожать Вас — покуда души хватит. Это не чрезмерные слова, это безмерные чувства: ч у в с т в а, уже исключающие понятие меры! И я говорю меньше чем есть". Из письма Пастернаку — 1924 год. О сыне Муре, которого обожала Цветаева (к слову: справедливой матерью она не была. Отношение к детям — дочери и сыну, не было одинаковым. Но это уже другая тема): "Не пронзен. (Пронзен — душа. Ибо душа = боль + все другое)". 1935 год. "Сегодня (26 сентября по старому) Иван Богослов — мне 48 лет. Поздравляю себя. Тьфу, тьфу, тьфу с исцелением, а может быть с 48-ю годами непрерывной души". 1940 год — 11 месяцев до самоубийства.

Как бесконечно жаль, что при жизни Марины Цветаевой не вдумались в ее строчки: "А ключ прост — просто поверить, просто понять. Принять".

То есть не только принять, а прийти в восхищение от огромности, от исключительности ее таланта, ее большой души художника. Понять, как трудно жилось ей с безмерностью этой души в простом и равнодушном "мире мер" — не говоря даже о сложнейшем и трагическом времени нашей русской истории.



Марк ПОПОВСКИЙ

Мария Степановна

”У меня теперь в доме завелся порядок и даже благолепие благодаря хозяйничанью Маруси Заболоцкой... Появление Маруси в нашем доме — прямо благословение Божие”.

*М. А. Волошин. Письмо к
В. В. Вересаеву. 2 апреля 1923 г.*

”Личность не есть правило, она есть исключение, единичный случай”.

Николай Бердяев

Ночью в Москве почтальон принес телеграмму: ”Мария Степановна скончалась 17 декабря”. И подпись: ”Купченко”. Мы с женой несколько раз перечитали скупое сообщение. Помолчали, говорить не хотелось. Потом снова взялись за телеграфный бланк, разобрали — отправлено из поселка Планерское, Крымской области, вечером 18 декабря 1976 года. Ближе к полуночи начались телефонные звонки: такую же телеграмму получили несколько наших знакомых. Собственно, говорить было не о

чем, все уныло повторяли одно и тоже: "Дому поэта — конец". Для человека со стороны суть события свелась бы к тому, что где-то в крымском поселке на 90-м году умерла маленькая, полуслепая старушка, бывшая фельдшерица, вдова малоизвестного поэта Максимилиана Волошина. Посторонние в таких случаях правы: 89 с хвостиком — возраст смертный. Но для нас, тех, кто в Москве и Ленинграде обменивались в ту ночь по телефону малопонятными для посторонних фразами, смерть Марии Степановны означала нечто совсем иное. Мы десятки лет знали ее, каждый год навещали ее жилище, известное как Дом поэта. Для нас Дом (мы и в письмах называли его с большой буквы) находился не в поселке Планерское, как обозначено на советских картах, а в татарско-болгарской деревушке Коктебель, откуда при Сталине выселили и татар и болгар. Память о Коктебеле, лежащем на берегу моря у подножья горной гряды Карадаг, наполнена была для каждого из нас множеством радостных воспоминаний. А Дом необычной архитектуры, где в белокаменной призме с высокими, на море глядящими окнами, помещалась когда-то мастерская художника и поэта Максимилиана Волошина, был нашим святилищем. Не отставная старенькая фельдшерица умерла в тот день, а Хозяйка Дома Поэта, человек качеств редких и удивительных. Ласковая? Симпатичная? Не то, совсем не то...

I

Поэт умер в 1932-м. Следующие 45 лет вдова хранила рукописи его, берегла огромную библиотеку на европейских языках, картины, мебель,

краски, которыми Волошин писал свои акварели, письменный стол. За 60 лет советской власти государственные издательства опубликовали лишь ничтожно малую часть его литературного наследства, однако подруга поэта была убеждена, что придет пора, когда все эти стихи, статьи и картины станут людям необходимы.

Ни злодеяния 20-х и 30-х годов, ни ужасы войны, ни официальное пренебрежение памятью ее мужа в 50—60-е годы — ничто не лишало ее веры. Убежденная в будущем признании, она создала нечто в советскую эпоху совершенно уникальное: частный мемориальный музей. Почти полвека провела она в комнатах, которые по ее воле превращались то в культурный центр, то в странноприимный дом, но всегда оставались для нее храмом, возведенным в память поэта. Одни посмеивались над причудами Марии Степановны, другие писали на нее доносы и требовали "прикрыть антисоветскую лавочку". Но каким-то чудом Дом продолжал существовать, храня в своих стенах память о покойном хозяине и его эпохе — Серебряном веке русской литературы.

Впрочем, неизменным оставалось и отношение властей страны к волошинской поэзии. В 20-х его травили как антисоветчика и только чудом не арестовали. В 30-е и 40-е годы упоминание о нем сопровождалось презрительными намеками на его "чуждость", "несоветскость". Даже после смерти Сталина, когда возникла, наконец, какая-то возможность говорить правду, Илья Эренбург надменно писал о затравленном поэте, что в то время, как он, Эренбург, "искал правду, Волошин играл в детские игры". Эстетические взгляды Волошина Эренбург объявил "цирковыми фокусами". Причина взаимной неприязни между Максимилианом

Волошиным, советской властью и ее прихлебателями таилась в его абсолютной внутренней независимости, которую он никогда не скрывал. Он не пожелал принять ни одну из навязываемых ему идеологий. В 1920 году, когда Крым еще оставался белым, Волошин, живя в Коктебеле, писал:

... Одни возносят на плакатах
Свой бред о буржуазном зле,
О светлых пролетариатах,
Мещанском рае на земле.
В других весь цвет и гниль империй,
Все золото, весь тлен идей,
Прах всех богов и фетишей,
Научных вер и суеверий.
Одни идут освобождать
Москву и вновь ковать стихию,
Другие, разнуздав стихию,
Хотят весь мир пересоздать.

.....

А я стою один меж ними
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других¹.

Свой Дом в Коктебеле Максимилиан Волошин ощущал как крепость, но крепость, в которой может найти приют и спасение всякий, преследуемый за свои взгляды. Этот принцип сохранил он и в советскую пору. На пороге десятилетия Октября, когда коллеги его из кожи вон лезли, чтобы восславить власть большевиков, Волошин писал поэму "Дом поэта", где эпохе революции и междоусобной бойне были посвящены следующие строки:

В те дни мой дом, слепой и запустелый,
Хранил права убежища, как храм,
И растворялся только беглецам,
Скрывавшимся от петли и расстрела.
И красный вождь, и белый офицер,
Фанатики непримиримых вер,
Искали здесь, под кровлею поэта,
Убежища, защиты и совета.
Я ж делал все, чтоб братьям помешать
Себя губить, друг друга истреблять,
А сам читал в одном столбце с другими
В кровавых списках собственное имя².

Принцип поистине фантастического гостеприимства сохранился в Доме Поэта и позднее. В письме Волошина, датированном 1924 годом, читаем:

"Раньше — при жизни моей матери — комнаты в доме сдавались в наем, а после ее смерти я открыл его для бесплатного пользования... Двери моего дома раскрыты всем без всякой рекомендации — в первую голову писателям, художникам, ученым и их семьям, а если останется еще место — всякому, нуждающемуся в солнце и отдыхе, кому курортные цены не по средствам. Ставится одно условие: каждого вновь прибывающего принимать как своего личного гостя... Срок его пребывания не ограничен. Налажено коллективное питание для экономии. Летом сюда приезжают отдыхать, весной и осенью — работать. За 1923 год через мой дом прошло 200 человек, а за текущий — 300"³.

Один из гостей волошинского дома, поэт Андрей Белый, через год после смерти хозяина так описал жизнь в коктебельской художественной колонии:

"Игры, искристые импровизации Шервинского, литературные вечера, литературные беседы то в мастерской художника, то на высокой башне под звездами, поездки в окрестности, поездки на море и т. д. — все это инспирируемое хозяином оставляло яркий, незабываемый след... В центре этого пестрого орнамента из людей и их интересов видится мне приветливая фигура Волошина, способного воодушевить и камни; его седеющая уже, пышная шевелюра, стяну-

тая цветной повязкой, — с посохом в руке, в своеобразном одеянии, являющем смесь Древнего Востока со славянством. Он был вдохновителем мудрого отдыха, обогащавшего и творчество и познание”⁴.

Свое письмо Андрей Белый передал вдове поэта в надежде, что оно поможет расположить власти к открытию государственного музея Волошина. Ради этой практической цели Белый преднамеренно опустил весьма огорчительные подробности жизни коктебельского Дома. Но сам Волошин не считал нужным ничего скрывать. В той же поэме ”Дом Поэта” читаем:

Мой кров — убог. И времена суровы.
Но полки книг возносятся стеной.
Тут по ночам беседуют со мной
Историки, поэты, богословы,
И здесь их голос, властный, как орган,
Глухую речь и самый тихий шопот
Не заглушит ни зимний ураган,
Ни грохот волн, ни Понта мрачный ропот.
Мои ж уста давно замкнуты... Пусть!
Почетней быть твердым наизусть
И списываться тайно и украдкой,
При жизни быть не книгой, а тетрадкой.

Времена были действительно суровые.

”В литературе меня очень травят и шельмуют, — писал Волошин друзьям в Париж. — Это грозило бы самыми дурными последствиями, если бы у меня не было нескольких доброжелателей в правительственных кругах. Но печататься мне почти невозможно... Все, что я писал, пишу и что замыслил — все нецензурное. И чем дальше, тем хуже”⁵.

Суровость эпохи выражалась не только в том, что уста поэта оказались наглухо ”замкнутыми”. В уже цитированном выше письме Л. Б. Каменеву Волошин сообщал:

”В истекающем (1924) году было сделано несколько попыток уничтожить К/ультурно/ Х/удожественную/ Колонию путем произвольных обложений и налогов, что, конечно, нетрудно, так как она существует без всяких средств, не принося никаких доходов. Мне предлагалось в ультимативной форме немедленно выбрать ”промышленный патент на содержание гостиницы и ресторана”, то есть записаться в ”нэпманы” со всеми налоговыми последствиями этого, под угрозой выселения всех ”жильцов” и запечатания дома”.

Меж тем этот ”нэпман” вел себя в высшей степени не по-нэпмански. В автобиографической справке (1929) Максимилиан Александрович так объясняет свои принципы жизни в советском государстве:

”Оставаясь в стороне от политической и общественной деятельности, я тем не менее признаю для себя обязательными ряд морально-экономических норм. Так, я изгнал из своей жизни всякую куплю-продажу. Я отказался от литературной и художественной собственности. Из картин моих, имеющих в музеях республики, ни одна не была продана мною, но все подарены. Мою дачу в Коктебеле, утвержденную за мной Крымским правительством, я превратил в бесплатную колонию поэтов, художников, ученых и их семей”⁶.

Никакие заявления Волошина о том, что он со своих постояльцев денег не берет, власти всерьез не принимали. Милиция и фининспекторы то и дело атаковали Дом Поэта. Лидия Владимировна Тремль, каждое лето, начиная с 1923 года, проводившая в Коктебеле, рассказывает:

”Раза три-четыре в лето, вдруг в разгар нашего веселья или захватывающей беседы, появлялись эти мрачные фигуры, ловили всех живущих, допрашивали каждого в отдельности, сколько он платит за комнату, старались поймать, сбивая вопросами, требовали книгу доходов и расходов и грозили описью дома. Маруся, более резкая, в этих случаях только старалась увести Макса подальше, а Макс впадал

в полное бешенство. Он топал ногами, кричал и все искал поддержки у Маруси:

— Маруся, ты слышишь, они оскорбляют меня, они не верят моим словам! Они говорят, что я говорю неправду...

Мы старались превратить все в шутку, подписывали коллективные заявления... объясняющие, что мы не платим, но неизбежно через две-три недели появлялся новый фининспектор и новая гроза надвигалась на Дом"⁷.

Позднее была создана легенда о том, что, питая нежную любовь к государству рабочих и крестьян, Волошин — "гражданин и патриот, не мыслящий себя вдали от родины и ее судеб", добровольно подарил государству свой дом⁸. Эту версию сегодня можно обнаружить в любом путеводителе по Крыму, а также во всех статьях о Коктебеле. Сравнительно недавно советская газета опубликовала также текст "дарственной", которую Волошин якобы подписал 18 августа 1931 года:

"Я, Максимилиан Александрович Кириенко-Волошин, поэт, художник и критик, приношу в дар Всероссийскому союзу советских писателей каменный флигель моей дачи, закрепленной за мной постановлением Крым — ЦИК от 29 января 1925 года за номером 03945, для устройства Дома отдыха писателей под именем "Дом Поэта"⁹.

Между тем "дарственная" была вырвана почти что силой. Угрозами и посулами поэта поставили в такое положение, что не "подарить" дом, построенный его матерью, он просто не мог: здание вот-вот могли конфисковать. Получив очередное предостережение-угрозу, Максимилиан Александрович просто махнул на все рукой и отдал флигель и нижний этаж своего дома, а для себя и своих гостей сохранил только верх.

В последние годы жизни Волошины попросту голодали. "Материально существую никак — чу-

дом", — признался он друзьям, эмигрировавшим во Францию¹⁰. Местные власти отказали ему и Марии Степановне в выдаче хлебных карточек, поскольку они "нигде не служат и не состоят ни в какой организации". Напрасно пытался Максимилиан Александрович втолковать своим гонителям, что поэта не следует считать нахлебником государства, что кое-какая польза от поэзии народу все-таки есть. В ответных письмах (я видел их в коктебельском архиве) вожди районного и сельсоветского масштаба снова и снова твердили о "паразитическом образе жизни" обитателей Дома Поэта.

В конце 20-х и начале 30-х годов Марии Степановне приходилось ломать голову не только над тем, как и чем прокормить семью, но и как сохранить жизнь мужа.

"Годы гражданской войны кончились для меня тяжелой болезнью (полиартрит, осложненный ревматизмом, астмой, расстройством почек и сердца)", — писал он в своей биографической справке.

Официальная бумага, выданная Феодосийским райздравотделом в марте 1929 года, подтверждает, что "гражданин Волошин, работающий в должности писателя, по состоянию здоровья подходит под инвалидность второй группы"¹¹. Год спустя профессор Шервинский в Москве поставил своему пятидесятитрехлетнему пациенту по сути дела безнадёжный диагноз:

"Артрит, артериосклероз, расширение и гиперфункция сердца, расширение аорты, гипертрофия и хроническое воспаление почек при сильно развитом общем ожирении, вызванном неправильной функцией эндокринных органов"¹².

Нищета и убожество жизни тех лет, отсутствие серьезной медицинской помощи ускорили гибель поэта. Максимилиан Александрович умер 11 августа 1932 года на руках своей жены. Мария Степановна выполнила завещание мужа, похоронив его на одном из тех высоких холмов Коктебеля, с которого открывается великолепный вид на Коктебельскую бухту, Карадаг и гору Сюрюю-Кая. Они соединились на этой вершине снова сорок пять лет спустя...

II

Что-то детское было в муже и жене Волошиных. Но очень разными были эти "дети". Автор глубоких философских стихов, серьезный аналитик современного изобразительного искусства, Волошин поражал окружающих своей полной незащищенностью и открытостью. Он попросту не умел говорить неправду и тем вызывал презрительные усмешки своих более "взрослых" знакомых. С ребяческой радостью общался он со своими друзьями. Безмятежность духа и беспредельный оптимизм не покидали его даже в самую глухую кровавую пору Гражданской войны, когда Дом Поэта оказывался между двух огней. Детскость сквозила и в его внешнем облике: в Коктебеле носил он что-то вроде древне-греческого хитона и сандалии на босу ногу, а лоб перевязывал цветным платком¹³.

Детскость Марии Степановны носила иной характер. Была она добра, но в то же время жестко бескомпромиссна. Всю жизнь, как девчонка, упрямилась и капризничала. Уже будучи женой Волошина, могла по пустякам устроить домашним шумный разнос с хлопаньем дверями и швырянием чего

ни попадая на пол. В юности, рассердившись за что-то на своих опекунов, стащила скатерть со стола, сервированного хозяевами для пятидесяти гостей. Макс по доброте своей называл такие вспышки гнева "термидорчиками". При всем том Маруся быстро отходила и как ребенок просила прощения за свою несдержанность. Порывистая страстность приводила ее к поступкам, порой казавшимся абсурдными. Современница, знавшая Марию Степановну с юных лет, рассказывает:

"Мой крестный, который знал Марусю в Питере и через которого мы (в 1909 г. — М. П.) познакомились с Марусей, как-то раз шутя сказал ей: "Вот ты говоришь, что сильно меня любишь, а ведь руку за меня на стекло не положишь?" И в ту же секунду Маруся голой рукой схватила стекло настольной керосиновой лампы. И конечно, сильно обожглась. А ведь ей тогда уже за 20 было..."¹⁴.

Сплав упрямства и доброты, капризов и страстной на всю жизнь верности своим ближним давал в ее исполнении результаты неожиданные. Мария Степановна рассказывала: "Я из простонародья. Отец — слесарь, поляк, мать из раскольников. Брат казнен при царе за революционную деятельность".

Когда умер отец, мать оказалась без средств. Слабая здоровьем, она изнемогала на поденной работе, силясь прокормить себя и двух маленьких детей. Марусе было в то время 12 лет. И вот, чтобы облегчить жизнь матери, она решается на самоубийство: пьет сулему. История о ребенке, пожертвовавшем собой ради матери, попала в газеты. Несколько петербургских и московских интеллигентов приняли участие в судьбе Марии Заболоцкой. Среди них журналистка Е. А. Колтоновская, издательница О. Н. Попова и Елизавета Платоновна Ярошенко, сестра известного художника. Девочку

взяли в обеспеченный дом, поместили в частную — стоюнинскую — гимназию. На лето семья Ярошенки забирали ее в свое Калужское имение. Там случилось ей видеть А. П. Чехова, М. Горького, отца Марины Цветаевой — ученого-искусствоведа И. В. Цветаева. После гимназии Маруся посещала Бестужевские курсы, слушала в психоневрологическом институте лекции И. И. Павлова, окончила родовспомогательное отделение Повивального института.

Гражданская война загнала ее в качестве медсестры в Крым. Не знаю уж кто (не она ли сама?) сочинил стишок, который часто потом слышали посетители Дома Поэта в Коктебеле:

Маруся все шла, шла, шла,
До Черного моря дошла
Там Масечку нашла.

Встреча эта обросла в дальнейшем всевозможными романтическими деталями. Наталья Рубинштейн сообщает:

"В Коктебеле рассказывают две легенды о том, как Маруся появилась в Доме. По одной Макс подобрал на дороге умирающую от голода фельдшерицу, принес ее домой и вылечил. А по другой она выходила его от смертельной болезни и осталась с ним навсегда".

Хотя оба варианта далеки от действительности, я совершенно согласен с Н. Рубинштейн, которая завершает рассказ о встрече Макса и Маруси словами:

"Ясно, что обе версии истинны, ибо свидетельствуют одно и то же: встречу на грани между жизнью и смертью"¹⁵.

Смерть действительно ходила в ту пору вокруг этой пары кругами. Первый раз Волошин встретил

Марусю в 1919 году в гостях. Он живо заинтересовался ею, но вскоре она заболела тифом и едва избежала гибели. Вторая встреча произошла три года спустя на улицах Феодосии. Она заведовала тогда амбулаторией в деревне Дальние Камыши, а он добывал средства к существованию преподавательской работой и, тяжело больной, подлечивался в санатории. Но главная беда Волошина была тогда в том, что в Коктебеле серьезно болела его горячо любимая мать, Елена Оттобальдовна, "Пра", как шутя называл ее сын. Она лежала одна в огромном доме, и буквально некому было подать ей стакан воды. Узнав об этом, Маруся стала навещать Елену Оттобальдовну. Она ходила в Коктебель по воскресеньям за много километров, неся для больной в узелке свой съэкономленный паек. Убирала дом, таскала воду, варила. А затем и вовсе бросила службу в амбулатории и переехала в Коктебель ухаживать за больной. В январе 1923-го Елена Оттобальдовна скончалась, и Маруся стала хозяйкой Дома и женой Максимилиана Александровича.

Во многих воспоминаниях говорится, что, находясь на смертном одре, Пра взяла с Макса обещание, что он не расстанется с Марусей. "Лучшей жены ты себе никогда не найдешь", — сказала она. Год спустя Волошин писал в Париж:

"Доходили ли до вас вести о том, что я женился? Вероятно, нет. Маруся унаследовала все традиции Пра — иногда это кажется почти чудом — и очень много дает гостеприимства и уюта снова ожившему коктебельскому дому"¹⁶.

Максимилиан Александрович уже был однажды женат, но брак его с Маргаритой Сабашниковой распался еще в 1907 году. Макс, однако, много лет поддерживал с бывшей женой дружеские отношения. Сохранилась их большая переписка. Еще при

жизни Пра (1922) в одном из писем Маргарите он подробно описал чувства к своей новой подруге:

"Огромной радостью для меня и благодеянием для мамы явился этот год присутствия М. С. Заболоцкой. Все лето по воскресеньям, когда была свободной, навещала она маму и заботилась о ней, а во время ее последней болезни бросила службу и осталась при ней неотлучно, как врач. Она стала самым близким мне человеком и другом и теперь остается со мной в Коктебеле. Мы с ней познакомились и подружились в эти страшные дни террора и голода. В ней есть самозабвенный героизм. Хронологически ей 34 года, духовно 14. Лицом похожа на деревенского мальчишку того же возраста (но иногда и на пожилую акушерку или салопницу). Не пишет стихов и не имеет никаких талантов. Добра и вспыльчива. Очень хорошая хозяйка, если не считать того, что может все запасы и припасы подарить первому встречному. Смогла бы на улице ввязаться в драку с мальчишками или выступать против разъяренных казаков единолично. Ей перерубали кости, судили в народных трибуналах, она тонула, умирала ото всех плодов. Она медичка, но не кончила, так как ушла сперва на германскую, потом на гражданскую. По-своему религиозна. Воспитывалась она в семье Савиновых. Тебя очень боится, как моей *законной* жены. Ее любовь для меня — величайшее счастье и радость" 17.

Зная правдивость Волошина, можно не сомневаться: все, что он написал — чистая истина. Обращает на себя внимание лишь фраза, в которой он говорит об отсутствии у Марии Степановны стихов и талантов. Образовательный уровень супругов был очень различен. Это замечали многие. Макс знал несколько европейских языков, был просвещен в искусстве, литературе, истории, философии, водил дружбу со многими выдающимися людьми XX века, объехал полмира. От Марии Степановны все это было далеко. Но похоже, что разница в знаниях несколько не беспокоила супругов. Внутренняя связь их имела, по всей вероятности, более глубокие корни. Скульптор Ариадна Александров-

на Арендт, знавшая семью Волошиных с 20-х годов, свидетельствует, что Макс часто повторял: "Маруся — мой поводырь". В другом месте своих воспоминаний Арендт пишет:

"Друзья Макса часто упрекали его за то, что он не рассказывает Марусе о духовных течениях того времени, не посвящает ее в этот огромный участок своей души. Макс отвечал в таких случаях: "Маруся и так умная. Это ей совсем не нужно. Она и так доходит до всего своим умом". Маруся, — продолжает Арендт, — очень гордилась этой оценкой Макса"¹⁸.

Брак их, по всей видимости, был счастливым. Макс не только не скрывал своих чувств к жене, но охотно подчеркивал их. В январе 1923 года он посвятил Марии Степановне стихотворение "Русь гулящая", пронизанное глубокой скорбью о русском национальном характере и состраданием к России. Пять лет спустя жене адресовано было стихотворение, которое тридцать-сорок лет спустя знали наизусть все коктебельцы:

Весь жемчужный окоем
Облаков, воды и света
Ясновиденьем поэта
Я прочел в лице твоём.

Все земное — отраженье,
Отсвет веры, блеск мечты...
Лица милого черты —
Всех миров преображенье.

Датировано стихотворение 16 июля 1928 года. Еще через год, с посвящением "Марусе", Волошин написал не лишённое юмора "Заклинание", опять-таки чрезвычайно любимое и распространенное среди посетителей Дома. С почтительным удивлением больной поэт, которому оставалось жить лишь три года, писал своей подруге:

Все органы твои работают исправно :
Ход вечности отсчитывает сердце,
Нетленно тлеют легкие, желудок
Причастье плоти превращает в дух
И лишние отбрасывает шлаки.
Яичник, печень, железы и почки —
Сосредоточия и алтари
Высоких иерархий — в музыкальном
Согласии. Нет никаких тревожных
Звонков и болей: руки не болят,
Здоровы уши, рот увлажнен, нервы
Выносливы, отчетливы, чутки...¹⁹.

Несколько ироничное разглядывание плоти завершается, однако, вполне серьезным и даже волнующим заклинанием, которое и дало стихотворению его заголовок:

Будь благодарной, мудрой и смиренной,
Люби в себе и взлеты, и паденья.
Люби приливы и отливы счастья,
Людей и жизнь во всем многообразии,
Раскрой глаза и жадно пей от вод
Стихийной жизни — радостной и вечной!

Конечно, Волошин видел разницу между собой и своей подругой, разницу образования, духовных устремлений, природной одаренности. Но он ценил в Марии Степановне то, что было ей дано: душевное здоровье, стихийную жизнестойкость — те самые черты, которые помогли ей затем почти полвека сохранять его наследие. И чувствовал благодарность к ней. В 1927 году, подготовив для печати томик избранных стихов (который так и не был напечатан), Волошин на первой странице написал: "Дорогой Марусе с глубокой и нежной любовью. Все, что ты принесла мне в жизни — все радость". А на акварели, подаренной жене, поэт оставил адресованное ей четверостишие:

Землетрясение, голод и расстрелы
И радость и печаль мы вынесли с тобой,
И я всегда был горд моей подругой смелой,
Как ты в душе подчас гордилась мной²⁰.

А она? Многие друзья Волошиных рассказывают о материнском характере любви Марии Степановны к мужу. Об этом, в частности, пишет Р. Березов, бывавший в Коктебеле в 20-х и начале 30-х годов:

"Мария Степановна — великая труженица. У нее много забот. Главная — муж. Пусть это философ, поэт, художник, но кроме всего прочего — это большой ребенок, это птица небесная, которая "не сеет, не жнет и не собирает в житницы" ..."²¹.

Считается как будто, что материнское по своему характеру чувство жены к мужу уступает по силе чувству, подсказанному страстью. Не знаю. Может быть. Но вот перед нами свидетельство Владимира Купченко. Молодой человек, увлеченный волошинской судьбой и поэзией, прожил несколько лет в Доме, досконально изучил волошинский архив и все то, что имело отношение к семье Макса и Маруси. Купченко пишет:

"Она только после его смерти поняла, к а к она его любила. Все померкло, жизнь казалась ненужной. Была лишь могила на холме — она там дневала и ночевала. Но любовь к Максусу вместе с тем и спасла ее тогда, удержала на земле. Ведь надо было сохранять его рукописи, акварели, архив. Надо было хранить Дом. Сколько она в эти годы написала в разные инстанции писем, заявлений, просьб. В какие только кабинеты не входила. И Дом сохранился, в него непрерывно шли люди. И она рассказывала им про Макса, читала его стихи — она всей душой верила, что он нужен России, что он еще б у д е т ... Она начала писать воспоминания о нем: "Макс в вещах" — методическое и любовное перечисление всего, к чему он прикасался, среди чего жил..."²².

Все так и было. Только в одном месте своего свидетельства Владимир Купченко допустил анахронизм. Внимание сотен отдыхающих и экскурсантов, читателей и писателей к Дому возникло не в 30-х и не в 40-х, а лишь в конце 50-х годов, после смерти Сталина. А до той поры немало утекло воды. И крови. Ведь через Крым прошла еще одна война.

III

На восьмой день войны Мария Степановна записала в дневнике:

"Опять настали страшные времена. Никого около меня. Чувство одиночества, сиротства и предельной скорби за все, обо всем. Опять война... Некуда податься... Ночи не спишь. Полное затемнение. С десяти часов нельзя выходить за калитку. Горит мигалка — еле-еле освещая. Окна закрыты ставнями и пледами. С одиннадцати часов сидишь в жаре и духоте... Я так люблю тишину, а сейчас сжимается сердце от этой тишины, потому что она так неестественна в такую пору года, и ловишь, ловишь взглядом каждого человека, и хочется, чтобы подольше здесь оставались люди..."²³.

Предчувствие будущих ужасов томило ее. Ужасов и потерь. Ведь это была третья война в ее жизни. Немцы вошли в Коктебель в ночь на четвертое ноября. В два часа ночи раздался негромкий, но настойчивый стук в двери нижнего этажа. "Первый немец, вошедший в наш дом, был смертельно утомлен, шатался от усталости, был весь в грязи. Вид его был скорее жалок, чем страшен", — записала впоследствии Мария Степановна.

Кроме нее, в доме остались еще две пожилые женщины. Самым близким человеком была старинная знакомая Макса Анна Александровна Караго, племянница Тютчева. Эту тихую, незаметную сель-

скую учительницу Макс прозвал Анчуткой — Анной Чуткой. Она знала языки, вела с Волошиным философские беседы и нежно дружила с Марусей. Их сравнивали с Марфой и Марией Нового завета. Анчутка вышла для переговоров с немцем. Впрочем, этот первый вел себя деликатно: обыскивая дом в поисках солдат противника, скромно отвернувшись, когда проходил мимо постелей двух пожилых русских женщин.

Так началась оккупация. Мария Степановна скупо описывает жизнь под немцами:

"Мы были абсолютно бесправны. Ни о чем ничего не знаем. Даже в Феодосию, даже в Оттузы пройти нельзя, купить тоже. Живут все впроголодь какими-то запасами... Посеяли кукурузу и будем печь ее. Мы с Анчуткой тоже сажали, но немного около дома и собрали, фунтов 10. На это не проживешь. Сейчас поспевает виноград, но крестьянам запретили его рвать и есть..."²⁴.

А. Арендт вспоминает:

"В эту-то голодную пору и приехал к Марусе какой-то важный генерал, который заведывал питанием армии, приехал с адъютантом, говорящим по-русски. Генерал желал купить акварели Макса. Маруся сказала, что не продает акварелей, так как это все, что осталось у нее от мужа. Генерал предлагал ей много продуктов, чуть ли не целый вагон, но Маруся настояла на своем, и он уехал ни с чем..."²⁵.

Другие немцы вели себя не столь деликатно. Впрочем, Мария Степановна всегда оставалась верна себе. Один солдат из тех, что занимали нижний этаж дома, хотел забрать стол из Мастерской. Владимир Купченко рассказывает:

"Стол был самый простой, некрашенный. Но его сделал Макс! Она легла на стол, обхватив столешницу своими маленькими руками: "Убивайте — не отдам!" Немец сплкнул: "Сумасшедшая баба!" И ушел..."²⁶.

Но как это ни покажется странным, наиболее трагические страницы дневника посвящены не оккупации, а месяцам, предшествующим приходу вражеской армии. Как и миллион других людей в стране, Мария Степановна жаждала знать, что происходит на фронте. Она день и ночь не выключала громкоговоритель (радиоприемники в самом начале войны приказано было сдать), но сводки Совинформбюро решительно ничего не объясняли. Вместо четкой картины передвижения войск дикторы часами рассказывали о героических подвигах отдельных солдат и мелких подразделений.

"Непонятно, зачем такая болтовня и ложь, замалчивание самого главного... Хочется закрыть уши и ничего этого не слышать, не знать, потому что все это неверно, все м о п ь ё", — записывала она на 9-й день войны, используя семейное волошинское слово "мопё", означавшее последнюю степень ничтожности, мусор²⁷.

Снова и снова в дневнике возникает интонация боли и обиды за все происходящее, за фальшь, которой в самые трагические дни власти кормят народ, страну.

"Ложь, ложь, ложь. Сердце надрывалось от боли. Хотелось знать, что же происходит там, на войне. Было ясно, что командный состав невежествен, что все хвастовство. Достаточно было увидеть двух-трех командиров, чтобы понять, кому доверяют армию. Слушала радио. Тошнило от интонации "вещателя". "От советского информбюро..." И вся трагедия миллионов жизней разоренной страны сводилась затем к восьми строкам: "В течение ночи велись ожесточенные бои на всех фронтах. Наша авиация продолжала наносить удары..." Каждый день одни и те же трафареты"²⁸.

"Каждый день с 5-ти вечера вся деревня (Коктебель. — М. П.) и женщины в том числе, маршировали около пяти часов до 11—12 ночи. Зрелище было жалкое и, чувствовалось, ненужное. Радио лгало: слушали, боялись, не верили...

А баб и девушек гнали на окопы... Анчутку призывали... Приходил милиционер, издевался. Многие заболели, их прямо из окопов отправляли в больницы. Были случаи, когда и умирали. Ненужность окопов всем была ясна, но людей гнали и гнали, запугивали, принуждали... Проходили по дороге целые эшелоны мобилизованной молодежи, дети прямо — нищие, раздетые, напуганные, жалкие. Их гонят в лес — это (будущие) партизаны”²⁹.

”Психологически отвратительное состояние было, когда стали эвакуировать коммунистов. В этом был какой-то вызов. На нас, оставшихся, смотрели с нескрываемым презрением: ”А, ждете немцев...” Кое-кто из населения смог купить топливо, распродавали сами же коммунисты и тут же упрекали: ”Зимовать собираетесь с немцами?”³⁰.

Все мысли ее были с Максом.

”Боялась за дом, боялась, что каждый момент могут принудительно выселить, вообще сделать все, что придет им в голову. Ужасом и незащищенностью была охвачена душа. Часто ходила к Маше на холм. Кругом бомбили и взрывали, гудели вблизи и вдалеке немецкие бомбардировщики. Плакала и молилась. Просила Машеньку защитить дом, пронести весь этот ужас мимо его любимой земли. Придешь к нему, поплачешься, кругом палат, взрываются бомбы, а ты как побитая собака с трясущимся сердцем сидишь и не можешь сдвинуться с места. Только у него и черпала силы”³¹.

”Очевидно было, что все написанное Максом пропадет от пожара, поджога, от бомбы. Рыла ямы, копала с Анчуткой убежище для рукописей и для себя. Физически было трудно. Явна была очевидная ненужность этого копания и все-таки копала, так как нужно было хоть что-то делать, чтобы как-то держаться”³².

В минуту отчаяния на ум ей приходили строки, написанные Максом в начале Первой мировой войны.

Кто передаст потомкам нашу повесть?
Ни записи, ни мысли, ни слова
К ним не дойдут.
Все знаки выжжет кровь и слижет пламя.

Пламя войны между тем приближалось к Дому поэта. 31 октября в пять вечера садовник Дома творчества писателей сообщил Марии Степановне, что ему приказано поджечь дома, стоящие на берегу. Она помчалась в дирекцию. Но напрасно махала она бумагой, присланной из Симферополя, в которой оргкомитет Союза художников просил власти охранять Дом Волошина. Над ней только посмеялись. Не до художников было улепетывающему начальству. Уже приказано было положить сено в помещении старого флигеля, примыкающего к Дому поэта, и облить его керосином. Не больше двух метров отделял балкон этого флигеля от деревянного настила ("палубы") на уровне второго этажа Мастерской Волошина. Мария Степановна с Анчуткой помчались ломать балкон флигеля, а затем поливать водой доски "палубы".

Ночью один за другим запылали корпуса военного санатория и дома отдыха Московского энергетического института. Пожар пылал до утра. И всю ночь не спала, охраняя свое жилище, хозяйка Дома поэта. У нее нашелся союзник: сторож из дома творчества писателей Поликорчук отказался поджечь усадьбу Волошина, несмотря на строгий приказ начальства.

Потом началась оккупация. За эти два с половиной года чего только не пережили. Мерзли и голодали, одна из живших в Доме женщин умерла. Немцы заподозрили Анчутку в связях с партизанами и разлучили ее с Марией Степановной, поселив под своим надзором в деревне. В 1943-м у Марии Степановны обнаружился рак желудка. Но очевидно самым роковым моментом был для нее тот, когда по деревне прошел слух, что немцы решили вывезти библиотеку поэта — 9.000 книг и все мемориальные вещи. Решение было принято в тот момент, когда

немцев в Крыму сменяли румыны. Узнав о новой беде Маруся бросилась в деревню (тогда еще болгарскую). Там ее знали и любили: многие годы принимала она роды у местных крестьянок, а в военную пору оставалась единственным медиком в округе. Она попросила спасти имущество Макса, и люди не отказали ей. Эпизод этот описан в воспоминаниях А. Арендт и Вл. Купченко. Женщины и мальчишки из деревни всю ночь перетаскивали ценности волошинского Дома в глубокую яму, зачем-то вырытую немцами на его задворках. Надо полагать, сами немцы в суете военных перемещений не успели вывезти волошинский мемориал, а пришедшим на смену румынам не пришлось в голову искать рукописи и картины неведомого им мастера. Так все это богатство и пролежало в тайниках до прихода Советской армии.

Через год после вторжения германской армии Мария Степановна записала в дневнике нечто такое, что более всего походило на молитву, обращенную к покойному мужу. Она начала стихами, его стихами:

"Ни позвать, ни крикнуть, ни помочь..." И продолжала:

"Милый мой, только твой образ, только мысль о тебе и с тобою дает силы как-то брести, что-то делать. С тобой не расстанусь: "А как бы поступил Макс, а что бы он сделал? Макс бы объяснил, Макс бы сказал. Масенька бы пожалел, помог. Вот только это и твержу себе, изнемогая, только о тебе. И вот писать стала (дневник), чтобы хоть как-нибудь себя обмануть, за что-то зацепиться, что-то делать... Мой маленький ум, мои больные нервы, больная психика не вмещают, не могут справиться с ужасами творящегося и творимого.

Времена апокалиптические. Страны нет. Россия растоптана... Вот и сейчас пишу, а над ухом, вблизи и вдали, все выстрелы, выстрелы. Вся дрожу... И так второй год... Хочется все, все рассказать кому-то, кто не знал Макса, какой он был. Так тоскует душа, сердце о нем в эти ужасные дни, месяцы, годы"³³.

Ей не удается вести дневник постоянно. Следующая запись была сделана более чем через полгода — 6 июля 1943 года.

"Быть летописцем, когда сам сидишь на костре, невозможно. Знаю всю необходимость таких вот записей изо дня в день и не могу их вести, потому что безумно боюсь всего... Я два года день и ночь боюсь. Война обогатила этим новым и подлым чувством — страхом. Похудела на пуд, ни есть, ни спать не могу..."

Так оно и шло: мучительный, истощающий душу и тело страх и преодоление страха.

"Вышка Дома была удобным пунктом для дозора, — пишет В. Купченко, — но пускать немцев через Мастерскую Макса она не могла, не хотела. И настояла на своем: солдаты прорезали в верхнем балконе люк, приладили наружную лестницу и лазили по ней. Впоследствии (в июне 1944 года) она вспоминала: "Я ... вела ежедневную войну и борьбу с ними за каждую доску и тряпку — ни в чем не уступала, тоже с риском для жизни. Вижу теперь, как я была смешна и наивна, — но тогда в этом проходила вся моя жизнь" ³⁴.

Отношениям с немцами посвящено в дневнике Марии Степановны много мест. Казалось бы, все ясно: оккупанты, захватили страну, хотели разграбить Дом — враги. Вскоре после освобождения Коктебеля она записала:

"Основное чувство — непримиримость, оскорбленность и жгучая, порой нечеловеческая ненависть к немцам. Какая-то удивительная неприязнь к нации. Отдельные люди ничего, но понятие "немец" ... приводило в негодование, постоянную угнетенность, безвыходность, обиду, боль" ³⁵.

И через день в следующей записи снова:

"К немцам у меня такая неприязнь. Я их всегда так не любила. Особенно сейчас, когда они причинили нам столько зла. Как часто я проклинала их самыми жестокими словами! Остыв, мне бывало стыдно, что так жестоко проклинала их" ³⁶.

Но вот задним числом, в январе 1945-го она начинает описывать события минувшего 1944 года.

"Я лежала тяжело больная желудком. Знала, что у меня рак. Анчутка хлопотала. Привела немецкого врача. Хороший, видно, был человек. Молодой, красивый и, наверно, интеллигентный. Я с ним разговаривать не могла, потому что языка не знаю и потому еще, что было мне плохо и не хотелось никого и ничего видеть, а уж тем более немца. Анчутка ему рассказала мои подозрения и симптомы... Он стал ощупывать желудок. Я смотрела ему в лицо. Оно объективно было красивое и умное... И вдруг мне стало очень больно в области сфинктора желудка, а у него изменилось лицо. Мы посмотрели друг другу в глаза. Он взял мою руку и положил туда, где было больно. Я прощупала с голубиное яйцо неподвижную опухоль. Он мне ничего не сказал, молча вышел. За ним на балкон пошла Анчутка. Он сказал: "Сомнения нет, вернее всего рак, опухоль ясно прощупывается". — "Но что же делать?" — спросила она. — "Медленно умирать, — ответил он. — Что еще вы можете сделать в этих условиях?"

Но вскоре последовала еще одна встреча. В нижнем этаже Дома, где жили солдаты, поселился офицер, молодой лейтенант.

"Анчутка два раза к нему обращалась, когда солдаты буйствовали, а я вступала с ними в бой. Боясь, что они меня убьют, она пошла к нему за помощью. Он оказался хорошим человеком. Видя ее заплаканную, он участливо спросил, что со мной. "Фрау больна? У нее рак желудка?" Он выразил ей свое сочувствие... "Это может быть поправимо..." — "Но что мы можем сделать здесь, три старухи, при таких условиях?" — "Отправьте ее в Симферополь, у нас там есть приличные хирурги". — "Но как? Кто ее повезет?" — "Я вам помогу. Через день в Симферополь ходят военные автобусы, я попрошу коменданта дать вам пропуск..."

Первое мое — был страшный протест. Ни за что! Оперироваться у немцев? Искать у них помощи? Нет, нет и нет... Но милая Анчутка терпеливо выслушала мои стенания. Зажгла лампаду в столовой, посоветовала мне помолиться... "37.

Через несколько дней, без приглашения, в Дом зашел немецкий доктор и в тайне от Марии Степановны передал Анчутке коробочку с морфием на тот случай, если у больной начнутся боли. Сказал, что в комендатуре для двух женщин приготовлены пропуска. Все это происходило, напомним, в январе 1944 года, когда немецкая армия уже отступала.

Поездка в Симферополь была для Марии Степановны очень тяжела. Ее мучили боль, тошнота, слабость. Она еле держалась на ногах. И тем не менее они двинулись. Сначала двадцать километров до Феодосии вез их на лошади деревенский человек. Там в комендатуре произошла неожиданная встреча. Мария Степановна сидела в комендатуре у печки, ждала, пока Анчутка добьется транспорта. Подошел немецкий солдат, посмотрел на больную и протянул большой кусок черного хлеба. Затем лейтенант, которому Анчутка объяснила ситуацию, послал своего фельдфебеля сопровождать двух русских женщин. Фельдфебель ворчал, ругался, поносил "русских свиней", но тем не менее остановил попутную машину и посадил их на грузовик, идущий в Старый Крым. В комендатуре Старого Крыма снова нашлись отзывчивые люди. Марию Степановну посадили на грузовик, идущий в Симферополь. Прошли еще целые сутки мучительных переживаний, прежде чем Мария Степановна попала в руки врача, но кончилась эта история самым счастливым образом. Для операции немцы дали какой-то особенно хороший наркоз, а профессор-хирург, опять-таки немец, убрал опухоль так точно, что пациентка прожила после операции 32 года.

Нет, нигде в дневнике нет ни слова о том, что Мария Степановна изменила свое отношение к немцам. Но как человек объективный и честный,

описала она все как было. И теперь, когда читаешь ее дневник, становится ясным, откуда взялись в нем эти противоречивые оценки: "Как часто я проклинала их самыми жестокими словами. Остыв, мне бывало стыдно..." И еще: "Удивительная неприязнь к нации (в целом). Отдельные люди — ничего..."

В Коктебель советские войска вошли в начале 1944-го. Это радостное событие Мария Степановна отметила в дневнике стихами Макса:

Кто верит в жизнь,
Тот верит в чудо
И счастье сам себе несет...

Впрочем, до счастья было еще далековато. Ей шел 57-й год. Ответа на то, что будет после нее с Домом, архивом, библиотекой и книгами Макса, не было. Невеселые думы тех лет она могла поведавать только дневнику.

"Друзья есть и в конечном итоге сохраняют /Дом/. Они трусливы, измучены, им некогда, они излишне осторожны. Но все-таки все сохраняется и когда-нибудь дойдет очередь и до Маси. А сейчас только немногим, только избранным он доступен. А остальные... кому есть дело до умершего и непопулярного поэта?"³⁸.

Ей предстояло прождать более десяти лет до той поры, когда, похоронив Сталина, чуточку распрямылась затравленная российская интеллигенция и раздались первые неуверенные голоса в защиту памяти русского поэта. Произошло это лишь во второй половине 50-х. Но до этого надо было еще дожить...

IV

Когда в сентябре 1946 года московская поэтесса Елена Благинина приехала отдыхать в сожженный и

расхищенный Коктебель, поселок был почти пуст. "В тот сезон на коктебельском пляже купалось, загорало и "каменело" не больше 16 человек", — писала впоследствии Елена Александровна³⁹. Ровно тридцать лет спустя "Литературная газета" сообщила:

"Литературная слава Коктебеля притягивает сюда огромное, все возрастающее число людей. Не будет преувеличением сказать, что за последние годы число приезжающих на лето в Коктебель увеличилось в десятки, если не в сотни раз..."

Авторы статьи недовольны размерами этого людского потока, но они не могут скрыть главного:

"В Коктебель устремляется специфический контингент отдыхающих, едет публика начитанная, *знающая о культурных заветах этого места*"⁴⁰.

Именно таких людей и ждала все эти годы Мария Степановна Волошина. Тех, кто знает о заветах этого места, приезжает в надежде прочитать Макса, услышать правду о его жизни и о его знаменитых современниках. Так к началу 60-х годов осуществилась надежда на то, что Макс — "будет".

Я — один из тех дикарей, кто, наслышавшись о Доме и о красоте тех мест, на свой страх и риск, "по-дикому" отправился в маленькую деревушку у подножья Карадага. И прикипел к ней потом на два десятка лет. В один из коктебельских сентябрей предложили мне заполнить заведенную в Доме поэта тетрадку, именуемую "Коктебелианой". Мария Степановна просила ответить на вопросы: "Сколько раз и когда приезжали в Коктебель? Повлияло ли это на ваше творчество? Как оцениваете М. А. Волошина? Отражены ли Ваши поездки в ваших книгах?" Есть и моя запись в этой тетради.

У всякого, кому посчастливилось впервые пройти по Дому вместе с Марией Степановной или про-

фессором Виктором Андронниковичем Мануйловым, каждое лето приезжающим из Ленинграда в Коктебель, чтобы работать с рукописями Волошина, Дом оставлял впечатление храма. Когда на обращенных к юго-востоку окна отодвигались ставни, в Мастерскую вливалась синева — морская и небесная. В любую жару каменные стены хранили прохладу. Тут даже запахи были иные, нежели в любом коктейльском доме: пахло пылью, старыми книгами. Книжные полки возносились в высоту. Поблекшие от времени африканские и азиатские ковры, привезенные Волошиным из его дальних путешествий, уводили зрителя из мира каждодневной суеты. Ощущение храма усиливала большая белая голова богини Таиах, вделанная в стену. Скульптурное изображение лица матери египетского фараона Эхнатона Максимилиан Александрович также привез после одного из своих предреволюционных странствий. Таиах посвящены многие его стихотворения.

Здесь все — живая история. У стены — высокая конторка, сделанная руками самого хозяина. За ней Алексей Толстой начал писать свой лучший роман "Сестры". Напротив уставленный вазами с сухими цветами старинный секретер. Он принадлежал русскому писателю Лажечникову, предку Волошина. Деревянная лестница ведет на антресоли. Там — святая святых Дома — тесный рабочий кабинет Макса. У окна, глядящего на залив, письменный стол, окруженный книгами. Стен не видно из-за множества гравюр, рисунков, фотографий. Тут же краски и кисти хозяина. Мария Степановна помогает гостю разобраться во множестве окружающих его малопонятных предметов. Вот она сняла с полки древесный корень причудливой формы. Проглядывает в нем что-то от человеческой фигуры, стремительно куда-то несущейся. Волошин

любил собирать коряги. Он называл их "габриаками". Один "габриак" понравился живущему в Старом Крыму соседу Волошиных Александру Грину. Корень подсказал Грину идею романа "Бегущая по волнам". А стоящая рядом огромная морская раковина, привезенная Максимилианом Александровичем с берегов Индийского океана, послужила натурой Врубелю, когда он писал свою картину "Жемчужина". Тут же тяжелые посмертные гипсовые маски Льва Толстого, Гоголя, Достоевского, Пушкина, Петра Первого. А рядом предмет из другого тысячелетия: кусок дуба, окованный медью, найденный Волошиным на берегу, оказался обломком борта античного корабля...

Храм и музей... Дом поэта, каким я его помню, был и тем и другим. Храмом по настроению, с которым люди вступали в него, и музеем по сути. Но странный то был музей; здесь можно было трогать бесценные экспонаты, листать редчайшие книги, читать никогда не публиковавшиеся рукописи. Власти не публиковали их по той же причине, по которой и до сего дня не издаются полностью стихи Цветаевой, Гумилева, Ахматовой, Мандельштама. Слишком много мифов рассеялось бы, буде поэзия этих гениев стала полностью доступной гражданам Советского Союза. А мифы исторические и политические, как известно, — собственность государства. Их беречь надо. Между тем из Дома поэта годами шла утечка секретной информации. В моих дневниках за конец 60-х — начало 70-х годов записано много эпизодов такого рода.

Вечерами в Мастерской читают свои произведения мало кому ведомые неофициальные поэты и писатели. Под сводами звучат подчас отнюдь неофициозные строфы и строки. А то и бардов московских или ленинградских приведет кто-нибудь из

друзей Марии Степановны. И они поют нечто весьма непривычное для слуха вдовы поэта, воспитанной на поэзии Серебряного века. Она сидит, маленькая, в своем излюбленном шезлонге, одну ножку подогнула, другой покачивает в такт гитарным переборам. К поэтам, особенно безвестным, доброжелательна и терпима. Послушает, похвалит и сама начинает читать стихи Макса. С чувством. Хорошо.

Впрочем, даже в благословенные 60-е поведение посетителей не всегда совпадало с духовными, поэтическими и нравственными ритмами Дома. Летом, в пору наиболее многолюдную, гостей водил профессор Мануйлов. Человек осторожный, знавший, почем фунт советского лиха, он в разговорах с гостями старался избегать острых углов, но тем не менее довольно часто на эти углы налетал. Однажды в Дом пришла группа украинских писателей. "Радяньски письменники", как они сами себя именуют, — публика в Коктебеле приметная. Ходят они обычно большими группами, держатся как хозяева: "Крым-то Хрущев Украине передал..." Говорят только по-украински, даже одеждой подчеркивают свою отделенность — носят все как один белые сорочки с цветной вышивкой. В Доме творчества "письменники" тихо ненавидят столичных коллег — "москалей" и "жидив", что, однако, не мешает им среди советских писателей быть самыми советскими. Этой-то публике профессор Мануйлов и стал рассказывать, как Кириенко-Волошин вел себя в белом Крыму в 1920 году. А вел себя Макс как обычно. В частности, узнав, что врангелевская полиция арестовала Осипа Мандельштама, Максимилиан Александрович написал личное письмо генералу Апостолову, ведавшему политическим сыском. Документ этот, хранящийся в волошинском архиве, Мануйлов прочитал пись-

менникам полностью. Среди прочего Макс писал, что Мандельштама следует выпустить хотя бы потому, что "он занимает почетное место в истории русской лирики". Письмо возымело действие: белые Мандельштама выпустили. Возможно, они приняли в расчет не столько поэтические заслуги, а то, что, по словам Волошина, "арестованный — человек легкомысленный, ни к какой работе не способный и никакими политическими убеждениями не страдает".

Выслушав текст документа, письменники почему-то разволновались шумно и на родном языке. Профессор не понял, в чем дело, но до него долетели довольно грубые выражения. Что бы это могло значить? Видя его растерянное лицо, один из письменников перешел на русский: "Что-то мы не можем понять, товарищ профессор, зачем, собственно, было Кириенко-Волошину хлопотать об этом еврее?" Русский интеллигент Мануйлов был потрясен: антисемитизм в Доме Волошина? Он извинился и торопливо вышел из Мастерской. Минуту спустя в комнату ворвалась Мария Степановна. Она не стала выяснять подробности, а просто приказала гостям убраться вон. Позднее, пересказывая нам этот эпизод, она утверждала, что, войдя в Мастерскую, не сказала ни слова, а просто указала гостям пальцем на дверь. Писменники повиновались безропотно, сообразив, очевидно, что с такой особой лучше не связываться.

Вспоминая о событиях конца 60-х — начала 70-х годов, Ариадна Арендт писала:

"Людские потоки все увеличивались. Больше становилось не только тех, кто отдыхал в писательском Доме творчества, но и посторонних, желающих побывать в Доме Поэта, соприкоснуться с чем-то непонятным, но таким притягательным и чарующим... У Маруси не хватало сил на всех,

жаждущих ее внимания. Даже самые близкие подчас утомляли ее. Иногда она говорила: "Как вы мне все надоели!" И тут же добавляла: "Но я вас всех очень люблю"⁴¹.

Нет, характер ее не изменился с годами. Не ослаб темперамент, не возникло старческого равнодушия к роду человеческому. Она никогда не была тепло-хладной к людям, и они отвечали ей тем же.

"Ее или принимали всю — какая она есть — и любили всей силой души, или не принимали совсем и тогда просто отпадали, исчезали с ее горизонта, переставали быть. Иногда она втайне горевала или даже начинала страдать от невнимания людей, еще недавно близких, но не позволяла себе жаловаться на отчуждение или пытаться склеивать разбитое. Она была счастлива, что вокруг нее не было пустоты. К ней льнули дети, молодежь, старики. А так как она обладала редкой способностью с о б е с е д о в а н и я, то никогда ее личные переживания и интересы не затемняли интересов того, с кем она беседовала"⁴².

Из-за особенностей огнепального ее духа окружающие не всегда замечали, как постепенно таяли физические силы хозяйки Дома. Людям, видевшим ее лишь раз в году, во время летнего отпуска, казалось, что Марии Степановне износу не будет. Между тем зимы, когда Дом пустел и забот заметно прибавлялось, все более разрушали ее здоровье. К марту-апрелю приходила она совсем измученной.

"Я из рук вон плохо себя чувствую, — сообщала она близкому человеку в одну из таких весен. — Но врачи не находят у меня никаких серьезных изменений. Не все себе представляют мое состояние. Даже в прошлом, когда были настоящие утраты, я не чувствовала себя так дурно. Депрессия меня душит. Слепота. Писать не могу физически"⁴³.

В письмах последнего десятилетия, которые под диктовку Марии Степановны чаще всего писал Володя Купченко, постоянно присутствуют "каче-

ли” — уныние на той же странице сменяется нотами бодрости, жалобы на нездоровье — взрывами энтузиазма. Даже говоря о близкой смерти, хозяйка Дома Поэта находит для себя утешительные аргументы. Типичны для тех лет письма, отправленные старым друзьям: супругам Поливановым и писателю-фантасту Ивану Ефремову:

”Слепота меня угнетает. Бесу уныния, однако, я не дам в себе поместиться, выгоняю его всечасно. Но скрывать не буду, моментами он меня одолевает... Зима для меня была тяжелая... Согревал, однако, Дом и все, что около меня. Знаю, что быстрыми шагами иду к концу... Но у меня бывают такие моменты подъема духа, что кажется, хватило бы на четыре жизни. И все это Макс, который дает мне радость в самые тяжелые минуты. И всегда он тут. ”И подойдя к концу пути, вздохнуть и радостно уйти”. Ведь к нему же иду”⁴⁴.

”Свою физическую неполноценность ощущаю на каждом шагу, но веры и надежды не теряю, хотя и иронизирую над собой. Пока жива, надо идти, хотя бы к смерти. Но для меня и смерть не страшна, ибо я там встречу своих близких, с которыми постоянно общаюсь здесь и от которых получаю духовную поддержку. Я столько вижу к себе внимания, что хотя физически иногда изнемогаю, духовно обогащаюсь и благодарю Господа, судьбу за все, за все”⁴⁵.

Постоянно нагнетаемый неистребимый оптимизм позволил ей прожить еще десять лет после написания этих писем. Была, впрочем, еще одна причина, не дававшая Марии Степановне права умереть в ту пору: она продолжала борьбу за Дом.

V

Кого только ей не приходилось принимать! На нашей только памяти перебивали в Доме самые видные российские артисты, дипломаты, академики (я встречал там химика-органика Кнунянца,

энергетика Доллежала, зоолога Гилярова, знатока русской литературы Алексеева и многих других). А о пишущей братии и говорить не приходится: каждое лето толклись на балконе Дома Евтушенко с Вознесенским, руководитель Московского отделения союза Наровчатов, которого Мария Степановна запросто звала Сережей, и несметное число других, именитых и не очень. Ходила в Дом тролица художников-карикатуристов Кукрыниксы, заезжала на стакан чая балерина Уланова, заезжал епископ Крымский и Симферопольский Лука Войно-Ясенецкий и даже Солженицын как-то завернул, хотя и проездом. А родственники знаменитостей, с которыми дружил когда-то Максимилиан Александрович (сестра Марины Цветаевой, сын Алексея Толстого и десятки других) каждое лето поселялись в Доме и составляли в нем нечто вроде местной аристократии.

В Москве, Ленинграде, Киеве в 60-е—70-е годы стало хорошим тоном как бы случайно бросить в компании фразу, что вот, дескать, был недавно в Коктебеле, зашел к Марии Степановне на огонек, потолковали о том, о сем... Она действительно беседовала со многими, одних любя, над другими подтрунивая, третьих третируя. Но лишь немногим довелось разговаривать с ней о том, что было для нее самым главным, беспокоящим, самым мучительным и саднящим: как станет жить Дом после нее... "Это меня как буравом сверлит", — сказала она однажды нам с женой. Но чем мы могли ей помочь?

Наиболее естественным ей казался вариант, при котором после ее смерти Дом вместе со всем содержимым перейдет во владение Союза писателей СССР и Литфонда СССР — хозяйственной организации, обслуживающей писательскую публику. Пока

же просила она лиц, которым этим ведать надлежало, чтобы назначили ее до конца дней почетным хранителем Музея Волошина ("И не надо мне никаких денег, никакой зарплаты!"), а для поддержания порядка в Доме-музее наняли бы двух или трех человек, в том числе Володю Купченко, лучше всех знающего экспонаты, книги и рукописи Волошина. О том же хлопотали и некоторые старые коктебельцы из писателей. Переписка и телефонные звонки продолжались месяцами и годами, но дело с мертвой точки не двигалось. Союз писателей СССР и учреждение-миллионер Литфонд отводили все попытки сохранить гнездо Волошина: "Рукописи? А где мы их станем хранить? Картины? А при чем тут мы? Это совсем не по нашей части. Музей? У нас в бюджете нет такой графы".

Сначала Марии Степановне и ее друзьям казалось, что дело в чиновничьей тупости. Но постепенно картина прояснялась. Знающие люди по секрету рассказали: "наверху" давно уже дух Коктебеля считают вредоносным, "не нашим". Но поскольку после Сталина пошли времена либеральные, то принято решение мер административных против Дома не принимать, а просто дожидаться, когда старуха Волошина умрет и после того "говорильню" коктебельскую прикрыть. Но поскольку Мария Степановна продолжала здравствовать, а Дом жил своей независимой жизнью, притягивая все новых и новых интеллектуалов, власти время от времени очерчивались на этот клочок неуправляемой территории. В газетах несколько раз мелькали неодобрительные заметки о "дикарях", заполнивших окрестности Коктебельской бухты и нарушающих благостную тишину Дома творчества писателей. В конце 60-х годов пущена была уже тяжелая артиллерия: "Комсомольская правда" раз-

разилась большой статьей столь же официозного, сколь и неумного писателя Аркадия Первенцева.

Суть его полудоноса, полупоклепа сводилась к тому, что ездят в Коктебель какие-то сомнительные люди в шортах с небритыми физиономиями. Шорты и борода — символы, в которых советский гражданин тех лет легко разбирался. Ежели в шортах — значит "не наш". Бородатые приезжают с какими-то сомнительными подружками, одетыми опять же крайне откровенно. Бородатые в шортах все как есть драчуны, пьяницы и развратники. Они портят нашу советскую породу, а главное, горланя свои полупристойные песенки под гитару, мешают отдыху трудящихся. Между строк автор давал понять, что песенки эти содержат еще и антисоветский душок. Первенцев требовал, чтобы местная милиция проявила больше энергии в борьбе со злокозненными бородачами, а крымским областным властям рекомендовала попритьжать тех, кто приезжает в Коктебель только потому, что им так хочется. Отдыхающий должен иметь путевку от Литфонда или другой столь же солидной организации, чтобы отдыхать официально, а не как-нибудь. "Дикарям — бой!"

Дом поэта в статье упомянут не был, но истинные коктебельцы без труда поняли, что камень брошен именно в ту часть интеллектуальной молодежи, которую сюда притягивает не только море и горы, но и волошинская мастерская, где, сидя за историческим столом, можно списать десяток-другой стихов опального поэта, а то и послушать чтение других, опять же неподцензурных рукописей.

Мария Степановна статью Первенцева сравнила с хамским сочинением некоего Таля, который в 1923 году в журнале "На посту" прямым текстом именовал Волошина классовым врагом рабочих и

крестьян и подпевалой мировой буржуазии. Максимилиан Александрович тогда написал протест, который не был опубликован. В 60-х годах никто писать опровержений уже не собирался. Знали — бессмысленно. И тем не менее голос народа прозвучал: уже на следующий день после появления в Коктебеле "Комсомолки" на набережных и на пляжах люди распевали песенку-памфлет, которую сочинил один из московских сатириков. И хотя песенка "Вокруг залива Коктебеля" содержала выражения не совсем академические, Мария Степановна выслушала ее с явным удовольствием и даже пыталась своим слабым голоском воспроизвести бойкую мелодию. В течение десяти лет после этого, приезжая в Коктебель, мы слышали (да и сами распевали) эту песенку-пародию:

Вокруг залива Коктебля
Лежит советская земля:
Колхозы, бля, заводы, бля,
Природа.
Но портят эту красоту
Здесь поселившиеся ту-
неядцы, бля, моральные уроды.

Спят тунеядцы под кустом,
Не занимаются трудом,
И спортом, бля, и спортом, бля,
И спортом.
Не бриты бороды у них,
Одна девчонка на двоих,
И шорты, бля, и шорты, бля,
И шорты.

.....

Сегодня парни водку пьют,
А завтра планы продадут
Родного, бля, советского завода,
Сегодня ходят в бороде,
А завтра где? В энкаведе?

Свобода, бля? Свобода, бля?

Свобода? ...

..... и т. д.

Но песенки песенками, а судьба Дома осталась нерешенной. Среди тех, кто особенно горячо хотел помочь Марии Степановне, вспоминается Павел Юрьевич Гольдштейн. Бывший лагерник с политической статьей, впервые попал он в Коктебель только в 1970 году. Мысли его были заняты в это время предстоящим отъездом в Израиль, и Волошин заинтересовал его сперва лишь стихами на еврейские темы. Но познакомившись с хозяйкой Дома, литературовед и сотрудник Литературного музея в Москве, Гольдштейн взглянул на волошинское наследие несколько шире. Они подружились с Марией Степановной, и Гольдштейн предложил такой план: сделать Дом поэта филиалом Литературного музея. Тогда и для рукописей найдется место и для картин. И Мастерскую в качестве музея Волошина можно будет сохранить. Вернувшись в Москву, Павел Юрьевич заручился поддержкой директора своего музея, стал ходить по инстанциям, нашел даже союзника в лице "Сережи" секретаря Московской организации писателей Наровчатова. Через несколько месяцев, однако, стало известно, что план провалился. Генерал КГБ Ильин, надзирающий за московскими писателями, раскусил замыслы "либералов" и просигнализировал куда следует. Директор Литературного музея получил нагоняй за то, что оказался на крючке у "декадентствующей братии". В городском комитете партии ему кричали: "Неужели вам не ясно, что дом в Коктебеле давно уже стал приютом для инакомыслящих?"

В конце концов по приказу из Москвы Дом сделали филиалом картинной галереи в Феодосии. Это

решение не только отрезало Дом от столичных харчей, но и подчеркнуло, что никакого поэта Волошина нет и не было. А жил в Крыму Волошин-художник, мастер кисти, так сказать, областного масштаба. Из решения вытекало также, что надеяться на сохранение в будущем волошинского музея не приходится. Можно лишь догадываться, что пережила Мария Степановна, получавшая от московских друзей и помощников в основном растерянные и беспомощные письма и одновременно все более наглые бюрократические сочинения от крымских областных чиновников, которым не терпелось поскорее войти во владение Домом. Мария Степановна не желала сдаваться, хотя сил на борьбу не оставалось. Поддерживала гордость за Макса, за то, что ей удалось сделать, сохраняя его имя в памяти обеспамятвшего советского общества.

"...Я...как и все, очень маленький и слабый человек, — писала она, — но возложено на меня очень много и (этот груз) мне кажется иногда непосильным. Но когда приходят дальние, чужие, неподготовленные люди в Дом Поэта и что-то находят значительное в нем... значит, моя линия поведения, (мои) усилия, страдания — оправданны"46.

Как заклятие, она снова и снова повторяла в письмах имя мужа:

"Я очень устала от дум, забот и от равнодушия тех, от кого что-то зависит. Но в конечном счете верю, что Максимилиан Александрович из неведомого нам мира управляет поступками людей и направляет ко мне добрых, чутких... дающих мне и утешение и приятие. Не зла... а добра"47.

Получив очередное письмо из Москвы с сообщением о неудачных хлопотах, она не теряет присутствия духа. В ответах ее звучит фатализм.

”Хочу Вас успокоить: сообщенное Вами не огорчило меня, — я верю Вам и всем, кто принимает участие в разговоре о Доме... Если сейчас ничего не произошло, то значит — не надо. Пусть будет так, как будет. Значит, так надо... Макс отдал, я пронесла. — Берите!! Любите!! И (пере)давайте дальше то, что оставлено Максимилианом Александровичем... За все честно благодарю Господа Бога и радостно уйду, веря в то, что оставленное Максом наследие будет жить... А как — это уже дело тех, кому я это оставляю...”⁴⁸.

Возможно, что она в конце концов приняла фаталистический взгляд на то, что ”Все в руках Божьих...” Но друзьям ее, настроенным более заземленно, было тяжело видеть неизбежное приближение крушения волошинского гнезда. Вот запись из моего дневника осенью 1973 года:

”Все эти дни провожу с Марией Степановной. Читаю ей, кое в чем помогаю по дому, разговариваем. Она в этом году показалась мне особенно постаревшей. Почти слепа. В комнате как мыши шуршат бумагами Владимир Петрович Купченко и две дамы, прибывшие из Ленинграда забирать в Пушкинский дом волошинский архив. Особенно тягостное впечатление производит свинцовоглазая со злым выражением на маленьком личике Роза. Хотя когда-то Волошин в своем завещании писал, что ”если Мария Степановна переживет меня, она должна быть привлечена к разбору и определению судьбы архива”, на самом деле хозяйка Дома совершенно отстранена от разбора бумаг. Я поинтересовался, как выглядят расписки, которые Пушкинский дом оставляет Волошиной. Оказалось, что это не расписки, а филькины грамоты, где забираемые документы и письма не названы, а просто приведено их количество. Глядя на эти оскорбительно составленные писульки, без дат, за подписью мелких архивных чиновников, я предложил Марии Степановне составить соглашение с Пушкинским домом, по которому: а) фонд Волошина не будет раздроблен; б) фонд не закроют и не засекретят; в) фонд будет открыт для всех, кто пожелает заниматься поэзией и биографией Макса Волошина. Проект соглашения я прочитал Марии Степановне, ей понравилось. Но она решила посоветоваться с другими.

"Совет" состоялся. Присутствовали Мария Степановна, Роза, профессор Мануйлов и я. Я объяснил, что по горькому опыту знаю — архивы есть не что иное, как тюрьма документов. Я смог в этом убедиться, разыскивая материалы о своих героях: академике Вавилове, хирурге В. Ф. Войно-Ясенецком, а также на примере в буквальном смысле слова "арестованного" фонда Михаила Булгакова. Поэтому надо оставить хотя бы какую-нибудь щель, малое послабление для тех, кто станет интересоваться пока еще "не модными", но очень важными для понимания судеб русской интеллигенции бумагами Волошина. Мануйлов возразил, что требовать чего-то от столь почтенной организации, как Пушкинский дом, неудобно, нетактично, что текст нашего соглашения там осмеют, не подпишут, что вообще нет смысла требовать каких бы то ни было гарантий, поскольку бумаги Волошина в основном уже увезены из Дома.

Я разнервничался и заявил, что Мануйлов действует в своих личных интересах, что профессору хочется сохранить хорошие отношения с Пушкинским домом, чтобы продолжать свою работу и там. Не улыбающаяся девица с лицом стукачки закричала, что архив Пушкинского дома — место святое и никто не смеет называть его тюрьмой. И вообще надо сто раз подумать, прежде чем говорить такое о советских архивах... Мануйлов начал лепетать, что не пройдет и полгода, как фонд Волошина приведут в порядок и — милости просим! — все смогут в нем работать. Но тут же добавил, что те 13 тетрадей дневников Марии Степановны, которые она мне подарила и где рассказывала все эти годы о Максе, о своей борьбе за Дом, я забрать не могу, так как они имеют прямое отношение к фонду Волошина. Тетради отняли.

Бедная Мария Степановна, слушая наши возбужденные речи, металась от одного решения к другому и в конце концов смирилась с тем, что сделать ничего не может, что соглашение посылать в Ленинград бесполезно. Она была растеряна и взволнована, но одновременно пыталась успокоить меня. Мне трудно было объяснить ей, что мой профессиональный опыт таков, что документ, открывающий историческую правду, мне дороже всего. Арест архива Волошина я переживаю как личную драму..."⁴⁹.

Все произошло именно так, как я и предсказывал. В 1975 и 1976 годах мои друзья-литераторы в

Ленинграде дважды делали попытки получить доступ к бумагам волошинского фонда, но администрация Пушкинского дома в обоих случаях им отказала. Не сомневаюсь, что и теперь, десять лет спустя бумаги эти числятся среди секретных и отгорожены от глаз исследователя толстой тюремной стеной.

VI

А Дом в Коктебеле? Что стало с ним? Вот несколько строк из "Литературной газеты":

"Самое первое, безотлагательное, сверхсрочное, что надо делать — спасти самый дом Волошина. Судьба его складывается трагически. Вот уже несколько лет, как дом закрыт и безуспешно ждет реставрации и капитального ремонта. В его двадцати пяти комнатах, где зимой отапливаются только две, сосредоточены огромные ценности — восемнадцать тысяч единиц хранения — в том числе акварели Волошина, редкой ценности библиотека из девяти тысяч томов, которые портятся зимой от сырости... Не хватает пятидесяти кубометров леса, необходимых для ремонтных работ. Итак, пятьдесят кубометров пиломатериалов, а на другой чаше весов — Дом Волошина...⁵⁰.

А стихи-то, стихи Макса — что с ними?

В 1927 году молодой писатель Родион Березов в первый раз приехал в Коктебель. Его приняли, как всех, — радушно, тепло, дали комнату. Как и другим гостям, Макс читал ему свои произведения. Гость провел на берегу Коктебельской бухты полтора месяца. Прощаясь, спросил хозяина дома:

"Пытались ли Вы, Максимилиан Александрович, издать свои стихи?" Волошин ответил: "Я показывал их Льву Каменеву. Он сказал мне: "Все это увидит свет, когда не будет нас..." Я спросил, долго ли ждать этого времени? "Лет тридцать", — последовал ответ⁵¹.

Разговор с Каменевым, одним из тогдашних большевистских вождей, происходил по всей видимости еще в 1924 году. Но предсказанная им публикация стихов Волошина произошла в Советском Союзе не через 30, а через 50 лет, в 1977 году. К столетию рождения поэта власти разрешили опубликовать крошечный томик в малой серии Библиотеки поэта. Книжка вышла благодаря заступничеству тогдашнего секретаря Московского отделения Союза писателей Сергея Наровчатова и с его же весьма обтекаемым предисловием. В этом предисловии среди прочего говорилось, что "руководители партии и правительства заботливо и бережно относились к поэту и его дому в Коктебеле, проявляли интерес к судьбе Волошина"⁵².

Все это пошлое славословие хозяевам в конце концов куда ни шло: читатель в России научился пропускать мимо ушей обязательную ложь. Хуже было то, что люди, знавшие и любившие поэзию Волошина, попросту не обнаружили в издании 1977 года самых главных, самых важных его стихов. Составители произвели простенькую операцию: отсекали почти все то, что Максимилиан Александрович написал во время революции, гражданской войны и в последующие годы.

Я не успел приобрести книжку в Москве: мы с женой покинули Советский Союз почти одновременно с ее выходом в свет. Читать ее довелось уже в Нью-Йорке. Но мне вспоминается замечание одного из старых коктебельцев, успевшего летом 1977 года приобрести этот томик в Лавке Писателей: "Хорошо, что Мария Степановна не видела этого издания. Т а к а я книга ее бы уже точно убила..."

И все же закрыть Волошина, сделать его поэзию не существующей не удалось. Птичка выпорхнула:

друзья поэта в России переслали на Запад все его стихи и большую часть прозы. В 1982 и в 1984 годах издательство ИМКА-Пресс в Париже выпустило два больших тома волошинской поэзии под редакцией крупного специалиста по русской литературе Б. А. Филиппова. Именно эти два тома в черных переплетах с великолепным справочным аппаратом побудили меня взяться за очерк о Марии Степановне. Прочитал я их и горько стало, что нет уже больше ее, человека, которому сильнее, чем кому-либо другому в этом мире, не терпелось взять в руки эти тома. Ведь половина ее жизни была посвящена тому, чтобы сегодня мы с вами вот так свободно листали книгу с бегущей по черному фону белой надписью: "Максимилиан Волошин. Стихотворения".

*

"Мария Степановна скончалась 17 декабря". После телеграммы Володя Купченко прислал письмо с подробным описанием кончины, прощания и похорон. Потом мы получили еще несколько писем. В одном рассказывалось о последнем "подарке" советских чиновников: они запретили хоронить М. С. Волошину где бы то ни было, кроме коктейбельского кладбища. А ведь она до последней минуты, пока теплилась жизнь, просила: "Положите рядом с Максом на холме". Об этом и в завещании написала. Три дня, пока шло прощание с Марусей, друзья пытались как-то вразумить представителей власти. Один из них позднее писал: "Мы бились как мухи в паутине их уклончивых ответов и сомнительных сочувствий. Никто не хотел взять на себя ответственность, даже мертвая, она казалась

опасной. Разрешить? А если наверху обвинят в политической ошибке?

Одна из наиболее преданных подруг Маруси бросилась в Феодосию, добилась приема у секретаря горкома партии. Секретарем оказалась женщина. Это последнее обстоятельство, возможно, помогло. "Мне лично кажется, — сказала она, — что супругов следует хоронить вместе". Партийная эта дама однако не решилась опереться на свое личное мнение в столь важном вопросе и потребовала, чтобы по этому поводу специальной телеграммой высказались руководители Союза писателей. Друзья Дома стали звонить в Москву. Секретари сутки мялись, но потом все-таки послали ответ, который позволил, наконец, Марии Степановне лечь под один камень со своим Максом.

В январе 1977-го, вернувшись из Коктебеля после похорон, поэтесса Елена Благинина написала и подарила мне очерк, посвященный Марии Степановне. Последние часы, проведенные Марусей под крышей своего Дома, описала она в следующих строках:

"Она лежала внизу, в 'музыкальной' ... Ее со всех сторон окружали акварели Макса, цветы, и слова Священного Писания, которые читались над ней все трое суток, — почти без перерыва. Кумачевая крышка гроба у дверей никого не удивляла — все были уверены: обойдется и это. 'Слава тебе за отсвет Твоей славы на лицах умерших', — вспоминала я слова древнего акафиста, глядя на величественно-спокойное лицо Маруси. Она была религиозна и все сделали ее друзья так, как она желала... После панихиды, которую скромно-торжественно отслужил феодосийский священник, мы в последний раз обняли и поцеловали Марусю, а потом накрыли ее крышкой, которая вдруг сделалась черной и на которой сиял, тихо светясь, чудный тоненький крестик из деревянных планок. Гроб вынесли на высоко поднятых руках и поставили на грузовик. С откинутым задним бортом машина медленно двинулась по аллеям пар-

ка, пронизанным высоким чистым светом декабрьского дня. Потом проехали мимо почты, выехали — все также медленно — на шоссе... И на всем этом пути — от дома до шоссе — стояли люди — много людей с обнаженными головами — прощались с хозяйкой Коктебеля.

А машина дошла до подножья Кучук Еньшары и остановилась. Дальше Марусю понесли на руках — посменно — молодые ее друзья, для которых она была не просто престарелой знакомой, а *М а р у с е й*, то есть всем тем сложным, что в это вкладывалось...

На гору я не попала — ноги мои не дошли. Говорят, было торжественно: читали стихи, произносили заупокойные речи. В. П. Купченко прочел "Дом поэта" полностью. Сияло небо, синело море. Солнце начинало уходить в дымную тучу над Святой горой.

Я вернулась на Марусином грузовике и, в ожидании друзей, поднялась на балкон — в последний раз! Я подмела его, затерла лужи, вытряхнула половички и села на ту скамью, где обычно Маруся лежала, отдыхая. И вдруг туча над Святой горой как бы раздвинула сизый занавес и оттуда хлынул такой свет, что я закрыла глаза на мгновение. Очнувшись, я увидела могучее действие заката, расходящегося в зените библейскими дымно-золотыми лучами..."

ПРИМЕЧАНИЯ

1. М. Волошин, стихотворение "Гражданская война" из цикла "Стихи о терроре" (1920).

2. М. Волошин. Стихотворения. ИМКА-Пресс, 1984. Том II, с. 93.

3. Письмо М. А. Волошина Л. Б. Каменеву, 1924 г. Скопировано по разрешению Марии Степановны и передано для публикации в сборник "Память", том 1, Нью-Йорк, 1978.

4. Письмо А. Белого (Бориса Бугаева). Коктебель, 27 июня 1933. Цитирую по книге Павла Гольдштейна "Дом Поэта". Иерусалим, 1980.

5. Письмо М. А. Волошина Н. И. Бутовской, издательнице парижского журнала "Современное искусство", от 20 октября 1924 года. Бахметьевский архив при Колумбийском университете. Нью-Йорк. Фонд князя А. К. Шервацидзе.

6. 'Кириенко-Волошин Максимилиан Александрович (поэт и художник). Жизнеописание'. Скопировано с разрешения Марии Степановны. Публикуется впервые.
7. Л. В. Тремль (Л. Дадина). Волошин в Коктебеле. 'Новый журнал', книга 39, Нью-Йорк, 1954.
8. Н. Шульц. Планерское (Коктебель). Очерк-путеводитель. Изд-во 'Крым', Симферополь, 1966.
9. 'Литературная газета', 23 сентября 1981 г., статья П. Воронько и Ф. Кузнецова "Судьба Коктебеля". Подлинность документа кажется мне сомнительной: никакого Всероссийского союза писателей в 1931 году не существовало. Возможно, дарственная была адресована РАППу. Но автором мифа упоминать в 1981 году многократно руганый РАПП не захотелось.
10. Письмо к Н. И. Бутковской от 24 октября 1924 г. Бахметьевский фонд при Колумбийском университете.
11. Справка выдана врачебно-контрольной комиссией при Феодосийском райздравотделе 5 марта 1929 года. Скопировано по разрешению Марии Степановны.
12. Заключение профессора В. Шервинского. Москва, 23 февраля 1930 г. Копия снята по разрешению М. С. Волошиной. Публикуется впервые.
13. 'Поэт, мудрец, дитя', — писал о М. А. Волошине поэт Всеволод Рождественский.
14. Валя Эн. Воспоминания о Марии Степановне Волошиной. Не публиковались.
15. Наталья Рубинштейн. Дом без поэта. Журнал "Синтаксис" № 2, 1978 г.
16. Письмо к Н. И. Бутковской от 20 октября 1924 г. Бахметьевский архив, Нью-Йорк, Фонд князя А. К. Шервашидзе.
17. Письмо (1922) скопировано в Коктебеле в архиве Волошина по разрешению Марии Степановны. Официально Волошин развелся с Сабашниковой только в 1927 году и тогда же заключил брак с Марией Степановной. Письмо публикуется впервые.
18. А. А. Арендт. Памяти Марии Степановны Волошиной. 20 января 1977 г. Публикуется впервые. А. Арендт — скульптор, москвичка, потомок врача, лечившего раненного на дуэли Пушкина.
19. Стихотворение датировано 21 марта 1929 года.
20. Вл. Купченко. Хозяйка Дома Поэта. Машинопись. 1976 г. Публикуется впервые.

21. Д. Новоселов (Р. Березов). В Коктебеле. "Грани" № 5, 1949, с. 55.
22. Вл. Купченко. Хозяйка Дома Поэта. Публ. впервые.
23. Запись в дневнике 30 июня 1941 г. Публикуется впервые.
24. Запись в дневнике 16 сентября 1942 г.
25. А. Арендт. Памяти Марии Степановны Волошиной. Публикуется впервые.
26. Вл. Купченко. Хозяйка Дома Поэта. Машинопись. Публикуется впервые.
27. Дневник М. С. Волошиной. Запись 1 июля 1941 г.
28. Там же. Запись 17 ноября 1941 г.
29. Там же. Запись 29 ноября 1941 г.
30. Там же. Запись 17 ноября 1941 г.
31. Там же. Запись 17 ноября 1941 г.
32. Там же. Запись 29 ноября 1941 г.
33. Там же. Запись 12 ноября 1942 г.
34. Вл. Купченко. Хозяйка Дома Поэта. Машинопись. Публикуется впервые.
35. Дневник М. С. Волошиной. Запись 13 апреля 1944 г.
36. Там же. Запись 14 апреля 1944 г.
37. Там же. Запись 31 января 1945 года.
38. Там же. Запись 18 июня 1944 г.
39. Елена Благинина. Плещет волна. Неопубликованный очерк. Январь 1977 г. "Каменеть" — коктебельский термин, означающий собирать на берегу обточенные морем красивые камешки.
40. П. Воронько и Ф. Кузнецов. Судьба Коктебеля. "Литературная газета", 23 сентября 1981 г.
41. А. Арендт. Памяти Марии Степановны Волошиной. Январь 1977. Рукопись не публиковалась.
42. Е. Благинина. Плещет волна. Очерк о Коктебеле. Январь 1977. Рукопись публикуется впервые.
43. Марине Ъкариус в Ленинград. Весна 1968 г. Публикуется впервые.
44. Проф. физики Константину Михайловичу Поливанову в Москву. Весна 1968 г. Публикуется впервые.
45. Писателю Ивану Антоновичу Ефремову в Москву. 1968 г. Публикуется впервые.
46. Письмо М. С. Волошиной П. Ю. Гольдштейну, осень 1970 г. Цит. по книге "Дом Поэта", Иерусалим, 1980.
47. Письмо М. С. Волошиной к П. Ю. Гольдштейну. 18 февраля 1971 г. Цит. по книге "Дом Поэта".

48. Письмо М. А. Волошиной П. Ю. Гольдштейну 18 февраля 1971 года. Цит. по книге "Дом Поэта".

49. Дневник автора. Запись 19 сентября 1973 года.

50. Платон Воронько и Феликс Кузнецов. Судьба Коктебеля. "Литературная газета", 23 сентября 1981 г.

51. Д. Новоселов (Родион Березов). В Коктебеле. Журнал "Грани" № 5, 1949.

52. Максимилиан Волошин. Стихотворения. "Советский писатель", Ленинград, 1977, с. 31.



Д. ПОСПЕЛОВСКИЙ

Размышления над книгой*

Диву даешься, почему на седьмом десятке существования коммунистической партии у власти в СССР все еще приходится доказывать Западу — и не просто несведующему человеку с улицы, а западным ученым, "специалистам" по СССР, "кремлеведам"—советникам западных президентов и премьеров, — что СССР, как и всякая другая коммунистическая страна, является прежде всего государством идеократическим, где национальные интересы постоянно приносятся в жертву интересам международного коммунизма и его мирового господства согласно формуле Ленина 1918 года**. И это несмотря на то, что советская модель властвования повторяется почти как сиамский близнец в каждом государстве победившего марксизма — от Китая до

* John Dunlop, The faces of contemporary Russian nationalism. — Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1983. 383 p.

** "...интересы социализма стоят выше, чем интересы права нации на самоопределение... если... существование социалистической республики подвергается опасности в данный момент, ... то, разумеется, интересы сохранения социалистической республики стоят выше ..." Тезисы по вопросу о немедленном заключении сепаратного ... мира, 7. 1. 1918 г. Полное собрание сочинений, 5-е изд., т. 35 (М. 1962), с. 251.

Эфиопии, от Румынии до Кубы, от Индокитая до Гренады, — включая кровавые чистки и геноцид собственных народов. В "искусстве" геноцида, как известно, Пол-Пот, научившийся марксизму в стенах Парижского университета (а не в СССР), превзошел даже Сталина, сумев уничтожить за несколько лет почти 40% собственного народа. И все равно все западные страны и ООН продолжают признавать сброшенное вьетнамским вторжением правительство Пол-Пота единственно законным. Оно ведь национальное! Точно так же Запад сегодня признавал бы и Гитлера законным национальным правительством Германии, не развяжи он международную войну своей безмерной агрессивностью и не проиграл он ее. Но Гитлер хоть проповедовал господство своей нации, и террор его был направлен в основном против отдельных групп населения (евреи, цыгане) и прямых идеологических противников, а не против собственной нации как таковой. А вот как может сойти за *национальное* правительство, которое уничтожило 50 миллионов собственного народа (СССР) или 40% такового (Кампучия); правительство, на протяжении 50 лет усиленно уничтожавшее памятники культуры и истории основных народов своего государства...? И где же здесь хваленый западный прагматизм, делающий якобы заключения на основании практического опыта?

Нет, здесь мы имеем дело не с прагматизмом, а упрямым "прагматическо"-материалистическим догматизмом, уходящим корнями во всю традицию западного либерализма, рационализма и, в конечном итоге, Возрождения, вознесшего человека и человеческий разум на уровень абсолюта, полного совершенства, божества. Это от традиции Возрождения идет горьковское "Человек — это

звучит гордо"! Человеческий разум способен создать совершенное общество — это основная и самая преступная (вернее: греховная) утопия Возрождения. А если и не совершенное, то разум, во всяком случае, создает только разумное, а, следовательно, лучшее и всегда прогрессирующее. Отсюда вера в то, что все, совершаемое человеком, всякая перемена, всякое преобразование — прогрессивны, все идет к лучшему. И чем радикальнее перемены, чем они больше меняют предыдущее, следовательно ущербное, общество, тем они прогрессивнее. Отсюда восхваление и оправдание революции: большие свершения требуют своих жертв. Отсюда оправдание гильотины "Великой" Французской революции.

Но если во имя "прогресса", во имя республики оправдывается убийство нескольких сотен тысяч невинных жертв, то почему не миллионы? Отсюда та самая либеральная догма революции и прогресса, которая не дает "прагматическому" Западу признать, что "Великая Октябрьская" (а может, и Февральская — Боже упаси!) революция не была прогрессивной, что это одна из самых кроваво-трагических ошибок человеческой истории. Признание этого подрывает под корень всю теорию разумности и прогрессивности человеческих действий...

Еще страшнее признать, что плоды Октября — реализация социально-политической и философской системы, порожденной либерализмом, гуманизмом, гедонизмом и утилитаризмом. Ведь марксизм есть лишь логическое доведение всех этих доктрин до абсурда. Поэтому признать, что зло коммунистических систем лежит в самой доктрине марксизма, в отрицании ею абсолютных начал нравственности, в учении о насильственном преображении человека

посредством "классового" террора, в приравнении человека к бездушной материи в материалистическом учении, не признающем духовных и абсолютных понятий и ценностей — признать это все требовало бы пересмотра всех тех основ гедонизма, материализма и нравственного релятивизма, на которых зиждется и все современное западное общество. Гораздо легче отмахнуться от всех этих проклятых навязчивых вопросов, обвинив в банкротстве марксизма "варварскую Россию", "диких азиатов", "рабское начало" в русском народе и пр.

Так, сознательно или бессознательно вторя Розенбергу, "на полном серьезе" развивают теории "единого потока" от Ивана Грозного до Сталина и Брежнева западные историки; вторят им и наши традиционно-российские самооплеватели вроде яновых, синявских, зиновьевых да симесов... Правда, для современного подсоветского человека такой уклон в самооплевание имеет некое эмоциональное оправдание: русскую историю он знает только через призму советской школы, искажающей и затемняющей положительные моменты русского прошлого, оправдывая и выпячивая в положительном духе многие отрицательные стороны, если они косвенно оправдывают советский террор, изоляционизм и агрессивную внешнюю политику. Вокруг же себя советский человек видит пакость и деморализацию своего народа, опрокидывая это невольно и в прошлое, видя его через призму наблюдаемой реальности и искаженной подачи истории. К тому же материалистическо-утилитарный подход ко всем общественным проблемам настоящего и прошлого, внушаемый советской школой, мешает ему распознать нравственные критерии и мотивы в истории, в частности, в рус-

ской. Поэтому он проходит мимо великих реформ Александра II, мимо нравственно-привлекательных моментов в поведении таких государей как царь Алексей Михайлович, таких деятелей как Ордын-Нащокин, Ртищев, Милютин... Он просто не замечает того, что не входит в рамки утилитарно-материалистических доктрин. Для этого ему не хватает того слуха и того зрения, о которых Христос говорил: "Имеющий уши, да слышит... имеющий очи, да видит", хотя формально все слушавшие и видевшие Его, имели физические уши и глаза.

Если этим можно до какой-то степени оправдать заблуждения многих наших соотечественников-русофобов, то для западного ученого, работающего в условиях абсолютной академической свободы и доступности источников, возвращенного в условиях адогматизма и открытости мышления, оправдания для поверхностных, тенденциозных и односторонних обобщений нет. Но, как мы уже указали выше, и тут действуют свои догмы, догмы материализма и релятивизма. Оказывается, современный полностью секуляризованный историк (атеист или агностик) тоже не в состоянии вникнуть в духовные процессы нации и понять их роль в ее истории. Поэтому, вероятно, Р. Пайпс видит в современном атеистическо-коммунистическом режиме СССР всего лишь продолжение развития исторической Российской империи. А верующий христианин, американский профессор Доналд Трэдголд видит несовместимость и полную противоположность исторической России и коммунистического СССР. Поэтому распознать суть, истоки и разновидности процессов современного русского национализма смог верующий христианин Джон Данлоп; и оказался не в состоянии этого сделать атеист и марк-

сист (во всяком случае в методике своих анализов) Александр Янов*.

До недавнего прошлого термин "национализм" имел несколько отрицательный привкус. Под ним часто подразумевается возвеличение собственной нации за счет умаления всех остальных, агрессивность к другим народам, пренебрежительное к ним отношение, те или иные формы расизма. Горький опыт шовинистического национализма, разлившегося по Европе и по многим другим местам земного шара между двумя мировыми войнами (из которых самой уродливой формой оказался нацизм и, в меньшей мере, фашизм) способствовал смешению понятий национализма и фашизма после Второй мировой войны. Христианская форма национализма, когда-то выдвинутая нашим философом Владимиром Соловьевым — "Возлюби другие народы, как свой собственный" — не получила широкого хождения и, в основном, была забыта. В лучшем случае любовь к своему народу, к своей культуре, без какой-либо враждебности к другим начала определяться как патриотизм, в отличие от национализма. Но вообще-то, послевоенный западный мир предпочитал космополитизм, интернационализм, — что явилось реакцией на опыт нацист-

* Мы не впадаем здесь в догматизм отрицания возможности глубинного исторического анализа в работах неверующих ученых и наоборот. Натура и душа человека слишком сложны и противоречивы. Не все атеисты логически последовательны и наоборот. Речь идет лишь о тенденции и о логике вещей: атеист-материалист априори отрицает существование духа как автономного и самостоятельного начала, следовательно он может прекрасно разбираться в отдельных сторонах истории (социально-экономические вопросы), анализировать факты; но вряд ли может делать глобальные обобщения, ибо он не понимает и игнорирует целые сферы человеческой деятельности и мотиваций.

ской Германии, — забывая, что опыт космополитизма-интернационализма в XX веке оказался еще более кровавым, чем опыт нацизма-фашизма. Мы имеем в виду, конечно, СССР и др. коммунистические страны.

Нежелание признать этот факт — далеко не последний по значению фактор, когда преступления коммунизма предпочтительно приписываются русскому народу (национальный гнет русских над украинцами и пр.) или ново-китайскому национализму, действующему лишь, якобы, под личиной коммунизма. Не учитываются при этом предупреждения тех же Соловьева и Достоевского, что космополит, много говорящий о любви к человечеству, на самом деле никого не любит. Ибо невозможно реально возлюбить человечество, не любя ближнего своего: своего брата, своего соседа, своего соотечественника, свой народ. Гуманистическая же любовь к человечеству как некоей абстракции, так и остается абстракцией, ни к чему не обязывающей, разве что к проведению в жизнь своих доктрин, вполне за счет живого, реального человека. Именно из такого космополитического абстрактного гуманизма вполне логически вытекает известное изречение Сталина, что смерть тысяч (миллионов) — только статистика. К тому же вполне положительная — дополним мы эту мысль, — если речь идет о построении будущего "всеобщего счастья".

Трудно признать такую логику вещей современному секулярному миру еще и потому, что признание было бы равнозначно признанию полного банкротства всей пост-ренессансной доктрины прогресса. Двадцатый век стал веком торжества обоих "измов", порожденных всем ходом прогрессирующего секуляризма, отказа от духовного и абсолютного начал, замены духовного абсолютизма абсо-

лутизацией социальных учений, — торжества и противоборства интернационализма и национализма. И вот оба принесли океаны крови всему миру, и конца этому процессу пока не видно. Значит, если есть выход, то он вне "измов" вообще, то есть в отказе от абсолютизации идеологии, в отказе от подмены духовных ценностей социальными религиями-идеологиями, а не в сваливании всех вин на национализм и ту или иную нацию.

Создавая свою книгу о росте национального самосознания в современной России, приходящего на смену обанкротившемуся марксизму, Джон Данлоп явно стоял перед дилеммой: как назвать это явление во всем многообразии его проявлений в своем обобщающем труде. Назовешь терминами, не несущими вышеназванных отрицательных нагрузок — как-то: патриотизм, почвенничество, национальное возрождение — рискуешь не охватить отрицательные, чисто секулярные националистические тенденции, как например: национал-большевизм, неонацизм... В результате Данлопу пришлось все же прибегнуть к выражению "русский национализм" в качестве такого обобщающего термина, охватывающего и положительные и отрицательные проявления национального самосознания. За неимением ничего лучшего, всем нам, пишущим на эти темы, приходится пользоваться этим термином, всячески при этом оговаривая и обуславливая его применение. Правда, сам термин как-то потерял свою априорно-отрицательную окраску первых послевоенных десятилетий, благодаря бурному росту национализмов в Третьем мире, да и среди наименьшинств и меньших наций советско-коммунистического блока.

Тут-то и возникает дилемма: почему национализм хорош, если он польский, латышский, узбек-

ский, украинский, но плох, если он русский? Некоторые наши самиздатские публицисты даже попытались обосновать такой двойственный стандарт теоретически. Григорий Померанц, например, пишет, что национализм малых наций имеет право на существование потому, что он безопасен и является средством к национальному выживанию перед лицом сил, народов и стран, во многом превосходящих такую малую нацию и грозящих ее поглотить. А большие народы, например русский, не имеют право на национализм, так как при его силе и возможностях он становится орудием и оправданием агрессии.

Но мы уже говорили, что таким же орудием или, вернее, запалом агрессии может быть (а в случае СССР уже 65 лет и есть) и интернационализм. Кроме того, национализм, как и любое общественное течение, настроение, направление, появляется, не спрашивая разрешения у Померанца. Факт, что русский национализм есть и что он нарастает. Дело ученого проследить его характерные черты, проявления, тенденции и возможное развитие в будущем. Всем этим и занялся Данлоп, вполне успешно доказав, что русский национализм сам по себе ничем не отличается от таких же явлений у других народов, будь то больших или малых, а если и отличается, то большей традиционно-христианской, почвеннической окраской, чем у многих других народов, то есть элементы умеренности, уважения к другим нациям и культурам в нем даже больше заметны, чем, скажем, в том немецком национализме, крайним проявлением которого оказался нацизм. Данлоп показывает, ссылаясь на вполне достоверные источники, что между двумя мировыми войнами, даже в эмигрантской среде, обычно тендирующей к крайностям в своем отталкивании от выгнавшего

ее интернационализма, нацизм и фашизм не пустили глубоких корней — этому помешало органическое переплетение русского национализма с Православием, не допускающим расизма.

При этом Данлоп не закрывает глаза на существование в России и самых отвратительных проявлений национализма. На протяжении 300 страниц и 11-ти глав он анализирует национализм в различных перспективах: исторической, которую почему-то начинает только с 1917 года; демографической; соотношения с другими народами страны; культуры; Церкви и т. д. Затем, в каждой главе он рассматривает в этом соответствующем контексте разные националистические русские тенденции — от почвенников до национал-большевиков. Можно было бы, конечно, построить книгу и иначе: разбить русский национализм на категории — почвенники, славянофилы, националисты официозные, национал-большевики и нео-нацисты — и в спектре каждой такой категории рассмотреть как они соотносятся с вышеуказанными и другими явлениями (например: единая-неделимая или делимая, монархия, демократия, диктатура, отношение к Западу, отношение к Церкви и пр.). Мне кажется, что такое построение книги дало бы более выпуклую картину всего спектра русского национализма, а так приходится эти спектры искать по всем главам. Но это уже дело вкуса автора. К тому же надо помнить, что автор литературовед, а не социолог, так что и приоритеты в категоризации у него свои.

Не будем рассматривать его систему выявления и показа различных спектров русского современного национализма и их отношения к проблемам вышеуказанного порядка. Русскому читателю они известны, особенно учитывая, что Данлоп больше всего пользуется в качестве своих источников сам-

издатом, равно как беллетристикой и очерками, в основном, литераторов-националистов и деревенщиков из "Молодой гвардии", "Нашего современника" и др. журналов. Важно, что весьма доскональное изучение предмета приводит его к выводу почвенников и их единомышленников (например М. Агурского), что хотя русские — великая нация, советский строй ее настолько изуродовал и морально (лишая исторической памяти и национальной культуры) и физически (уничтожив крестьянство — самую здоровую и инстинктивно-христианскую основу нации, сплотив русский народ, сначала лишив его духовного стержня и вызвав демографическую катастрофу), что русский национализм нашего времени — это, прежде всего, национализм выживания, охранительный и оборонительный национализм. Иными словами, это по характеру скорее национализм малой, а не великой нации*.

Трудно согласиться с К. Р. Миног, который определяет национализм в весьма суженном понимании, как реакцию на иностранную оккупацию или агрессию. Существуют и совершенно иные определения национализма, но, мне кажется, Данлоп берет именно это определение, чтобы успешно доказать, что даже в таком контексте русский национализм в

* Тут вспоминаются слова покойного псковского священника о. Сергея Желудкова, что советский строй — это великий эксперимент того, что случится с великим народом, если его лишить свободы. И его ответ: народ перестает быть великим. Конечно, о свободе о. Сергей говорил в христианском контексте этого понятия, а не в упрощенном поверхностном определении как праве голосовать за многих кандидатов. Это тоже свобода, но далеко не вся.

СССР имеет полное оправдание своего существования. Ибо,

” ... для русских националистов всех окрасок марксизм — чужая не-русская идеология, а марксистский эксперимент в России антинационален по своей сути...” (с. 275) .

По Мينوгу, первая стадия национализма проявляется в некотором общественном волнении, в ходе которого народ начинает себя ощущать нацией, страдающей от притеснений. Этот период нередко характеризуется сопротивлением иностранным влияниям и идеям, поисками собственного культурного самоопределения. Именно это Данлоп видит в современных национальных течениях среди русского народа в СССР. Второй миноговский этап — борьба за национальную независимость — по мнению Данлопа тоже вполне относится к задачам современного русского национализма: борьба за освобождение от марксистской оккупации страны (физической: партия; и духовной: идеология и ее разрушительный эффект) . За этим, по Мينوгу, должны последовать приход националистов к власти и консолидация народа. По мнению Данлопа, этот процесс национального самоопределения и консолидации, начатый славянофилами (Хомяковым и др.) в первой половине прошлого века, был прерван временной победой западников-позитивистов, приведших к победе западников-марксистов. Теперь же эта прерванная связь восстанавливается в лице современных нео-славянофилов и других националистов. Среди последних он вполне обоснованно видит повторение чуть ли не всех дореволюционных спектров: Солженицын и другие национальные возрожденцы-христиане как бы продолжают линию ранних славянофилов, через веховскую ”ревизию”; в национал-большевиках и официозных национа-

листах можно распознать националистический оппортунизм и в некоторой степени протофашизм панслависта Данилевского и т. д. Данлоп правильно замечает, что даже в официозном национализме, то есть том, который допускается на страницы советской периодики при явном покровительстве каких-то высокостоящих цекистов, нередко просвечивают, слегка закамouflированные, христианско-почвеннические тенденции, а не национал-большевизм. Речь идет, конечно, не о национал-большевике нео-сталинце Шиманове, а о таких авторах как Солоухин, Астафьев, даже Чивилихин с их явно искренней болью за Россию и попытках спасти гибнущие культуру и духовную основу нации — крестьянство...

Но далеко не все безупречно в книге Данлопа. Есть у него неизбежные и, кстати, легко исправимые, фактические ошибки, но есть и ошибки методологические, по нашему мнению, о которых следует поговорить отдельно.

К числу фактических ошибок принадлежит упоминание Воскресенского монастыря в Истре и Новоиерусалимского как двух отдельных монастырей, хотя на самом деле это один и тот же Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в Истре, построенный патриархом Никоном (с. 75—76). Взносы Русской православной Церкви во Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) представлены так, будто они добровольны (с. 170), в то время как бывш. архиеп. Полтавский Феодосий в своем письме-жалобе Брежневу прямо говорит, что взносы эти обязательные, наравне со взносами в Фонд мира; и если вначале они не превышали 5—10% доходов прихода, то в последние годы уполномоченный Совета по делам религий требует "30%, а то и

40%”, что, как показывает примерный финансовый отчет типичной сельской церкви, равносильно просто ограблению Церкви*.

По крайней мере в двух местах у Данлопа нелады с хронологией. Рассказывается о том, как Сталин сказал Джиласу, что Достоевский в СССР не издается, так как он вредно влияет на молодежь. ”Но, — продолжает Данлоп, — в 1942 г. Сталин переменял по-видимому свою политику...”. А ведь вышеуказанная встреча Сталина с Джиласом состоялась в 1948 году**.

Фамилия одного из самых выдающихся богословов православия XX века — митрополита-патриарха Сергия — переделана из Страгородского в Старогородского. А. Хрущев, родившийся как известно на самой границе *восточной* Украины в Курской обл., назван почему-то ”русским мужиком из Западной Украины” (правильнее было бы сказать украинский мужик из Западной России).

Автор допускает некоторые ошибки в кратком изложении положения русского еврейства. Неверно, что в Российской империи не было евреев до раздела Польши при Екатерине. Первые большие массы евреев вошли в пределы Московского государства после присоединения левобережья и Киева со Смоленском по Андрусовскому перемирию 1667 года. О еврейских погромах после 1881 года Данлоп говорит, что они были ”результатом падения религиозного влияния на население в массе” (с. 149). Но перед этим он говорит о росте атеизма среди русского дворянства и интеллигенции.

* Письмо архиеп. Феодосия Л. Брежневу. ”Вестник РХД”, № 135 (1981), сс. 233—234.

** См. М. Джилас. ”Разговоры со Сталиным”. Англ. изд., 1962, с. 157.

И в этом он прав, но не прав в смещении процессов интеллигентских и народных.

Бытовое церковное благочестие в народных массах еще в 80-х гг. прошлого века было почти всеобщим. Другое дело, что в связи с Петровскими "реформами", загнавшими Церковь в самый дальний "угол" русской культуры, лишившими ее ведущей интеллектуальной силы и нравственного авторитета в обществе, интеллигенция, "просвещавшая" народ, была вне сферы церковного влияния. И поэтому в то время как богословские журналы и просвещенное православное духовенство возмущались погромами и приветствовали еврейское национальное возрождение, а в пресловутом деле Бейлиса церковно-богословская экспертиза данная Православной Церковью буквально спасла Бейлиса от обвинения в ритуальном убийстве, эти сигналы Церкви не трогали "просвещенную" публику, которая таким образом не передавала эти сигналы в народ. А атеистические народники, как мы знаем, в своих листовках приветствовали погром 1881 года, как проявление народной стихии, которой надо, мол, разгуляться, чтобы в конце концов всколыхнуть страну на революцию. Хотя те же народники признавали несправедливость погромов и невинность их жертв, но для них как революционеров цель оправдывала средства. Вот если бы Данлоп рассмотрел и представил этот вопрос в таком свете, а не упрощал к схеме: народ был неверующим, поэтому он бил евреев, к схеме, которая в таком виде неверна (мужики и казаки Богдана Хмельницкого, например, учинившие первый кровавый массовый погром евреев в Восточной Европе, вероятно были вполне церковными!), то его аргументация была бы более убедительной.

Закончим наш перечень фактических ошибок

двумя неверными оценочными ошибками-упрощением. А именно, Белое движение названо монархическим (с. 258), каковым оно не было ни по замыслу, ни по провозглашаемой цели (созыв Учредительного Собрания), ни по убеждениям большинства его организаторов, во всяком случае на юге России. Ни Корнилов, ни Деникин, ни Алексеев монархистами не были, а Врангель, будучи лично монархистом, был принципиальным непредвзятым в политике! Там же Данлоп говорит, что Данилевский и Леонтьев могут считаться предшественниками русского фашизма. Если это можно с некоторой натяжкой сказать о Данилевском, то никак уж не о Леонтьеве с его аристократизмом, противлением всякой уравниловке, ратованием за сохранение самобытности всех народов и рас.

Так мы перешли от обсуждения фактических ошибок к оспариванию некоторых суждений, а следовательно и методологии автора, о которых следует поговорить несколько подробнее.

К сожалению, автора можно упрекнуть в некоторой неразборчивости в источниках и чрезмерном злоупотреблении "превосходной степени", так сказать, показывающей некую "русофильскую" предвзятость или заданность, что несколько ослабляет убедительность его конечных выводов в глазах скептически настроенного западного читателя-ученого.

Например, хотя в конце книги автор вполне профессионально разбирает антирусскую аргументацию Янова, в ходе книги, там, где это его устраивает, Данлоп, однако, нередко ссылается на того же Янова как на единственный авторитет для подкрепления тех или иных своих утверждений. Приводя доводы за то, что современные русские националисты согласны на самоопределение населяющих СССР отдельных наций, Данлоп ссылается на

пресловутое заявление Петра Болдырева и Игоря Синявина с лозунгом "Русские за ликвидацию своей империи"* , не упоминая о том, что эти лица из третьей эмиграции полностью скомпрометировали себя многочисленными переменами политических и мировоззренческих лагерей за время своего пребывания за рубежом, по принципу "куда ветер дует"** , и на сегодняшний день не пользуются никаким политическим доверием и авторитетом. Кроме того, любыми своими выступлениями они ровно никого не представляли и не представляют (по крайней мере, нужно надеяться, что так, а не хуже!) ***.

Автору изменяет чувство меры, когда он называет о. Дмитрия Дудко "конкурентом Солженицына по своему авторитету у русских националистов ... теневым патриархом Русской православной Церкви". И в самый разгар деятельности о. Дмитрия, до его падения и покаяния, мнения о нем разделялись даже в среде самых активных православных деятелей, не говоря уж о более "смирных" кругах верующих. Многие доброжелатели упрека-

* Уже сама постановка вопроса в таких выражениях означает отождествление советской империи с яновско-русофобскими утверждениями, что советская власть есть власть русских над другими народами. К сожалению, Данлоп этого, по-видимому, не замечает.

** Кстати, хотя за рубежом художник Синявин выдает себя за преданного Церкви православного христианина, незадолго до его эмиграции в "Науке и религии" (№ 4, 1972, с. 43) была статья "И за людей душа твоя горда" некой В. Долговой, о преподнесении Игорем Синявиным деревянного барельефа собственной работы "Мать и ребенок" ленинградскому Музею истории науки и религии (Казанский собор). Назначение скульптуры — атеистический антиклимакс религиозным символам.

*** Статья написана до того, как стало известно, что И. Синявин ездил в СССР и в начале декабря 1986 г. выступал по ленинградскому телевидению. — Р е д.

ли его в чрезмерном увлечении национализмом, политикой, монархизмом, в том, что он не знает пределов своим силам, берет на себя слишком много, а КГБ, пользуясь этим, играет на его имени и с ним самим, расставляя сети, в которые он попадет, не заметив этого. Что касается его действительно широкой деятельности по приведению в Церковь ищущих, то еще в 70-х гг. православные неофиты, в частности среди новейшей эмиграции, подчеркивали, что в этом он среди духовенства не исключение. Даже автору этих строк известно несколько священников в России, заслуги которых по обращению людей ко Христу и по проповедничеству не меньше. Мы не беремся отрицать самоотверженность и заслуги о. Дмитрия до 1980 года но только хотим указать, что "теневым патриархом" и "вторым Солженицыным" (кстати, или одно или другое!) никто о. Дмитрия никогда не признавал, кроме, возможно, нескольких кликуш и потерявших чувство реальности эмигрантов (если эти эпитеты не просто обобщение самого Данлопа). А после падения о. Дмитрия в 1980 году, о котором Данлоп говорит лишь вскользь, эти эпитеты звучат почти издевательством. Ведь это и был тот националистический соблазн, которому поддался о. Дмитрий. Следовательно он имеет прямое отношение к теме книги. И автору следовало бы его проанализировать, как одну из возможных и опасных точек соскальзывания из лагеря почвеннического патриотизма в лагерь национал-большевизма "с христианским лицом" (или, может, только фасадом?).

Еще более крайним примером такого соскальзывания, такого соблазна, являются шимановские альманахи 1980 и 1981 гг. "Многая лета". Очевидно, по времени сдачи рукописи в печать, профессор Данлоп не мог включить анализ этого сборника в

главную часть, но он говорит о нем в постскрипту-
ме книги. И тут он должен был бы уделить этому
сборнику больше места, чем лишь упоминание его
в одном абзаце. Дело в том, что на протяжении всей
книги Данлоп часто упоминает Шиманова и говорит
о нем весьма положительно. Шиманов для него при-
мер националистов-христиан и авторитетный пред-
ставитель течений такого рода диссидентов — про-
тивников коммунизма. А сборник "Многая лета",
как известно, представляет собой полную апологи-
тику советской внешней политики и советского
исторического пути, включая даже оправдание
убийства царской семьи. Более того, и до сбор-
ника Шиманов систематически ратовал за сохра-
нение тоталитарного аппарата советской власти
и после падения коммунизма, лишь с переориен-
тировкой на православие. Замалчивает автор и
тот факт, что и остальные неофиты из крайне
правых — Регельсон, Хайбулин, Капитанчук —
изменили своему поделщику по Христианскому
комитету о. Глебу Якунину, или, как Феликс Ка-
релин, приняли участие в просоветском сборнике
Шиманова.

Значит не совсем необоснованны опасения воз-
можности слияния националистов с советской вла-
стью. Их надо не замалчивать, а анализировать:
при каких обстоятельствах они могут произойти
и как нам отсюда следует помочь тому, чтобы
этого не было. Во-первых, замалчиванием истину
не установишь, а во-вторых, на каждый такой
соблазн из лагеря националистов можно привести
не меньше соблазнов из лагеря интернационалистов,
социалистов и даже либералов, шедших и идущих
на сотрудничество с советской властью, на оправда-
ние коммунизма и т. д., как в историческом аспек-
те (от эсеров до эмигрантов в 40-х гг.), так и в

современности марксисты и демократы диссидентской эры).

Не совсем хорошо, что из книги слишком явными становятся симпатии и антипатии автора. Так о "Завещании" патриарха Тихона говорится, что есть историки, сомневающиеся в его подлинности, но не приводится ни одного имени таких историков. Почему? Не потому ли, что имена эти неизвестны в мире науки? Немного далее, продолжая тему капитуляции Церкви в гражданском плане перед советской властью в процессе от Завещания патриарха Тихона до Декларации митрополита Сергия 1927 года, Данлоп упоминает лишь "три с половиной месяца тюремного заключения" митрополита, предшествовавшие этой декларации, создавая впечатление о митрополите, как о малодушном человеке, замалчивая, что это было его четвертое тюремное заключение и что по данным, приведенным таким авторитетным историком как покойный Хризостом Блашкевич*, митр. Сергию был представлен в тюрьме ультиматум: подписать Декларацию или будут расстреляны все архиереи РПЦ находящиеся в это время в заключении (чуть ли не 150 человек). В этом же контексте в переводе на английский язык места из Декларации, где говорится о признании Советского Союза "нашей гражданской родиной, радости и успехи которой (выделено нами. — Д. П.) — наши радости и успехи, и несчастья которой — наши несчастья", Данлоп не упоминает о женском роде, относящемся только к родине, но никак не к Советскому Союзу.

В своем стремлении изобразить всех "хороших" националистами, а всех националистов "хорошими"

* См. *ero Die Geschichte russischer Kirche der neuesten Zeit.*

Данлоп превращает Сергея Солдатова в русского националиста (сс. 249—50); а говоря о национал-большевике Иванове-Скуратове, известном своей стукаческо-предательской ролью в деле В. Осипова и др. националистов*, Данлоп ни словом не упоминает этих фактов и замалчивает симптоматический выбор Ивановым зловещего псевдонима, что свидетельствует о симпатии последнего к Ивану Грозному и причине. Что касается Солдатова, человека колоссального мужества и нравственной привлекательности, мученика лагерей 70-х гг., то все же непонятно как можно превратить в националиста со-автора "Программы Демократического движения Советского Союза" с ее столь ярко выраженным русофобством. И сам Данлоп цитирует "Вече", говорящее, что выход на поверхность русского национализма был отчасти вызван этой Программой, необходимостью ответить на содержащуюся в ней клевету на Россию (сс. 160—61). Очевидно, Данлоп просто не знает о роли Солдатова в составлении этой программы.

Не будучи литературоведом, не берусь судить о литературных суждениях Данлопа. Но все же меня удивляет его заявление, что после эмиграции Войновича "Распутин остается, возможно, самым талантливым прозаиком современного СССР" (с. 118). Да разве можно сравнивать этих двух писателей? Их жанры так же далеки друг от друга, как творчество Зощенко от Солженицына. Удивляет меня также, что Данлоп, анализируя "Прощание с Матерой", справедливо придавая символическое значение целому ряду моментов в этой повести, в частности самому названию, не заметил символизма

* См. напр. М. Хейфец. Русский патриот В. Осипов. "Континент" № 127, 128.

в принесении жизнью старух, да и всего села с островом, в жертву именно электрификации, а не какому-нибудь другому аспекту советского "прогресса". Ведь Ленин сказал, что коммунизм — это советская власть + электрификация, то есть тут явная символика уничтожения советской властью миллионов людей и национальной культуры во имя молоха-идола коммунизма.

И все же, несмотря на эти недостатки-недоработки (а в какой книге их нет?), несмотря на досадные проявления субъективизма и пристрастности, ослабляющие эффект и книги в целом и убедительнейшей аргументации автора в последних ее двух главах, книга эта ценна, полезна и с выводами автора здравомыслящему человеку невозможно не согласиться.

Выводы эти очень просты. О некоторых из них мы уже говорили, а именно:

русский национализм — это прежде всего защитительно-охранительный национализм, борющийся за национальное выживание в условиях оккупации чуждой, извне принесенной враждебной идеологией;

в условиях демографической катастрофы и сокращения доли русских в составе СССР, националисты все более склоняются к собиранию русских домов из всех соседних республик и к отделению от тех, что наиболее чужды по культуре и религии. Следовательно, значительная часть русских националистов не имеет агрессивных намерений.

Поскольку возрождающийся русский национализм — плод отталкивания от марксизма, плод его банкротства, то соки свои он ищет и обретает в до-марксистском и вне-марксистском русском ду-

ховном и культурном наследстве, то есть во всевозможных разновидностях славянофильства, почвенничества, в духовной культуре Православия, в христианстве с его этикой любви и терпимости к ближнему и дальнему.

Наряду с этим, и правительственные круги сознают банкротство марксизма и, чтобы как-то сохранить ту систему, которая их обеспечивает, пытаются оживить государственную идеологию, впрыскивая в нее инъекции официозного национализма, флиртуя с теми же почвенничеством и славянофильством, однако, стараясь "очищать" их от религиозно-православных учений и влияний*. Для такого секулярного национализма с марксистской окраской, то есть фактически для *национал-социализма*, гораздо больше подходит учение национального эгоизма и империализма Данилевского, то есть то, что у нас принято называть русским панславизмом, который строится на идее национального могущества и права сильных.

Данлоп правильно подчеркивает, что даже эта наиболее непривлекательная версия русского национализма не грозит той глобальностью империализма, который заложен в идеологии коммунизма. Более того, весь опыт русского национализма показывает, что фашизм-нацизм в чистом виде не прививался к нему из-за органического переплетения русских национальных течений с Православием, не допускающим расизма.

Данлоп вполне логично рассуждает, что в условиях банкротства коммунизма и дряхления его аппарата не исключен переворот, которого скорее

* Линия "Молодой гвардии", "Нашего современника", части руководства комсомола; попытки национал-большевизма (Антонов в "Вече") слить ленинизм со славянофильством.

всего можно ожидать со стороны военных, как единственной "недряхлой" вооруженной и организованной силы в стране. Военные же давно пытаются играть на патриотизме и национализме. Следовательно, не исключено, что на смену коммунизму придет какая-то смесь национализма с социализмом в идеологически-разводненной и более прагматической разновидности последнего.

Многое зависит от Запада, считает Данлоп. При многоликости русского национализма даже властвующим националистам скорее всего придется считаться с настроениями и чаяниями христианских почвенников-славянофилов. От Запада, от его отношения к русскому национализму зависит, будут ли эти христианско-национальные или либерально-национальные силы видеть в Западе своих друзей или врагов. В первом случае приход к власти любой комбинации националистов обещает путь к подлинной разрядке и более нормальным международным отношениям. В последнем случае либеральные и христианские националисты будут брошены в лагерь власти, соединятся с нею и дадут ей опору, как это уже было во Второй мировой войне в результате антирусской политики Гитлера.

В виде конкретных мер Данлоп предлагает решительное изменение тона западной, в частности американской, пропаганды (в том числе радиопередач) на СССР. Эта пропаганда должна явно отражать сочувствие к русским национально-патриотическим течениям, должна содействовать им в пробуждении народной исторической памяти, в воссоздании русской национально-духовной культуры. Одним из первых доказательств перемены отношения к России должно быть включение русского народа в число "наций, плененных коммунизмом", официальный список которых был утвержден и

торжественно объявлен во времена президента Эйзенхауэра, с ежегодным торжественным публичным его повторением. Парадоксально, что список этот включает такие придуманные гитлеровским идеологом Розенбергом "нации", как Казакия и Идель-Урал (то есть по-тюркски, Волга-Урал), но не включает русских!

И действительно, диву даешься, как такая простая логика до сих пор не доходит до американских и прочих западных творцов восточной политики. Ведь даже если допустить, что Данлоп сильно переоценивает положительные стороны русского национализма и недооценивает отрицательные, ребенку должно быть понятно, что если ты хочешь мира, хочешь избежать глобальных катастроф, то надо не раздражать, а по мере возможности привлекать на свою сторону 140-миллионный народ, являющийся сердцевиной той сверхдержавы, которой ты наиболее опасаясь. Следовательно, надо культивировать хорошие отношения с наиболее явными идейными течениями этого народа, завоевывать их доверие, а не встречать враждебностью, окриками, оскорблениями всякое проявление русского национального самосознания!

Главная ценность труда профессора Данлопа "Многоликость современного русского национализма", по нашему мнению, именно в том, что он логически ведет западного читателя к таким выводам и заключениям.



Врангель и кронштадтцы

Поздней зимой 1921 года измученные гражданской войной, "военным коммунизмом" и большевистским террором крестьяне и рабочие во многих областях России готовились к сопротивлению власти или уже активно участвовали в нем. На Дальнем Востоке и в Сибири, на Кубани и на Кавказе, на Украине, в Белоруссии и Поволжье, а также в некоторых крупнейших городах страны народ все чаще переходил к активному сопротивлению диктатуре коммунистов. Особенно неспокойно было в Тамбовской губернии и в Западной Сибири, где восстали десятки тысяч крестьян, и в Петрограде, где недовольство рабочих стало активно проявляться в разрастающемся стачечном движении. В конце февраля вспыхнуло и наиболее опасное для власти Кронштадтское восстание.

Не исчезла в то время для коммунистов и опасность вооруженной белой борьбы. Потерпевшие поражение войска армий адмирала Колчака и вооруженные силы атамана Семенова продолжали существовать на Дальнем Востоке, а генералу Врангелю удалось в ноябре 1920 года вывезти за границу почти всю свою армию, благодаря хорошо подготовленной и блестяще проведенной эвакуа-

ции из крымских портов. Весной 1921 года Русская армия Врангеля продолжала быть грозной, дисциплинированной силой, отчасти сохранившей свое вооружение, в любое время готовой возобновить борьбу против большевиков. Войска Врангеля были сосредоточены в районе Черноморских проливов: в лагерях около Чаталджи и на острове Лемнос находилось около 30 000 казаков (главным образом донцов и кубанцев) под командованием генералов Абрамова и Фостикова, а на Галлиполийском полуострове около 27 000 солдат и офицеров корниловских, марковских, дроздовских и алексеевских частей, под командованием генерала Кутепова.

Несмотря на угрозы и давление французских властей, прилагавших немало усилий, чтобы побудить солдат и офицеров либо вернуться в Советскую Россию, либо, перейдя на беженское положение, разъехаться на все четыре стороны, отсеивались из армии лишь наиболее малодушные, что в конечном счете укрепляло ее боевой дух.

Быстрого распыления Русской армии желали не только французы или большевики. Против армии и ее командования разрасталась широкая кампания левых политических кругов русской эмиграции. Особенно рьяно участвовал в ней лидер левого крыла кадетской партии и бывший министр Временного правительства П. Н. Милюков, утверждавший в печати, что в военных лагерях людей держат силой, под страхом жестоких наказаний (это не соответствовало действительности), и что вооруженная борьба извне против коммунистической власти должна уступить место внутренней и политической борьбе — что, бесспорно, больше соответствовало международной политической обстановке.

В это напряженное время, когда сильно пошатну-

лась власть большевиков (спасенная лишь сочетанием ленинского нэпа с бесчеловечным террором чекистов и карательных отрядов, состоялась неудавшаяся попытка установления сотрудничества между наиболее перспективным политически и наиболее мощным в военном плане центрами сопротивления большевизму. Попытку эту отчасти освещают публикуемые ниже документы. Первый из них — как бы предисловие к теме — письмо видного русского политического деятеля А. И. Гучкова генералу П. Н. Врангелю. Как и остальные семь писем, оно хранится в архиве Гуверовского Института о Войне, Революции и Мире (Станфорд, Калифорния, США), Личный Архив Врангеля, папка № 36. Документы эти печатаются с любезного разрешения заведующего Архивом.

I

Париж, 8-го марта 1921 г.

Глубокоуважаемый барон
Петр Николаевич!

События, разыгравшиеся в Кронштадте и Петрограде, Вам известны¹. Но не вполне ясен характер их. Поскольку можно судить, мы имеем дело с движением стихийным и диким, имеющим своим источником общее обнищание России, захватившее и красную армию. Возможно, что среди руководителей есть также чистые и патриотические элементы. Но сомнительно, чтобы сила была в их руках и чтобы они были в состоянии после свержения большевиков начать строительство. Таким образом, самое большое, что можно ожидать от этого движения,

это — разрушение большевистской власти. Затем наступит период анархии, очень болезненный для страны и населения, но, к сожалению неизбежный как этап к оздоровлению.

В интересах как этого революционного движения, так и репутации "белого" дела необходимо, чтобы Вы и мы, Ваши единомышленники, не отождествлялись с руководителями движения. Тот демократический, рабочий, солдатско-матросский характер, какой носит Кронштадтская и Петроградская революция, должен быть сохранен без примеси белогвардейского и буржуазного элемента: только в таком случае это движение окажет то разлагающее влияние на оставшиеся еще в руках советской власти части красной армии, котор(ое) окончательно подточит устои этой власти. Всякая чужеродная примесь способна лишь повредить делу. Само собой разумеется, однако, что продовольственная помощь и помощь всяким иным снабжением должна быть оказана в самой широкой форме как восставшим, так и населению.

Здесьние с.-р. и учредилорцы² пытаются использовать это движение в своих партийных интересах, давая понять, что оно сделано их людьми. Но этому мало кто верит, и на мой взгляд, для этих господ мало шансов примазаться к этому движению.

Здесьние русские финансовые и торгово-промышленные круги³ очень заинтересовались этими событиями и, повидимому, готовы пойти на довольно значительные жертвы. Заинтересовалось также французское правительство и французские торгово-промышленные круги, связанные с Россией. Конечно, широкую и достаточную помощь может оказать только Америка, поэтому вспомнив, что я когда-то в 1919 г. вел переговоры с американ-

ским продовольственным "диктатором" Хувером⁴, ныне входящим в состав кабинета Хардинга⁵, я послал ему телеграмму с просьбой о помощи, а также президенту Хардингу, статс-секретарю Хьюзу и нашему посланнику Б. А. Бахметьеву⁶. Копии этих телеграмм посылаю Вам.

Примите уверение в совершенном уважении и преданности.

А. Гучков⁷.

10/III—1921

Сегодня едет в К-ль Н. Н. Львов⁸, который и передаст Вам настоящее письмо. Успею приложить к нему некоторые материалы, только что мной полученные. Риск, что Кронштадтское и Петроградское восстание будет подавлено, все еще существует. Но что неудержимо будет продолжаться, это — процесс разложения большевистской центральной власти и красной армии и расщивание по всем швам советской империи. Надо ждать ряд восстаний на окраинах — Кавказе, Украине, на Дону, на Д. Востоке, в Сибири⁹. Боже, какую роль могла бы сыграть ячейка государственной власти и горсть настоящей армии! Хочется верить, что оживится у союзников интерес к Вам и Вашей армии¹⁰.

Искренно преданный

А. Гучков

Главнокомандующий
Русской Армией
31 марта 1921 года
Яхта "Лукулл"^{1 1}

Профессору Д. Гримму^{1 2}

Милостивый Государь
Давид Давидович,

Внимательно читая Вашу газету^{1 3}, со дня ее основания, я всегда, с большим удовлетворением, констатировал неизменно сочувственное отношение ко всем русским организациям, ведущим вооруженную борьбу с поработителями нашей Родины, и, в частности, к Русской Армии во главе коей я имею честь стоять последний год.

Тяжелые испытания, выпавшие на долю Русской Армии, явились вместе с тем предлогом для некоторой части русской зарубежной общественности пересмотреть свою позицию в отношении продолжения вооруженной борьбы с Советской властью.

Как всегда, истинные друзья познаются только в несчастьи.

Ваша газета, как была, так и осталась верным другом Русской Армии, болея ее несчастьями и радуясь каждому проблеску в ее нынешней тяжелой доле.

События в Кронштадте дали было всем русским людям яркую надежду на возможность видеть нашу измученную Родину освобожденной от нестерпимого гнета, но судьбе видно угодно продлить еще наши испытания.

В результате неудачи кронштадтского восстания более 10 тысяч русских людей^{1 4} оказались выбро-

шенными за рубеж и обречены на несомненно тяжелое существование на чужбине.

Мне не известны настроения и чаяния этой новой группы русских людей, пытавшихся вооруженной силой опрокинуть ненавистную Советскую власть.

Я хотел бы только верить, что путем всесторонней поддержки русским людям удастся оберечь своих братьев в Финляндии от морального разложения и тем сберечь их для неизбежной, в недалеком будущем, борьбы с Советской властью, в широком масштабе, имеющем своим основанием не партийную рознь, а обще-национальный единый порыв.

Я был бы рад получить от Вас, как ближайшего очевидца, уведомление о впечатлениях произведенных на Вас кронштадтцами, прибывшими в Финляндию, их доминирующие настроения и, в частности, представляют ли они сколько-нибудь облик сплоченной войсковой единицы, или же это аморфная масса, не имеющая определенной физиономии и представляющая собой сборище случайных людей.

Пользуюсь случаем засвидетельствовать Вам мое искреннее уважение и преданность.

/Без подписи./

III

Копия*.
Форт Ино¹⁵, 31—5.

Милостивый Государь Господин Профессор,

Три с половиной года Россия истекает кровью от коммунистического ига. Отдельные выступления,

* Письмо Д. Д. Гримму.

как показал опыт, не дают результатов для свержения коммунистов и легко подавляются ими. Для спасения страны от насилия, произвола и полного разорения, а также для укрепления завоеваний мартовской революции 1917 года — необходимо скорейшее свержение коммунистов. Являясь сторонниками такового, с своей стороны считаем необходимым объединиться со всеми противобольшевицскими группами на следующих условиях:

1) Владение землей должно быть закреплено за крестьянами.

2) Свобода профессиональных союзов для рабочих.

3) Признание самостоятельности окраинных государств.

4) В виду того, что опыт кронштадтского восстания показал, что лозунг "власть советам, а не партиям" оказался удобным политическим маневром, т. к. вызвал раскол в среде коммунистов и вообще оказался популярным в массах и способным объединить все партии (что необходимо в борьбе с большевиками), мы считаем необходимым вести дальнейшую работу в соведпии с этим лозунгом впредь до победы над коммунистами.

5) Принимая указания и пользуясь информацией, считаем необходимым предоставить нам свободу действий и в смысле активного выступления в Петрограде или другом месте, если потребуется от обстоятельств и явится возможность.

6) Хотя внешняя форма одежды вопрос не существенный, но в виду того, что путем трехлетней агитации коммунисты привили неосознательной массе взгляд на всех носящих погоны, как на своих истонных врагов, мы считаем необходимым вести борьбу без наплечных погон.

Выставление вышеупомянутых пунктов, не пред-

решая их детальной разработки, диктуется не принадлежностью кронштадтцев к определенной политической партии, а опытом, вынесенным из трехлетней борьбы с коммунистами.

Бывш. председатель Кронштадтского революционного комитета П е т р и ч е н к о¹⁶, командир бригады лагеря на форте Ино И в а н о в, командир пехотного полка П. К р а с н е к о в, бывш. командир линейного корабля "Петропавловск" С. Х р и с т о ф о р о в, командир морского батальона К у р в о и з ь е /так! — Н. Р./.

Господину профессору Д. Д. Г р и м м у.

IV

Копия.

Ваше Превосходительство,

Будучи ознакомлены с содержанием письма Вашего на имя профессора Гримма¹⁷, мы с удовольствием готовы ответить на затронутые в /нем/ вопросы. Кронштадтское восстание единственно стремилось к свержению коммунистической партии, не будучи ограничено никакими партийными программами или связью с противобольшевистскими организациями, не имело в виду навязывать остальному населению России какой-либо формы государственного управления, считая, что по свержению коммунистов, русский народ сам свободно решит вопрос о том или ином способе управления государством.

Лозунг "вся власть советам, а не партиям" был

выдвинут в целях объединения всех противобольшевицких партий и народных масс. Политическое значение этого лозунга очень важно, т. к. он вырывает из рук коммунистов орудие, которым они ловко прикрываются для проведения коммунистических идей в якобы "народных советах". Опыт восстания как нельзя лучше показал целесообразность его, вызвав уход части рядовых коммунистов из партии и встретив широкий отклик среди рабочего и крестьянского населения.

Трехлетняя агитация большевиков настолько опошшила в затемненном сознании народа всякие другие лозунги, что не дало возможности успешно их использовать для борьбы с коммунистами. Очутившись на финляндской территории, мы попрежнему желаем продолжать активную борьбу для свержения коммунистического и чекаского / (так! — Н. Р./ ига. Находящиеся в лагерях солдаты представляют главным образом части артиллеристов с кронштадтских фортов и пехотного 560-го полка и рабочеконвойного отряда моряков из пехотинцев. В силу установившегося в красной армии комплектования населением других территорий, кронштадтский гарнизон на три четверти уроженцы Украины, давнишние противники большевиков, ранее служившие в добровольческих армиях. Самый молодой срок — кубанцы, ранее служившие у Деникина. Старых унтер-офицеров и вообще офицерского пехотного состава очень мало. Не бывших в боях почти нет.

Застрельщиками и инициаторами восстания были матросы, но их, по обстоятельствам падения Кронштадта, пришло сравнительно немного. Отъезд в Совпедию части матросов¹⁸ удалил из лагерей наиболее беспокойные и невыдержанные элемен-

ты, остальные представляют из себя объединенную во всех отношениях массу.

Будучи сторонниками активной борьбы с коммунистами, кронштадтцы не склонны отвергать всякие возможные способы ведения таковой, будь то интервенция, приход русских добровольческих армий или восстание внутри России, лишь бы скорее было свергнуто иго коммунистов. В политическом и моральном отношении наибольший успех и значение имело бы внутреннее восстание.

По свержению коммунистов считаем необходимым введение военной диктатуры для борьбы с возможной анархией и для обеспечения народу свободного волеизволения в смысле государственного устройства.

В настоящее время мы озабочены формированием надежной воинской части, которая в случае благоприятных обстоятельств, могла бы составить ядро для успешного развития борьбы с большевиками.

Считая Вас бескорыстным борцом за освобождение нашей дорогой родины, шлем привет Вам и доблестной русской армии и верим вместе с Вами, что час освобождения истрадавшейся России близок.

Бывш. председатель Кронштадтского революционного комитета П е т р и ч е н к о, командир бригады лагеря на форте Ино Ив. И в а н о в, командир пехотного полка К р а с н е к о в, быв. командир лин. кораб. "Петропавловск" Х р и с т о ф о р о в, командир морского батальона К у в а з и е (так! — Н. Р.).

31 мая 1921 г.
Генералу Врангелю.

Форт Ино.

Главнокомандующий
Русской Армией
17 августа 1921 г.

№ 8589
г. Константинополь.

Д. Д. Гримму.
Секр.

Милостивый Государь,
Давид Давидович,

Прошу Вас принять мою искреннюю признательность за Ваше письмо и заключающую в нем ориентировку¹⁹. Все соображения Ваши, изложенные в указанном письме мною признаются совершенно правильными.

Позицию, занятую Вами в вопросе с кронштадтцами, я считаю вполне правильной, равно как и шаги, предпринятые Вами в их отношении.

Безусловно, выдвинутые представителями кронштадтцев положения могут носить лишь чисто временный и тактический характер. В данное время, при нынешней фазе борьбы, я считаю, что мы не можем отвергать ничьего содействия, продиктованного желанием спасти нашу Родину, и способствующего скорейшему свержению большевизма.

В частности, пункты I и II, выставленные кронштадтцами²⁰, мною всецело разделяются. Сама жизнь и экономическая связь центральной России с ее окраинами подскажет правильное решение пункта III о будущих взаимоотношениях центрального российского правительства и окраин.

Пункты V и VI носят чисто технический характер и приемлемы, поскольку находят себе основание в местных условиях борьбы.

Что касается лозунга "власть советам, а не пар-

тиям” выдвинутого в пункте IV, то я неуклонно стоял на той точке зрения, что ни одна политическая группа, даже сколь бы значительна и сильна она ни была, не может предопределять форм государственного устройства России, *освобождаемой* от большевиков. Таковая форма может выявиться лишь путем свободного волеизволения народа, по освобождении его от красного ига. С другой стороны лозунг этот приемлем, как *прием борьбы*, если он сможет найти себе отклик в массе населения.

Я принимаю все меры к тому, чтобы разрешить в желаемом для Вас смысле вопрос о материальных средствах и мною переданы генералу Миллеру²¹ указания о приискании в Париже требуемой для Вашей работы суммы. О положении Русской Армии и о вопросах налаживания/ связи с Вами, будет Вам сообщено в отдельном письме начальника моего Штаба²².

Прошу принять уверения в совершенном моем к Вам уважении.

п/п Врангель.

VI

Копия.

Главнокомандующий

Русской Армией

18 августа 1921

№ 8600

г. Константинополь

Его Превосходительству

Д. Д. Гримму.

Милостивый Государь

Давид Давидович,

Мною получены пересланные Вами письма г. Петриченко на мое и Ваше имя²³.

Прошу Вас не отказать передать г. Петриченко от моего имени следующее:

Я весьма признателен ему и группе его единомышленников за приветствие и повторяю, что не мыслю скорого освобождения России из-под коммунистического ига иначе, как только в полном единении всех людей, без различия партийной окраски, любящих Россию и отдающих свою жизнь и силы служению ей.

Пункты, выставленные им в письме на Ваше имя, признаются мною или безусловно, как вопросы земельный и рабочий, в коих мой взгляд совпадает с точкой зрения г. Петриченко, или же как тактический прием борьбы, диктуемый соображениями целесообразности (пункт о свободе действий и вопрос о ношении погон).

Что касается "окраинного" вопроса, то я глубоко верю, что сама жизнь и столетиями установившиеся политические и экономические взаимоотношения подскажут единственно правильное его решение.

Наконец, что касается лозунга "власть советам, а не партии", то я всегда стоял на той точке зрения, что ни одна политическая группа, будь то Рейхенгалль²⁴ или Прага²⁵, не может предопределять форм государственного строения будущей России. Право это принадлежит только народу, освобожденному от большевизма, и его свободному волеизъявлению, перед которым мы все должны будем преклониться, но, как тактический прием борьбы, лозунг этот приемлем, поскольку он будет целесообразен и найдет себе отклик в народной массе.

Связь с г. Петриченко я буду держать через Вас.

Прошу Вас принять уверение в отличном моем к Вам уважении.

п/п Врангель

Профессор Д. Д. Гримм
 4-го октября 1921 г.
 г. Гельсингфорс —
 № 35 —

Милостивый Государь
 Петр Николаевич,

Со времени отправки мною к Вам писем, ответом на которые служит Ваше письмо от 18 августа с/г № 8589²⁶, произошли весьма прискорбные перемены в общей обстановке, из которой я исходил в то время, когда имел честь писать Вам.

Прежде всего работа с кронштадтцами потерпела фиаско. Эту работу, как я докладывал Вам в своем письме от 27-го июня²⁷, предполагалось вести в двойном направлении: с одной стороны, имелась в виду отправка в Петроград нескольких матросов, особо рекомендованных Петриченко и избранных им, которые должны были разыскать родственные им элементы на месте, установить с ними постоянные сношения, дать обо всем этом возможно исчерпывающую информацию и, в связи с этим, организовать ячейки для активных выступлений; характер активных выступлений должен был зависеть от местных условий. Эта работа формально должна была делаться от имени Петриченко, фактически вся работа должна была проходить через руки лейтенанта Шмидта, уполномоченного мною на это и долженствовавшего участвовать во всех решениях. С другой стороны, имелось в виду из оставшихся в лагере надежных элементов создать боевую группу. В этих видах начато было формирование одного пехотного полка и одного морского батальона

под командой двух офицеров, состоявших ближайшими сотрудниками Петриченко. Однако, от посылки матросов в Петроград пришлось отказаться. Надо сказать, что еще до моего сговора с Петриченко, разными организациями, существующими здесь в Финляндии и работающими независимо друг от друга, а в том числе и нашей, были отправлены матросы в Петроград — отчасти с целью разведки, отчасти для установления связи с имевшимися в Петрограде активистскими организациями. В Петрограде эти матросы соединились и образовали как бы одну общую ячейку. Они передавали друг другу, кто, кем, к кому и с какой целью отправлен; среди них оказались предатели, ставшие в скором времени прямыми провокаторами. Они стали выдавать своих товарищей и указывать лица, от которых и к которым они были посланы. Это было для них тем легче, что до отправки в Петроград из Финляндии они многих из курьеров, несущих разведочную службу, видели.

В результате начались усиленные аресты среди петроградских рабочих и интеллигентов; дело было облегчено чекистам тем, что около того же времени, когда началась провокационная деятельность первых матросов-предателей — Паськова и Комарова²⁸, в Тверской губернии, в имении, за антисоветскую агитацию был арестован Таганцев²⁹, игравший в последние годы видную роль в уцелевших в Петрограде активистских организациях и связанный, между прочим, с артиллерийским офицером Германом³⁰, который служил в финском Генеральном штабе курьером и пал жертвой предательства матроса Паськова, которого он сам взял к себе из концентрационного лагеря. Герман был убит при переходе финской границы, причем у него были найдены письма и прокламации. Вся эта не-

приглядная картина выяснилась уже после того, как сговор с Петриченко состоялся. Продолжать пользоваться при таких условиях услугами матросов представлялось невозможным, т. к. стало слишком ясным, что на них полагаться нельзя. Стихийный характер восстания и отсутствие определенной идеологии у участников его дали себя знать. Расчет на то, что они, под влиянием всего пережитого в Кронштадте, настолько озлоблены против большевиков, что действительно готовы бороться с ними не на живот, а на смерть — не оправдался. Вместе с тем моральная неустойчивость и неразборчивость их выявилась во всю. К этому надо прибавить, что легкость и быстрота, с которой они превратились в провокаторов и предателей — лишила их не только всякого ореола в глазах родственных им элементов в Петрограде и в частности в глазах рабочих, но вызвала жгучую ненависть к ним среди этих самых рабочих. Таким образом, они в этом смысле потеряли ту ценность, которую они раньше представляли. Вместе с тем изложенный тяжелый опыт показал, что нельзя полагаться и на рекомендации Петриченко.

Что касается засим предполагавшегося использования кронштадтских матросов и солдат в качестве возможной боевой силы, то не говоря уже о том, что о таком использовании мог возникнуть вопрос только в будущем, следует отметить, что в этом отношении серьезной помехой послужило то обстоятельство, что финское правительство стало весьма широко давать разрешения от отпуска интернированных — как в одиночку, так и целыми партиями, на сельскохозяйственные и иные работы. В результате число интернированных, которые все были сведены в один концентрационный лагерь под Выборгом стало быстро падать и в скором вре-

мении дошло до 400 человек, из них еще часть женщин и детей. Все остальные — около 2.500 человек ушли на работы, главным образом к местным крестьянам. Поддерживать среди них дух дисциплины и повиновения своему будущему начальству становилось невозможным. Что касается той части кронштадтцев, из которых в бытность их в лагере была сделана попытка создать боевую группу, то они вместе со своими офицерами тоже были отправлены на работы, именно на работы общественные по осушке болот. Командный состав при этом рассчитывал на то, что и в новых условиях он будет стремиться поддерживать в этих частях военный дух и дисциплину; насколько это осуществляется — трудно сказать. Таким образом, в этом отношении питать больших надежд не приходится и, чем больше проходит времени, тем, конечно, шансов меньше. В довершение остается прибавить, что среди оставшихся в лагере начались раздоры, образовались две враждующих группы, одна — которая по-прежнему группируется около Петриченко, в нее входит часть офицерства и почти все оставшиеся матросы и солдаты, и другая — почти исключительно офицерская. Между обеими группами идет перебранка, они интригуют друг против друга; словом, признаки разложения сказываются очень определенно. Итак, использовать при сложившихся обстоятельствах матросов для подготовительной работы разведочной и активистской, где требуются определенные индивидуальные свойства и прежде всего доверие к человеку — оказалось немыслимо.

Обо всем этом, я, пользуясь теми способами сношения с Вами, которые находились в моем распоряжении, известил Корганова и Гучкова, которых просил, в свою очередь поставить об этом в из-

вестность Вас. В связи со всем изложенным я решил не доводить до сведения Петриченко о Вашем письме³¹, в котором Вы поручаете мне дать ему ответ на сформулированные им основные начала его работы, т. к. это письмо исходит из таких предположений, которые в настоящее время отпали — в частности лозунг "вся власть советам, а не партиям", во всяком случае на время, а, вероятнее, вообще, потерял ту притягательную для массы силу, считаясь с которой, можно было мириться с ним, как с временным тактическим приемом в борьбе с большевиками.

Со своей стороны, учитывая все обстоятельства, я решил изменить первоначальный план: совсем отказаться от обманувшего надежды матросского элемента и впредь опираться для сношения с Петроградом и тамошними организациями исключительно на офицеров. В этом отношении удалось заручиться тремя офицерами — двумя подполковниками, окончившими Михайловскую артиллерийскую академию: Шведовым (он же Вячеславский)³² и Ивановым³³, которые до весны нынешнего года находились в Петрограде, участвовали там в активистских военных организациях; затем, когда начались первые аресты — перешли границу и изъявили готовность по очереди периодически ходить в Петроград с тем, чтобы восстановить связь с уцелевшими там военными ячейками и возобновить прерванную арестами активную работу. Третий из них, лейтенант Лебедев³⁴, живущий в Финляндии, вызвался отправиться в Петроград, с тем, чтобы там остаться и заняться самостоятельно организационной работой. Была составлена точная схема работы и было установлено с какими организациями на месте должен был иметь дело каждый из этих офицеров. Независимо от этого сохранялась прежняя

чисто информационная курьерская связь особых лиц. Дело представлялось тем более прочно налаженным, что здешнему руководителю лейтенанту Шмидту удалось установить самые дружеские отношения с местными финскими чинами и заведывающими делами разведки, которые оказывали ему весьма ценные услуги по пропуску наших курьеров.

К несчастью и эта комбинация, столь хорошо налаженная, тоже не удалась и подполковник Шведов, и лейтенант Лебедев попали в Петрограде в засаду и погибли. Это тем более тяжелый удар, что оба должны были быть не простыми курьерами, а руководителями и заменить их сейчас некем. Третий, подполковник Иванов, находится еще здесь. Он желал немедленно после гибели Шведова отправиться и мною задержан здесь, т. к. его, недавно только перебежавшего из Совпедии слишком многие там знают и при той слежке, которая производится в настоящее время в Петрограде, он рисковал лишь своим походом увеличить число жертв еще одной, без всякой пользы для дела. С тех пор появилось в красных газетах известное сообщение о раскрытом в Петрограде заговоре и список 61 расстрелянных. Самое сообщение, несмотря на ряд фактических погрешностей, все же устанавливает ряд фактов, знакомство с которыми свидетельствует о том, что некоторые из участников заговора дали весьма полные показания и раскрыли многие подробности. Вместе с тем в списке расстрелянных значится целый ряд лиц, несомненно принадлежавших к существовавшим в Петрограде активистским организациям. Насколько отдельные, не связанные между собой ячейки уцелели — сейчас нельзя сказать, но как бы там ни было, дабы не подвести эти сохранившиеся ос-

татки, необходимо временно соблюдать большую осторожность и на некоторое время приостановить всякую деятельность пока бдительность большевистского сыска не будет несколько усыплена.

Из всего вышеизложенного вытекает, что те конкретные сметные предположения, которые были мною доставлены Гучкову сейчас стали беспредметными за отпадением тех предположений, которые были положены в основу их. Возможно ли будет возобновить работу в будущем зависит от того, найдутся ли на это средства. Мое обращение в Париж к Гирсу³⁵, по дошедшим до меня сведениям, по недостатку средств отклонено, конечно, не исключается возможность переправки нужных людей в Петроград, таковая, при сложившихся добрых отношениях с надлежащими финскими властями, при соблюдении необходимой осторожности, вполне возможна — несмотря на то, что наша работа все более и более затрудняется благодаря расширению большевистского сыска в Финляндии, которым руководят присланные сюда чекисты, один из которых состоит даже при большевистской миссии в Гельсингфорсе.

Прошу принять уверение в глубоком моем уважении и искренней преданности.

Д. Гримм.

Расшифровал ротмистр А с м о л о в.

4 декабря

378/с

г. Константинополь Его Прев-ству Д. Д. Grimm.
Российское Посольство

Глубокоуважаемый Давид Давидович,

Получил Ваше письмо от 4-го октября с. г. за № 35 и приношу Вам глубокую благодарность за столь подробную и интересную информацию.

Я вполне присоединяюсь к Вашему решению не доводить до сведения Петриченко содержание моего письма, утратившего, при изменившихся условиях, свое прежнее значение и смысл.

Сообщение Ваше о состоянии и настроении русских антибольшевистских элементов в Финляндии еще более убеждает меня в том, что сохранившиеся в Галлиполи и на Лемносе кадры Русской Армии являются, если не единственной, то, во всяком случае, главнейшей реальной противобольшевистской силой.

Год тяжелых нравственных испытаний и физических лишений не прошел для Армии бесследно. Армия очистилась от неустойчивых элементов, прочно спаялась добровольным подчинением строгой дисциплине, сберегла себя как воинскую организацию и воспитала в себе, наряду с этим, небывалую нравственную мощь.

Вопрос о расселении Армии в Балканских странах, равнозначный ее дальнейшему длительному сохранению, ныне разрешен в благоприятном смысле и переброска войск, надо думать, закончится полностью в текущем же месяце³⁶.

Условия рассредоточения контингентов Армии

в славянских странах таковы, что при наступлении благоприятного времени, Армия может вновь образовать единое мощное целое и пополнить свои ряды всеми, кто по тем или иным причинам должен был покинуть Армию.

Близость расположения Армии к границам России еще более увеличивает ее ценность.

Как ни безрадостны сведения, сообщенные Вами, но они чрезвычайно важны для уяснения общего положения и я усердно прошу Вас не оставлять меня и впредь своими информациями.

Прошу Вас, глубокоуважаемый Давид Давидович, принять уверение в искреннем моем уважении и преданности.

П. Врангель.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Восстание гарнизона и моряков Кронштадта и прилегающих фортов вписывается в волнения, широко охватившие рабочие районы Петрограда с конца 1920 г. Во второй половине февраля 1921 г. рабочие волнения и забастовки распространились на главные промышленные предприятия бывшей столицы, например Трубочный, Балтийский и Путиловский заводы, или Адмиралтейскую верфь.

26 февраля команды линкеров "Севастополь" и "Петропавловск" решили послать делегации к бастующим петроградским рабочим, а 28-го приняли резолюцию с требованием свободной деятельности для всех социалистических партий, упразднения комиссаров и политотделов, перевыборов в советы и упразднения мер, стесняющих труд крестьян, ремесленников и мелких торговцев. 1 марта эти требования были приняты уже всем кронштадтским гарнизоном, а на следующий день — создан Временный революционный комитет под командованием матроса С. М. Петриченко. 3-го марта возник штаб обороны крепости.

Военные действия против 15 000 защитников Кронштадта были поручены М. Н. Тухачевскому и начались (неуспеш-

но для красных) 7 марта. Постепенно численность войск, осаждавших крепость, достигла 50 000 человек. 17 марта красным удалось штурмом по льду ворваться в крепость, и на следующий день восстание было окончательно подавлено. Части кронштадтцев удалось бежать в Финляндию по замерзшему Финскому заливу. Многие из захваченных защитников крепости были зверски убиты на месте курсантов и чекистами. В случае неудачи штурма красное командование готовило атаку на Кронштадт отравляющими газами.

2. Учредилловцы — бывшие депутаты Всероссийского учредительного собрания, 6 (19) января 1918 года разогнанного большевиками. В своем большинстве они принадлежали к социалистическим партиям.

3. В Париже организовался "Союз торговли и промышленности", под председательством Н. А. Р о с т о в ц е в а. В него вошли бывшие российские финансисты и промышленники, некоторые из которых и за границей располагали значительными средствами. Союз стоял на умеренно консервативной политической платформе.

4. Г. К. Г у в е р (1874—1964) в 1919—1923 гг. возглавлял Американскую административную помощь (АРА), спасшую от голодной смерти сотни тысяч человек в России. В 1921—1928 гг. Гувер — министр торговли, в 1929—1933 гг. — президент США (республиканец).

5. У. Г а р д и н г (1865—1923) был президентом США с 1921 по 1923 г. (республиканец).

6. Б. А. Б а х м е т ь е в был российским послом в США. В его распоряжении находились значительные средства, до Октябрьского переворота принадлежавшие русскому государству. Отчасти он их использовал для помощи русским беженцам и для поддержки различных русских общественных организаций за рубежом.

7. Александр Иванович Г у ч к о в (1862—1936) — видный русский политический деятель. Лидер партии октябристов, он стал одним из вдохновителей Прогрессивного блока в военное время и активно участвовал в подготовке государственного переворота в России. В марте-мае 1917 г. он был военным министром во Временном правительстве. Он поддержал попытку ген. Корнилова установить в стране твердую власть (август 1917 г.), а затем неизменно старался чем мог помочь Белому движению. После эвакуации из Крыма войск ген. Врангеля, Гучков стремился добиться их

перевоза на русский Дальний Восток, лелея мечту о создании в Приморье и восточной Сибири "белого" государства — военного и политического полюса будущего возрождения России.

8. Н. Н. Л ь в о в (1867—1944) в 3-ей Думе был лидером умеренно правой партии прогрессистов. Активно участвуя в Белом движении на Юге России, в 1920 году он издавал в Крыму газету "Великая Россия", политически наиболее близкую ген. Врангелю и широко пропагандирующую его земельные и земские реформы. С апреля 1921 года Львов участвовал в "Русском совете", задуманном как своего рода правительство при главнокомандующем, и претендовавшим на преемственность российской государственной власти.

9. Действительно, 1921 год стал годом широких народных восстаний против власти большевиков.

10. Интерес "союзников" к Врангелю и его армии не только не оживился но, наоборот, они прилагали все более усилий, чтобы добиться ее скорой ликвидации. С этой целью французское местное командование сочло даже возможным вести совместно с представителями большевиков пропаганду за возвращение на родину, посылая большинство возвращенцев в лагерь или на смерть.

11. Письмо ген. Врангеля. После эвакуации из Крыма ген. Врангель поселился на яхте "Лукулл", стоявший в Константинопольской бухте. 15 октября 1921 г. на "Лукулл" налетел пароход "Адриа", принадлежавший обществу "Ллойд-Триестина", возвращавшийся из Батуми. Врангеля на борту случайно не оказалось, но на потонувшей яхте погибло два человека (и все личные вещи и документы главнокомандующего).

12. Давид Давидович Г р и м м был бывшим ректором Петроградского университета и членом ЦК кадетской партии. Позже он представлял в Финляндии ген. Врангеля.

13. Grimm редактировал газету "Новая Русская Жизнь", выходившую в Хельсинки.

14. В действительности в Финляндию бежало около 8 000 кронштадтцев, примерно половина общего числа участников восстания. Почти все были солдатами или матросами.

15. В форте Ино был устроен самый крупный лагерь для кронштадтцев. В нем содержалось до 3597 человек, среди которых было 10 женщин и 5 детей. Среди взрослых мужчин лишь 25 были гражданскими лицами.

16. В 1921 г. Степану Максимовичу Петриченко было около 30 лет. Он родился в украинской крестьянской семье, а с 1912 года служил во флоте. (В последнее время — корабельным писарем.) Петриченко был прекрасным оратором, умевшим увлекать матросов простыми и ясными словами, а также хорошим организатором. После разгрома восстания Петриченко жил в Финляндии. В 1945 году выдан финнами советским властям и погиб в концлагере год или два спустя.

17. См. документ II.

18. Обманутые обещанием полной амнистии, эти матросы были немедленно арестованы и поглощены зарождающейся системой ГУЛага.

19. Письмо Гримма Врангелю и приложенная к нему "ориентировка" здесь не публикуются.

20. См. документ III.

21. Ген. Евгений Карлович Миллер (1867—1937) с мая 1919 года был главнокомандующим белыми войсками Северной области. Эмигрировав в феврале 1920 г., он был назначен Врангелем военным представителем в Париже. В 1930 году, после похищения ген. Кутепова, Миллер возглавил Русский обще-воинский союз (РОВС) — созданную Врангелем организацию, объединившую большинство русских военных эмигрантов. 22 сентября 1937 г. ген. Миллер был похищен в Париже агентами НКВД.

22. Начальником штаба Врангеля был ген. П. Н. Шатилов (1881—1962).

23. См. документы III и IV.

24. В мае 1921 года в баварском городе Рейхенгалле собрался съезд правых монархистов, избравший "Высший монархический совет", возглавляемый бывшим членом Государственной Думы Н. Е. Марковым. Ген. Врангель, твердо стоявший на "непредрешенческой" позиции, весьма сдержанно относился к "рейхенгальцам", желающим восстановления в России самодержавной монархии.

25. В Праге обосновалась часть руководителей партии эсеров, во главе с В. М. Черновым. Там издавались эсеровский журнал "Революционная Россия" и еженедельник "Воля России".

26. Здесь ошибка: Врангель послал Гримму 17 августа письмо № 8589, а 18 августа — письмо № 8600.

27. Это письмо здесь не публикуется.

28. М. А. Комаров, бывший матрос линкора "Петро-

павловск", руководил в Петрограде "Объединенной организацией кронштадтских моряков", штаб которой был раскрыт чекистами в июне 1921 г.

29. Профессор географии Петроградского университета В. Н. Таганцев, бывший член "Национального центра", был арестован в августе 1921 г. и обвинен в руководстве "Петроградской боевой организацией", ведущей активную борьбу против советской власти в сотрудничестве с подпольной организацией кронштадтских моряков. 1 сентября 1921 г. в газете "Правда" было помещено сообщение о раскрытии антисоветского заговора и опубликован список расстрелянных (61 человек) по постановлению Петроградской губернской чрезвычайной комиссии. Среди расстрелянных была 26-летняя жена Таганцева, известные профессора Н. И. Лазаревский и М. М. Тихвинский, геолог В. М. Козловский, скульптор кн. С. А. Ухтомский. Но также крестьяне, рабочие и матросы. Среди расстрелянных было 16 женщин. Под № 30 можно было прочесть:

"Г у м и л е в Николай Степанович, 33 лет, б. дворянин, филолог, поэт, член коллегии "Изд-во Всемирная Литература", беспартийный, б. офицер. Участник Петроградской Боевой Организации, активно содействовал составлению прокламации контр-революционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, получал от организации деньги на технические надобности".

30. Ю. П. Герман входил в комитет "Петроградской боевой организации" (ПБО).

31. См. документ V.

32. Подполковник В. Г. Шведов состоял в комитете ПБО. Он был смелым и инициативным борцом, с успехом выступавшим с речами на заводских собраниях в Петрограде. При аресте он оказал вооруженное сопротивление и убил двух чекистов. Шведов был расстрелян среди 61 сподвижника Таганцева.

33. Подполковник П. П. Иванов, бывший участник белой борьбы у ген. Юденича, возглавлял в Петрограде подпольную офицерскую организацию.

34. Лейтенант П. В. Лебедев был одним из наиболее отважных руководителей ПБО. Он совершил 19 переходов через финско-советскую границу. Попад в ловушку чекистов, он отстреливался и убил одного из них. Лебедев также фигурирует в списке 61 расстрелянного.

35. М. Н. Г и р с был председателем "Совещания русских послов", игравшего в те годы значительную роль в общественно-политической жизни русской эмиграции.

36. С мая 1921 года началась эвакуация частей Русской армии из района Проливов в Югославию и Болгарию. Войска вывозились при сохранении своей внутренней организации, со штабами, обмундированием и, отчасти, оружием, под командованием своих начальников. В ряде случаев были предварительно заключены в балканских странах договоры, обеспечивающие работой в одном и том же месте весь состав полка или более мелкой воинской части. Это были служба в пограничных войсках, строительные работы, работа на заводе или в шахте... Таким образом смогли устроиться на работу почти все чины армии, выехавшие в Югославию (наиболее молодых посылали доучиваться). Зато в Болгарии, куда попало большинство галлиполийцев, с работой было гораздо труднее. Первое время ее удавалось найти лишь как временное исключение и приходилось зависеть от материальной помощи российского рассеяния и друзей белой России. К началу 1922 года эвакуация из лагерей была в основном завершена. Лишь 2 500 галлиполийцев, под командованием ген. Мартынова, были вывезены в Сербию не ранее мая 1923 года.

Несколько полезных книг.

Avrich Paul — Kronstadt 1921. Princeton, 1970.
— La tragédie de Cronstadt. 1921. Paris, 1975, (пер. с англ.).

Аврич ссылается на опубликованные выше письма кронштадтцев от 31 мая — документы III и IV (с. 125 французского издания).

Даватц В. Х. и Львов Н. Н. — Русская армия на чужбине. Белград, 1923. Переиздание: "Посев-США", Нью Йорк, 1985.

Гумилев Н. — Собрание сочинений. Том I, Вашингтон, 1962. (сс. XXXVI—XLII).

Голишков Д. Д. — Крушение антисоветского подполья в СССР. Книга вторая, Москва, 1978.

Шкаренков Л. К. — Агония белой эмиграции. Москва, 1981.

Прот. К. ФОТИЕВ

**«Дионис и прадионисийство»
в свете новейших изысканий**

Вячеслав Иванович Иванов — одна из самых ярких фигур русской культуры XX века. Он был старшим современником двух других русских поэтов-символистов — Александра Блока и Андрея Белого. В годы перед Первой мировой войной квартира Иванова — знаменитая "Башня" около Таврического сада в Петербурге — была одним из центров литературной жизни России. Выдающийся и многогранный поэт, Вячеслав Иванов был также филологом, исследователем античных религий, историком искусства, теоретиком театра, переводчиком с древних и новых языков. Он прожил долгую жизнь, на много лет пережив своих младших современников — Блока и Белого. В 1924 году Иванов смог, вместе с дочерью и сыном, покинуть Советский Союз — в последние годы жизни там он был профессором античной литературы в Баку — и переселиться в Италию. В эмиграции он прожил еще четверть века и умер в глубокой старости в Риме летом 1949 года.

В дореволюционной России сборники стихов и книги Вячеслава Иванова были широко известны. После его отъезда за границу на его родине Иванова долго не печатали. Лишь в начале восьмидесятых годов, в серии "Малая библиотека поэта" были переизданы его стихи — в этот сбор-

* Так назывался доклад прот. К. Фотиева на симпозиуме, посвященном Вяч. Иванову. Для читателей "Граней" автор счел необходимым дать расширенную информацию о симпозиумах и изданиях Вяч. Иванова на Западе. — Р е д.

ник вошла, однако, лишь ничтожная часть того, что им было написано в эмиграции. Брюссельское издательство "Жизнь с Богом" предприняло издание полного собрания сочинений Иванова — уже вышли три тома, четвертый должен появиться еще в этом году.

Чем для современного русского читателя может быть привлекательно творчество Иванова? На этот вопрос ответил русский историк и критик Георгий Федотов. Иванов, по его словам, был глашатаем неразрывной связи культуры России с культурой европейской — именно в то время, когда Россию пытались от европейской культуры оторвать, а русскую литературу стремились сделать служанкой коммунистической идеологии.

Со 2-го по 5-е сентября 1986 года в итальянском университетском городе Павия, на юг от Милана, проходил третий по счету, Международный симпозиум, посвященный творчеству Вячеслава Иванова. Первый симпозиум состоялся в мае 1981 года в Иельском университете в Соединенных Штатах, второй — в мае 1983 года в Риме. Для третьего симпозиума Павия была выбрана потому, что Вячеслав Иванов был профессором Павийского университета в конце двадцатых и начале тридцатых годов. На стене построенного в XVI веке колледжа Карло Борromeо — в одной из аудиторий которого проходил Симпозиум — о пребывании Иванова в этом колледже свидетельствует мемориальная доска.

Участниками симпозиума и докладчиками на нем были слависты, которые съехались в Павию из нескольких университетов Италии, а также из Англии, США, Швеции, Франции, Западной Германии, Венгрии и Югославии.

Устроители симпозиума неизменно посылали приглашения литературоведам — исследователям творчества Вячеслава Иванова — в Советском Союзе. Но лишь на третий симпозиум прибыли гости из Москвы — сотрудники Института мировой литературы Николай Иванович Балашев и Инна Витальевна Корецкая. Первый прочел реферат о Вячеславе Иванове как переводчике сонетов великого итальянского поэта XIV века Франческо Петрарки, а Корецкая сравнила поэзию Иванова с творчеством его современника — замечательного русского поэта Иннокентия Анненского. На дальнейших заседаниях симпозиума было прочтано, в общей сложности, тридцать семь рефератов.

Сборник докладов, которые были прочитаны на первом симпозиуме, был издан на английском языке издатель-

ством Иельского университета. Со временем появятся и сборники, отражающие работу, проведенную на двух последующих симпозиумах — в Риме и в Павии.

Рефераты, прочитанные в Павии, можно условно разделить на три группы. Во-первых — это были выступления, посвященные Вячеславу Иванову как поэту. Это был анализ циклов сонетов, написанных им как в России, так и в эмиграции. Говорилось на симпозиуме и о поздних стихах поэта — в первую очередь о "Римском дневнике сорок четвертого года": за год до окончания войны и за пять лет до своей кончины Иванов подводит в стихах итог своей долгой жизни, размышляет и благодарит Бога, верность Которому он пронес через все испытания своей нелегкой судьбы.

Второй цикл рефератов был посвящен сравнительному анализу поэзии Иванова с творчеством таких поэтов, как Александр Блок, Андрей Белый, акмеисты и Анненский, а также Иванову как переводчику античных поэтов и немецких романтиков прошлого века. Наконец, несколько докладчиков избрали своей темой повесть Иванова, которую он писал, в былинном стиле и ритмической прозой, в последние годы своей жизни. Это последнее крупное произведение Вячеслава Иванова носит заглавие: "Повесть о Светомире-царевиче, сыне Владаря-царя". Она полностью напечатана в третьем томе Полного собрания сочинений Иванова, которое выходит в Брюсселе.

В IV томе Полного собрания сочинений Иванова, наряду со стихотворными переводами древнегреческих авторов и немецких романтических поэтов (в первую очередь Новалиса, которого Иванов особенно почитал) будут помещены работы Иванова, которые дают представление о нем, как о литературном критике. Тут и его монография о Достоевском, которая была написана по-немецки и на русском языке издается впервые, и статья о Пушкине (написана в 1937 г. к столетней годовщине смерти поэта) и статьи "Лев Толстой и культура" и "Духовный лик славянства". Статью о Лермонтове Иванов написал в 1947 г., за два года до своей кончины. Она была написана по-итальянски. (Иванов не только в совершенстве владел главными европейскими языками, но и писал на них с редкостным стилистическим совершенством, а незадолго до смерти он говорил шутя, что будет несчастлив, если там, в загробном мире, он будет лишен возможности говорить и читать по-гречески.) Привожу отрывок из статьи Иванова о Лермонтове:

"Духовное отъединение, питаемое двойной обидой: тайной — на Бога, открытой — на человеческое стадо, во имя высшего достоинства человека, униженного Божественным гневом и преданного тварью, — в этом замкнутом круге бился пленник собственной безумной гордыни".

Здесь, в нескольких словах, сказано больше о Лермонтове, чем на сотне страниц исследований о нем — старательных и бескрылых.

А в своей монографии о Достоевском Иванов пишет не только об этом "тайновидце духа", но и о судьбе России:

"Народ, в глазах Достоевского, — личность, не мысленно синтетическая, но существенно самостоятельная, жизненно целостная: есть в ней периферия многоликости, есть внутренняя святость единого и всеобщего сознания, единой и всеобщей воли. Нужно обратиться к Библии, чтобы конкретно осознать это понятие, ведь вся библейская историософия и эсхатология зиждется на представлении народов как личностей и ангелов.

В метафизическом единстве народа различимы два начала: женственное, — душевное, совершительное, — и мужественное, — духовное, зачинательное. Первое вырастает из общей Матери — живой Земли (Мировой Души), взятой как мистическая реальность; второе приблизительно соответствует в личности народа Платонову "игемоникон", а на языке Откровения могло бы быть названо народом-ангелом. Свободное самоопределение умопостигаемого характера за или против Бога, составляет /.../ ядро личной трагедии каждого человека, и есть подлинное дело духа народа в ему присущей сфере; он делает свой выбор за весь народ, решает его историческую судьбу; только не нужно при этом забывать, что его решение является имманентным актом воли самого народа. Он может самоутвердиться в себе, замыкаясь от божественного Логоса, но он может и отречься от своего эгоистического "я" и нести земле, через избранных к тому людей, весть о своей богоносной воле; и только богоносность народного "я" делает его всечеловеческим. Но может, в историческом процессе, произойти и третье, некое отчуждение ангела-народа, некое временное колебание или изнеможение мужественного

начала: и это состояние сразу используют силы Зла, ищущие создать душу-легион, совокупную душу богоматежных людей, отвоевать себе духовное господство над народом, пленить душу его и принудить к слепому безумству”.

*

Внутрироссийский читатель может получить представление об Иванове, как поэте, по его поэтическим сборникам, вышедшим еще до революции („Cor ardens”, „Нежная тайна”) и, в меньшей степени, по маленькому сборнику, выпущенному в серии „Малой библиотеки поэта” несколько лет назад: как я уже указывал выше, в этом сборнике поздний Иванов представлен в очень урезанном и ограниченном виде. Но именно последний поэтический цикл Иванова — „Римский дневник 1944 года” — дает представление о той высокой простоте поэтического языка, к которой многомудрый и словесно изысканный поэт пришел в старости. Если бы с этими поздними стихами Иванова была знакома Анна Ахматова, в молодости посещавшая „Башню”, она едва ли бы обмолвилась, уже в последние годы жизни, что сейчас Иванова „невозможно читать”. Великий русский поэт, умерший в изгнании, лишь постепенно возвращается к любителям русской поэзии на родине. Оценив его творчество, нельзя будет не согласиться с Г. П. Федотовым, который сказал, что лишь Вячеслав Иванов „до конца насытил ту жажду, которая влечет русского человека к святыням западной культуры”.

*

К истории античных религий Эллады Вячеслав Иванов, по его собственному свидетельству, обратился под влиянием своей встречи со святынями Афин в начале века — размышлениям о главных темах античной религиозной стихии он предавался „на склонах Ликабетта и под колоннами Парфенона”.

К ним же, к этим святыням, принимал, всего за

двадцать лет до Вяч. Иванова, Эрнест Ренан, автор "Жизни Иисуса". Ренан, до конца оторвавшийся от того, что в течение двух тысячелетий составляло сущность духовной жизни европейского человечества — от евангельской веры — искал у древних алтарей Эллады ответа на извечные вопросы, на которые, по его убеждению, традиционные верования христианства были бессильны ему ответить.

Сколь различны, по своему духовному складу и мировоззрению, эти два паломника, восходившие к древним камням афинского Акрополя! Ренан нес к этим камням свои вопрошания сына духовно огражденного века. Вяч. Иванов внимал голосу эллинской религии, будучи укорененным в своем верном сыновстве христианской Церкви — ее ограды, если не считать короткого периода юношеского безбожия, он не покидал никогда — вся его жизнь прошла под знаком того, что выразил его друг Владимир Соловьев в словах: "оправдать веру отцов, возведя ее на более высокую степень разумения". Религия Эллады была для него явлением культуры, в первую очередь, — прозрения этой религии он сам назвал "рассветными снами", для Вяч. Иванова они предшествовали явлению в мир Того, Кто в рождественском тропаре назван "светом разума" и "солнцем правды".

Но только ли высокое любопытство к полузабытым и отошедшим в историческую тень формам религиозного вдохновения вело Вяч. Иванова по пути его научных изысканий в области античной религии? Я убежден, что нет. Непокколебимо уверенный в истинности евангельского Откровения, оставаясь верным сыном Церкви, хотя все исторические немощи и отпадения христианства были ему столь хорошо известны, Вяч. Иванов, про-

живши почти половину своей жизни в XIX веке, не мог не чувствовать, что дух творческого вдохновения, пусть на время, от исторической Церкви отлетел.

Насколько ярче, подлиннее свидетельствовало о своем религиозном вдохновении искусство Эллады, чем те упаднические, слащаво-сентиментальные произведения, которые XIX век соглашался считать искусством религиозным! В этом отразился, конечно, духовный кризис XIX века, который не мог не обернуться грозными обвалами и, верим, катарсисом и обновлением в веке XX-ом.

Вяч. Иванов — и это привело его к увлечению Фридрихом Ницше — остро ощущал, что то, что было явлено миру, как великое пророчество, как "победа, победившая мир", к исходу XIX века превратилось в банальный спиритуализм, в придаток к благонравному и скучнейшему буржуазному обществу, в "соль, потерявшую силу". Против этой измены возвысили свой голос Кьеркегор и Ницше, справедливо названный "русским Ницше" Леонтьев, а из сверстников Вяч. Иванова — Бердяев и несравненный Леон Блуа. Для Вяч. Иванова его обращение к религии Эллады было этапом на пути утверждения тех ценностей, от которых XIX век столь легкомысленно отвернулся, пытаясь уйти от таких начал, как страдание, жертва и очищение, избрав себе, как нового идола, идею научного и социального прогресса. В заключительной части "Эллинской религии страдающего бога" Вяч. Иванов писал:

"Дионисийский восторг — единственная сила, разрешающая пессимистическое отчаяние, эту законную первую реакцию воззревшего духа на скорбь и муку живущего, на несомненную действительность крушения высоких надежд и торже-

ства злых сил, на вечный ужас всепоглощающей смерти. Дионис учит дышать расширенно, полной грудью, дышать целым — с ним и в нем: тогда еще можно дышать”.

Под напором ”профессорской религии” христианство утратило не только свою ”соль”, но и щедрый, творческий перелив играющих красок, то, что Мандельштам называл ”игрой Отца с детьми” — эта была та ”игра”, которую воспели Гуйцинга и Гуго Ранер в своих книгах, посвященных ”играющему человеку”, *homo ludens*.

В виде серии статей ”Эллинская религия страдающего бога” Вяч. Иванова была напечатана в журнале ”Новый Путь” за 1904 год и в сменившем его ежемесячнике ”Вопросы Жизни” за 1905 год под заглавием ”Религия Диониса”.

Докторская диссертация Вяч. Иванова ”Дионис и прадиионисийство”, написанная в те годы, когда он был профессором классической филологии в Баку, была напечатана в 1923 году во Второй бакинской государственной типографии и почти сразу после своего выхода в свет стала библиографической редкостью: она будет возвращена читателям в его Полном собрании сочинений. Этим, а также отсутствием перевода ”Диониса и прадиионисийства” на иностранные языки объясняется, что авторы, такие как Отто, Юнгер и Жанмер*, писавшие о религии Диониса хронологически позднее, чем Вяч. Иванов, с его работами не были знакомы.

* Walter F. Otto. ”Dyonysos, Mythos und Kultus”. — Frankfurt/M.: Klostermann, 1933.

Friedrich Georg Jünger. ”Griechische Götter — Apollon — Pan — Dyonysos”, — Frankfurt/M., 1943.

H. Jeanmaire. ”Dionysos, histoire du culte de Bacchus”. — Paris, 1951.

Более того — на его труды по античной религии не ссылаются даже Алексей Федорович Лосев, патриарх русской школы античников, первая работа которого — "Эрос у Платона" — вышла в 1916 году. С тех пор А. Ф. Лосев, которому в настоящее время девяносто три года, опубликовал свыше трехсот работ, из которых более тридцати — монографии объемом от двухсот до девятисот страниц. В своей многотомной "Истории античной эстетики" Лосев приводит стихи Плотина в переводе Вяч. Иванова, но ссылок на его работы в области античной религии труды Лосева не содержат: еще одно свидетельство о том, в каких бесконечно трудных и противоестественных условиях развивалась русская наука после революции. После того, как Вяч. Иванов покинул Баку в 1924 году и уехал за границу, между ним и учеными на родине легла почти непроходимая пропасть. Так, статья о Дионисе в двухтомной энциклопедии "Мифы народов мира" (Москва, 1980) написана А. Ф. Лосевым, но и там ссылок на труды Вяч. Иванова нет — хотя методологически все авторы статей в этой Энциклопедии начинают библиографические указания с перечисления трудов по соответствующему разделу, вышедших на русском языке. Это тем более удивительно, что в Краткой Литературной Энциклопедии (Москва, 1966, том 3, с. 38) в статье о Вяч. Иванове упоминаются и "Эллинская религия страдающего бога" и "Дионис и прадионисийство" с упоминанием года публикации. В статье о Вяч. Иванове в Большой Советской Энциклопедии на 1933 год (том 27) его труды по античной религии не названы. В качестве курьеза отмечу, что в Большой Советской Энциклопедии 1952 года статьи о Вяч. Иванове вообще нет.

Приведем коротко основные тезисы книги "Дионис и прадионисийство":

1. Культ, который позднее получил имя Диониса и стал общенародным признанием его божества, предшествовали называемые Вяч. Ивановым прадионисийские культы, развивавшие порознь те отдельные элементы, которые впоследствии религия Диониса в себе объединила.

2. В дионисизм, как и в предшествующие ему культы прадионисийского организма, вошли следующие элементы:

а) отождествление оргиастической жертвы, первоначально человеческой, с самим божеством, которому жертва приносилась;

б) отождествление участников этого оргиастического действия, которые достигают состояния энтузиазма, или богодержимости, с самим божеством;

в) участникам оргиастического действия присуще двойное представление о божестве — во-первых, как о властителе как верхней, так и нижней, подземной, сферы, как области живых, так и "долины вечной тени", и, во-вторых, как о жреце, то есть растерзателе жертвы, с одной стороны, и как о божестве, которое само приносится в жертву, претерпевает смертные муки и умирает, с другой.

Эта двойственность содержит в себе центральные атрибуты, которые усваются божеству — оно есть одновременно и умерщвляющее, и претерпевающее смерть начало.

г) в эпоху прадионисизма в культе явственно преобладает женское начало: Дионису неизменно сопутствует некая земная по своему естеству мать: это или Семела (Земля) или оргиастическая Деметра (Земля и Мать одновременно) или, наконец, подземная Персефона.

С этим торжеством женского начала соседствует

в культе Диониса стремление видеть в нем исключительно эманацию Зевса — Дионис есть небесная влага жизни, которая течет из лона Зевса-Одождителя в Нису — в рай дионисизма. В дальнейшем развитии культа мы видим совмещение этих двух начал — бог-Дионис понимается уже дважды выношенным — как матерью, так и отцом — он "двуматерний" и "дважды рожденный".

д) Дионис и в позднейшем развитии его культа неизменно делит престол с женскими божествами — в первую очередь, с соприродной ему Артемидой. Ее место, особенно после того, как ее культ сливается с почитанием ее брата Аполлона, занимают и другими носительницами женственного божественного начала: Великой Матерью в Малой Азии, Великой Богиней на о. Лемносе, кипрской Афродитой и, наконец, Афиной Палладой, в чем Вяч. Иванов видит победу, одержанную в Афинах сторонниками орфических культов. Гипотезу деления религии Диониса на два культа — материковый и островной мы находим только в его исследовании. Вот несколько из тех морфологических культовых параллелей, которые намечает Вяч. Иванов:

На материке:

Бог — змий и младенец
Тирс и светоч. Плющ.

Молодой олень, козел,
лисица
Растрезание как священ-
ная игра

Змея, фаллос

На островах:

Бог — бык
Обоюдоострая секира,
двойной топор.

Виноград.

Дельфин, лев, пантера,
рыба.

Отсечение головы как
скрытый фаллический
культ.

Ковчег на водах, рас-

цветающее из ковчега
древо жизни.

Дионис — горный ловчий

Дионис морской, пла-
вающий или ходящий
по водам, рыбарь.

Древнейшая форма дионисизма, по убеждению Вяч. Иванова, — оргиастический культ пра-Диониса-быка, зародившийся на о. Крите под влиянием религиозных обрядов-символов Малой Азии и Египта.

Афинские государственные обряды, согласно толкованию, которое дает Вяч. Иванов, — слияние двух самобытных культов: материкового, уже дионисийского, в основе которого лежит оргиазм горных менад, с прадионисийским, пришедшим с островов. Это слияние, по мнению Вяч. Иванова, есть рождение религии Диониса уже в полном ее объеме.

Наиболее самостоятельной гипотезой, которую выдвигает Вяч. Иванов (ее мы не находим, даже в зародыше, у авторов, писавших на эту тему хронологически позднее) представляется мне его попытка осмыслить те причины, которые привели к слиянию различных религиозных элементов в единую культовую форму дионисизма. К самопроизвольному сельскому оргиазму, который присущ большинству земледельческих племен на культурной ступени первобытной магии, в религию Эллады очень рано влился культ героев с его поминальными плачами на заповедных курганах и других местах захоронений. Из этого поминального плача родилось патетическое отношение к религии вообще: боги начали мыслиться как подверженные не только страстям, но и мучительному, подчас жертвенному умиранию. Отсюда рождается

чувство неудовлетворенности аристократически-успокоенными образами гомеровского Олимпа: религия Эллады отправляется на поиск синтеза бога и героя, она жаждет образа сына бога, умирающего, как герой, жертвенной смертью и воскресающего, как бог: живая влага бессмертия исходит от верховного божества и орошает бога-сына, даруя ему всепобеждающие творческие потенции. С этим неразрывно связана присущая всем арийским культам вера в исход душ из "долины смертной тени" в навьи дни весеннего праздника первых цветов, вера, питающая радость земного чадородия.

Дифирамбический характер дионисизма, антимическое принятие как скорбного плача перед лицом смерти, так и радости постоянно творимой победы над ней, были, как показывает Вяч. Иванов, необходимой и единственной в своем роде предпосылкой для рождения греческой трагедии. Приближаясь к концу своего исследования Вяч. Иванов пишет:

"Трагедия была глубочайшим всенародным выражением дионисийской идеи и вместе последним всенародным словом эллинства. Вся эллинская религиозная жизнь и, в частности, все эллинское мифотворчество преломилось через нее в дионисийской среде. Конец трагедии был концом эллинства и началом эллинизма" (с. 285).

Заканчивая этот, с неизбежностью предельно сжатый, обзор оценок и гипотез Вяч. Иванова нам необходимо поставить вопрос о колыбели, культ Диониса породившей. Названные выше исследователи, которые писали на эту тему после Вяч. Иванова, согласно возводят место зарождения культа к минойскому Криту и к Малой Азии, лишь Вяч. Иванов склонен видеть истоки культа также и в Египте. У Отто и у Юнгера эта тема лишь наме-

чена, Жанмер ее вовсе не касается и уделяет чрезвычайно мало места анализу того, что так старательно исследует Вяч. Иванов, а именно праднионисийству как законченному в себе религиозному феномену, без которого позднейший культ Диониса как бы повисает в воздухе. Было бы в высшей степени интересно проследить и у Отто и, особенно, у Юнгера их изложение развития культового начала Эллады, перерастание культа в трагедию и его продолжающуюся жизнь в греческой трагедии. Я лишен возможности сделать это в данном кратком изложении. Хочу лишь указать, что книга Юнгера представляется мне самым значительным из того, что было за последние десятилетия написано о греческой трагедии вообще. Эта книга, лишенная даже ссылок и библиографии, написана как бы "на одном дыхании" и в этом смысле она захватывающе адекватна своей великой теме.

Итак, Египет. По этому поводу Вяч. Иванов пишет:

"Орфики учились у египтян — и через их посредство религия Осириса наложила свою печать на аттический государственный культ Диониса /.../ В Египте эллинские теологи узнали мистическую тайну, что расчленение бога обуславливает собой его возрождение и что уподобление человека богу страдающему /.../ есть залог воскресения человека с богом воскресающим. ... Во всяком случае, мистическую религию эллинизма вырабатывал обща союз Дельфов, пифагорейства и орфизма под непосредственным влиянием Египта".

"И, прежде всего, уже даны были в народном веровании представления о божественных страстях, о рождении на земле сына божия, умирающей и воскресающей ипостаси отца, вера в возврат душ из царства загробного, таинственные обряды

жертвенного растерзания божественной плоти и причащения ей — и многое другое, как почитание гроба и ковчега, до культа отделенной от туловища головы”.

Хочу отметить, что ни один из вышеназванных авторов не уделяет, в этой связи, внимания тому, что может быть названо иконографическим развитием образа Диониса — у Вяч. Иванова этот подход отсутствует, быть может, потому, что в Баку у него не было необходимых для подобного анализа источников.

Между тем, в музеях Европы и Северной Америки (Флоренция, Мюнхен, Бостон) мы находим многочисленные изображения Диониса различных эпох. С описания одного из этих изображений начинает свой анализ Жанмер: на сосуде работы Эрготимоса, который хранится в Национальном музее во Флоренции, мы видим Диониса в толпе других богов: он облечен в длинный хитон, украшенный геометрическим и цветным орнаментом, светлое покрывало наброшено на его плечи, обнаженные руки поддерживают амфору.

В мюнхенском собрании античного искусства мы видим погрудное изображение Диониса на кратере VI века. Его малоазийские — или египетские? — корни бросаются в глаза — непропорционально крупный размер глаз, клиновидная борода, наплечие в виде скрещенных лап леопарда с крупными когтями.

Пройдет еще три века, пока, уже в эпоху Александра, будет нам явлен образ до конца эллинизированного Диониса: юный, безбородый, обнаженный бог возлежит на спине легко несущего его пятнистого леопарда; его правая рука обнимает выгнутую шею животного, в левой он держит увитый плющом тирс. Короткие волосы — у его пред-

шественника VI века волосы были заплетены в тугие косы, ниспадающие на плечи — увиты венком из лавровых и виноградных листьев. Это — поздний образ Диониса уже эллинистической эпохи — и образ этот окончательно подчинился столь знакомым нам канонам зрелого искусства Греции. Но как долгов был путь такого развития, как долго продержались и в культе, и в образе Диониса его египетские корни!

*

В 1924 году, через год после того, как книга "Дионис и прадионисийство" увидела свет, Вяч. Иванов с дочерью и сыном покинули Баку. Начался последний — и столь творчески значительный — период жизни Вяч. Иванова. За эти двадцать пять лет — от приезда в Рим до кончины 16 июля 1949 года — он редко возвращался к тематике культуры и религии античного мира. 14 января 1927 года в Павии было написано стихотворение, которое можно воспринять, как уже "программное", до конца продуманное и прочувствованное отречение Вяч. Иванова от "навых чар" эллинизма, как его желание аскетически ограничить свой взор лишь тем, о чем говорит новозаветное Откровение, навеки оттеснившее "рассветные сны" Эллады в историческую тень. Вот это стихотворение:

ПАЛИНОДИЯ

И твой гиметский мед ужель меня пресытил?
Из рощи миртовой кто твой кумир похитил?
Иль в вешем ужасе я сам его разбил?
Ужели я тебя, Эллада, разлюбил?
Но, духом обнищав, твоей не знал я ласки,
И жутки стали мне души недвижной маски,

И тел надменных свет, и дум Эвклидов строй.
Когда ж, подземных флейт разымчивой игрой
В урочный час ожив, личины полой очи
Мятежною тоской неукротимой Ночи,
Как встарь, исполнились, — я слышал с неба зов:
"Покинь, служитель, храм украшенный бесов".
И я бежал, и ем в предгорьях Фиваиды
Молчанья дикий мед и жесткие акриды.

Фиваида — колыбель христианского монашества, место "невидимой брани" против бесов, "духов злобы поднебесных". Дикий мед и акриды, по свидетельству Евангелия от Марка, это — пища Предтечи — последнего пророка Ветхого Завета и первого пророка Нового. Окончательно ли Вяч. Иванов "покинул храм украшенный бесов"?

Прошло семнадцать лет, и поэт, подводя в "Римском дневнике 1944 года" итог своего творческого пути, пишет в стихотворении, датированном 27 сентября 1944 года:

Языков правду, христиане,
Мы чтим: со всей землей она
В новозаветном Иордане
Очищена и крещена.

О Слове Гераклиту голос
Поведал, темному, темно;
И шепчет элевсинский колос:
"Не встанет, не истлев, зерно".

Так говорило Откровенье
Эллады набожным сынам,
И Вера нам благоговенье
Внушает к их рассветным снам.

Итак — не отказ, не отвержение, а благодарное принятие тех драгоценных крупниц истины, которые навеки просияли нам в религиозном мире Эллады, что и позволило апостолу Павлу назвать алтари языческих Афин "святынями".

О простоте и сложности русской поэзии

1

Меня долго пугала легкость и произвольность столкновения предметов изображения в стихе, ответственность, которую берет на себя поэт, слушая разноплановые реалии. Так, вероятно, ужасается химик, впервые осознавший, что может разъять все. А вдруг сведенные мной предметы не соединимы по природе своей? Со временем пришла мысль: сочетаемо все. В каждом явлении существует зазор, за который может зацепиться следующее звено. Во всем есть общее зерно, заложенное Создателем.

Задача поэта — найти это зерно, дать истинное имя реалии. Миссия поэзии, ее специфическая (никому и ничему более не доступная) часть в работе по созданию вневременного духовного бытия — творение словесной модели объединения нашего разобщенного мира.

*

Поэт дает метафизические имена явлениям эмпирического мира. Точное поэтическое слово — путь

Рукопись получена из Самиздата.

к имени, этап творчества. Имя — всегда слово, но слово далеко не всегда — имя.

Попробую условно расчленить творческий процесс. Первая задача поэта — найти для обозначения реалии точное, только ей принадлежащее слово. Это — поэтическая техника. Называние — предтворчество, хотя это уже искусство. Назвать вещь точно способен лишь художник, но творец не может ограничиться одним названием.

На этом этапе происходит убийство действительности (хотя оно не реализуется ни в одной временной точке). Бытие предстает верным, но мертвым словом. Вот здесь-то и возникают толки об аморализме поэта: "Поэт — самый страшный из палачей живого" (Мариенгоф). Здесь расходятся пути творчества и модернизма. Для модернизма это высшая точка. Пути дальше нет. Только одна возможность — совершенствовать, истончать, рафинировать слово. А собственно творчество еще и не начиналось.

В поэтическом контексте слова очищаются от повседневной шелухи, сталкиваются и скрещиваются друг с другом. Столкновения эти рвут старые мирские "материальные" смыслы слов. Рождается слово поэтическое. Оно-то и дает умерщвленному бытию крылья Феникса, возрождает мир из пепла слова, вдыхает то, что дано поэту от Бога. Идет перелив дыхания, *слияние материи и духа — именование*.

Мир воскресает, но уже не тот, что существует вне творчества. Он обрел свое единственное имя.

Модернист пишет стихотворение, творец — создает частицу гармонического бытия.

Зачем нужен отрыв привычного названия от предмета? Ведь явлениям когда-то уже были даны имена. Почему они не удовлетворяют поэта? Психологи языка достаточно точно выяснили механизм первоначального именования: предметы назывались по какому-то одному, самому очевидному признаку. В слове "корова" отразилось только понятие "рогатая". Остальные признаки отпали. Таким образом, в названии не объята вся сущность предмета, нарушена его цельность: "...мы знаем некоторые его (предмета) признаки; по сим признакам мы даем ему имя, или, лучше сказать, тем или другим словом мы выражаем лишь те или другие свойства предмета, его части, но не весь предмет... Следственно, наш язык неполон и неверен, и мы обманываем самих себя, когда предмету даем имя, — его имя нам неизвестно" (кн. В. Ф. Одоевский "Психологические заметки").

Нарушая связь между предметом и его привычным названием, поэт в новом имени воплощает целостность предмета, очищает слово от самодовления одного признака. В имени проявляется метафизическая сущность реальных.

Поэтому слова в стихе имеют частично или совсем иные значения, чем те, которые мы знали ранее. Реалия, как щенок, должна привыкнуть к новому имени и откликаться на него.

Расшатывание старых связей, столкновение разных слов для рождения одного имени и объясняет то, что имя состоит, как правило, из нескольких слов. Имя живет. Это истинно названная частица сущего. Атомы ее — слова. Имя может быть целым стихотворением, если весь стих назвал

одну частицу міра (это самое частое и естественное явление). Может быть одной строкой — *"Печаль моя жирна"* — тогда в стихе несколько названных реалий, несколько имен. Может быть группой стихов — некоторые циклы, поэмы. В частном случае имя бывает одним словом. Об этом ниже.

*

Хочу сделать вывод, не имеющий прямого отношения к теме эссе, но прямо вытекающий из предшествующих рассуждений. Речь пойдет об иерархии искусств.

В живописи действительность умерщвляется. Сколько бы мы ни говорили: "Он как живой на холсте", — это метафора. Он — мертвый. Воскрешение, если и происходит, то не в самом произведении, а в сознании воспринимающего. Поэтому изобразительное искусство самое модернистское в ряду других. Дух присутствует лишь в момент восприятия художником міра и во время отлития его в форму. Духовно не само произведение, духовны человеческие акты творения и восприятия.

На следующей ступени духовности стоит поэзия. Действительность умерщвляется в точном слове и воскресает в имени. Отличие поэзии от живописи в том, что мір оживает не в восприятии, а в самом произведении.

Наиболее духовное искусство — музыка. Мір ни на минуту не предстает мертвым, он сразу становится духовной гармонией.

Думаю, однако, что поэзия есть самое Х р и с т о в о е искусство. Духовное бытие поэзии не есть данность. Поэзия проходит через заклание в слове, через распятие. Белый лист, на котором на-

писано слово — Голгофа. Поэт распинает себя и реальность земную на кресте слова и воскресаёт и воскрешает в имени.

2

Марина Цветаева сказала, что существует только один Поэт, а все мы — поэты — лишь разные его стихотворения.

Каждый поэт называет свою, лишь ему доступную частицу мира, но все мы участники общего дела именования. Мы не плотничья артель, которой дано задание построить дом. Проименовать в с ё — не может быть целью поэзии. Эстетически самоценен каждый воскрешенный уголок мира — творчество каждого поэта. Восхищайтесь поэтами! Но не забывайте, что в этическом смысле мы — один поэт. Только совокупность проименованных реалий, совокупность творчеств всех поэтов явится частью свершения, которое сделает человека достойным Бога, достойным иного, истинного бытия.

*

XVIII век в России — мука слова, предслово. Вся могучая плеяда поэтов XVIII века училась говорить. Не было слов. Нечем было называть. Поэзия была не сложна, но косноязычна.

В заслугу Пушкину ставят то, что он первый в стихах заговорил по-русски. Это не заслуга Пушкина, а дар, преподнесенный ему поэтами XVIII века. Он не мог не заговорить, ему дали слова. Заслуга Пушкина в том, что он — первый именователь. Даже у Батюшкова слова еще прогибаются под тяжестью имен. Батюшков — первый испыта-

тель русского слова на поэтическую прочность. И вот пришел Пушкин. Он пришел в тот момент, когда русская поэзия, достигнув годовалого возраста, захотела сказать: "мама". И сказала африканскими губами Пушкина. Ребенок спрашивал: "А это — что?" — и сам себе отвечал.

Гениальность Пушкина не только в том, что он начал называть — он сумел проименовать колоссальную часть видимого, внешнего слоя бытия (зримыми, конечно, могут быть и внутренние чувства человека). Пушкин именовал все, что видно невооруженным, но широкооткрытым глазом. Поэтому, и только поэтому, Пушкин прост.

*

Существует ложное и вредное мнение, что поэты различаются по тому, к а к они говорят. "Говори о том же, что и N., но по-своему, и ты — поэт". Но поэзия — путь к существованию истинному, к истине. А двух истин не бывает. Если двое говорят разное о том же, то один из них лжет. А если двое по-разному высказывают одну и ту же истину, то один из них в поэзии не обязателен. По-разному говорят все люди, поэты тут не представляют ничего исключительного. Поэты различаются по тому, что и о чем они говорят.

Другое дело, что бытие многослойно — реалии и предметы представлены в нем на разных уровнях. На этих разных уровнях можно о них и говорить.

"Что" и "как" — еще одна черта между творчеством и модернизмом. Художник — что создает, модернист — к а к, каким способом вызывает суждение читателя.

Модернизм единожды появился в России — в футуризме. И сразу жертвой простенького проти-

вопоставления "что — как" пал гениальный русский писатель — Владимир Маяковский.

Помните? — Споры с Бурлюком. — Первый стих. — "Вы гениальный поэт"! — Стихи, стихи.

О чем шли споры? О жизни? О творчестве? Нет, конечно, — о том, как писать, как удивить, как заставить обратить внимание. Умный и расчетливый Бурлюк хладнокровно создавал поэта по всем правилам модернизма. Маяковский родился из приема, из установки на прием. Установка дана Маяковскому Бурлюком, но талант необузданный — Богом.

Талант единственно и неизбежно вдыхает воздух культуры, родившей его. А тут — Илью Муромца начинают итальянским словесам обучать. Он и рад — все лучше, чем на печи сидеть, да вот с плечами беда: во фрак не влезают, трещит фрачок-то. Неужто так всю жизнь в дырявом и ходить?

Раньше духовную христианскую основу поэт русский получал как нечто естественное, с молоком матери впитывал. Матерью Маяковского-поэта была установка на технический прием. Дух при сем не присутствовал. Но уже на следующий день предъявил свои права.

Здесь истоки трагедии Маяковского. Талант, конечно, никаким фраком не прикроешь, но человеку-то каково с дырами! Именно от этого — трагический, надорванный звук его лиры.

В 10-ые годы обстановка была такова, что с трудом можно было лишь отстоять и сохранить уже выношенные идеалы. Вновь же приобрести, различить их во всеобщей сумятице надтреснутого времени — почти невозможно. Ситуация менялась так стремительно, что пришедшим в поэзию даже на год-два раньше Маяковского в духовном смысле было значительно легче.

Драматична тема Бога у Маяковского. Религиозное чувство требовало удовлетворения и не получало его. Не получило и тогда, когда место Бога заняла революция. В поэме "Владимир Ильич Ленин" гротескно преломляется библейский канон: 1-я часть (до Ульянова) — "Ветхий Завет"; 2-я часть (Ульянов, вера в "революции и сына и отца") — "Новый Завет"; 3-я часть ("Стала величайшим коммунистом организатором даже сама Ильичева смерть") — "Деяния". Но боги оказались идолами. Ввести поэту этическую вакцину они не могли, так как сами — глубоко антидуховны и аморальны.

Этим (да еще мертворожденным имажинизмом) кончилось вторжение модернизма в русскую поэзию.

*

Бытие для поэзии подобно многокожурной луковице. Пушкинианцы использовали (суть проименовали) самую верхнюю кожуру. Но использовали ее почти полностью. И уже Лермонтов взялся за следующую.

Правда, все происходило не так уж синхронно. Вместе с Лермонтовым и позже него работал Фет — Брут пушкинской плеяды. Улыбаясь пушкинской улыбкой, он иногда тупил глаза и украдкой косился куда-то. Это "куда-то" — уже иной слой, иная кожурка.

Особняком стоит одинокий, никем не услышанный, Тютчев. Будущее в прошлом. Он, за неинтересностью для себя, отвернул целую стопку луковичных чешуек и остановился только, когда слезу прошибло. Если Фет — поздний пушкинианец, то Тютчев — ранний символист. Не потому, что "сим-

волист", а потому, что работал в том же слое. Никто до Тютчева так глубоко не заглядывал в глаза бытию. Достаточно сравнить глубину "протокола" Баратынского и Тютчева: "дистанция огромного размера".

Дело не в том, что Тютчев лучше Баратынского или Пушкина. Просто он не мог заниматься тем, что уже выполнили Пушкин и Баратынский. Лучше тот поэт, чей поэтический мир точнее в приближении к истине — вот критерий. Проникновение же в более глубинный слой бытия — не столько заслуга, сколько исторический соленный дар поэту. Тютчеву выпало терновое счастье родиться после Пушкина, а Блоку — после Тютчева.

*

Но Тютчева не слышали. Вернее, не видели, уж больно глубоко был. Тем временем, на пушкинском столе, да и на соседних, уже не осталось ни крошки. Это и был кризис русской поэзии второй половины XIX века. (Сходное явление можно наблюдать и в середине века двадцатого.)

Так подошла русская поэзия к XX веку. К именованию принципиально нового глубинного слоя. Тютчева не слышали. Только самостоятельно повторив его путь, спустившись в подземелье, обнаружили там тютчевский флаг.

Я говорил, что и Лермонтов, по сравнению с Пушкиным, исследовал иной слой, следующий. Но эти два явления преемственны, во втором содержатся элементы первого. К началу XX века количество (пройденных уровней) перешло в качество. Поэзия "серебряного века" качественно отличается от "золотой" лиры. Поэты "декадан-

са” начали разрабатывать внутренний слой — *именование реалий изнутри*.

*

Поэзии чужда инерция. По инерции работают лишь третьеразрядные стихотворцы. Но инерция восприятия соприродна читателю. К XX веку пути писателя и читателя разошлись. Вернее, они были розны всегда, но к этому времени различия вышли на свет. Пушкинская плеяда именovala зримый пласт бытия. Видимый каждому. Этим она задала инерцию читателю. *Он временное принял за вечное*. И обманулся, сделав вывод, что поэзия всегда должна быть похожа на то, что читатель видит каждый день. И даже превратил это в критерий: чем больше похожа, тем лучше. На пушкинском этапе такое заблуждение читателя даже помогало задаче поэта. Читатель находил в стихе мир, похожий на реальный, но очищенный от случайности, от скверны, от временной примеси — мир надбытийный. Лучшие из читателей, отождествляя эти два мира, переносили на свою “мирскую” жизнь черты духовного бытия, *вводили имя в самое жизнь*.

Но, выполняя эту важную миссию, поэзия приоткрыла свою ахиллесову пята — возможность и удобность воспринимать стихотворение в бытийственном, “идеологическом” плане. Первыми это заметили политиканы и заматали поэтов стрелами: “Поэзия должна влиять! воспитывать! учить! внушать благородное!” (то есть, то, что им, политиканам, в данный момент выгоднее считать благородным). Чем же сие кончилось? Два-три истинные поэта поддались агитации и пали поэтическими жертвами. В целом поэзия вроде бы и прислушивалась к голосам, орущим вокруг, но врожденная

интуиция не давала ей сбиться с дороги. Она шла вглубь по пути именования.

*

В XX веке поэзия стала называть очень глубинный слой бытия, то, что простым глазом не видно, то, о чем читатель никогда не слышал, никогда не знал. И больной, зараженный читатель обвинил поэзию во лживости, а когда сам стал понемногу прозревать и выздоравливать — в сложности. В XIX веке образованный читатель сетовал на отсутствие хороших поэтов, в XX веке поэт закричал: "Читателя! Советчика! Врача!.."

*

Итак, поэзия проста или сложна в зависимости от того, более или менее глубинный пласт сущего она именуется: "...много метафор и у людей, желающих выразить мысль новую, девственную; чем глубже... эта мысль, тем труднее ее выразить... недостаточен язык обыкновенный" (кн. В. Ф. Одоевский).

Как только открывался принципиально иной по глубине пласт, для его "освоения" требовалось сразу много поэтов. Создавалась возможность проименовать видимую реальность — появились пушкинианцы. Все они просты для восприятия. Достигли внутреннего пласта мироздания — пришла плеяда "серебряного века". Все эти поэты по-своему сложны. А читатели и критики все кричали о гениальной пушкинской простоте, о том, что их ничему не учат...

Из-за этого расхождения поэтов и читателей, на глазах у изумленной публики, потеряли было само понятие о том, что есть поэзия. Поэтам-пуш-

кинианцам вполне хватало интуитивного осязания критерия. Уже в конце XIX века столкновение писателей и читателей потребовало от пиитов высказаться по этому поводу. И тут обнаружилось, что сами творцы не могут внятно сказать, что такое поэзия. Начались поиски утраченного имени. Шла выработка поэтического самосознания. Мучительные странствия и находки всех привели к тому, что явился поэт, *создавший* общую модель поэзии, ее выжимку: Велемир Хлебников.

*

У Хлебникова два лица. Во-первых, он оригинальный лирический поэт, именовавший особую область сущего, и потому может сравниваться с другими стихотворцами. Во-вторых, он теоретик в поэзии. И тут некого поставить с ним рядом. Я буду преимущественно говорить о втором его лице.

Говоря упрощенно, Хлебников сделал следующее. *Копнув пласты бытия до основания*, он обнаружил слой, который уже ничего общего не имеет с тем, что мы видим на поверхности. Да и слов для именования этого слоя не находилось. (Вот переключка с XVIII веком.) Но именовать мир — необузданная физическая страсть Хлебникова: "Я истекаю степью и именем". Хлебников стал искать и изготавливать слова для обозначения нового слоя. Он стер иллюзию, созданную во времена Пушкина. Ставить во главу угла сопоставление поэзии с видимой реальностью после Хлебникова стало невозможно:

Волхоба волхобного вира.

Звеноба немобного яра.

Ты все удалила, ты все умилила.

О, тайная сила!
О, кровная мара!

Следующая ступень хлебниковской системы. После Пушкина говорили: поэзия — только это. Хлебников доказал: поэзия — и то и это. Когда он называл явления других, более внешних (чем найденная им) оболочек, то именовал их "классически":

И только шум ночной осоки,
И только дрожь речного злака,
И кто-то бледный и высокий
Стоит с дубравой одинаков.

Если все поэты горизонтальны — каждый работает в своем слое, то Хлебников — вертикален: он пронизал *много* слоев. Как теоретик, Хлебников прошел пути *нескольких* поэтов. Он именовал и проименовал по-разному сразу несколько пластов бытия. Этим удалось доказать, что поэзия не локальна, не ограничивается каким-нибудь одним участком — она охватывает все бытие. Единственной *постоянной* величиной, а значит и определяющей чертой поэзии во всей многоплановости сущего является *именование*. Опыт Хлебникова показал, как меняется лик стиха в зависимости от глубины слоя, который он именуется. Вот почему творчество Хлебникова есть модель, квинтэссенция поэзии.

Так открылся секрет простоты и сложности.

Только одну ошибку допустил Хлебников в своей системе. Чувствуя огромный запас сил и движимый благородным поэтическим тщеславием, он задумал еще один опыт — создать имя из одного слова. И создал. Так появились "смехачи" и "сне-

жоги". Но обнаружилась обратная сторона медали. Вместо того, чтобы сказать: имя может быть одним словом, — он в запале сказал: имя есть одно слово. И в обобщенную конструкцию закрался частный случай, примешался индивидуальный привкус. Собачьим чутьем уловил обыватель эту слабину. Придумали "заумное словотворчество", Хлебникова представили заговаривающимся одиночкой, и пошло... Не заметили, что Хлебников не просто изобрел "заумь", а скрестил "заумное" слово с "классическим" сопоставил разные слои. А это ведь и составляет суть системы Хлебникова.

В разглагольствованиях о "заумной" поэзии просмотрели тот факт, что *поэзия проименовала самое себя в ряду прочих явлений.*

*

Итак, поэзия становится сложна для восприятия, когда именуется более глубокий и, тем самым, более сложный пласт мироздания. Глубина не дается наитием. Приходится пробираться, буквально проламываться сквозь предшествующие пласты. Это "проламывание" в форме некоторого косноязычия сказывается в раннем творчестве любого поэта. Видимая простота в позднем творчестве не есть приход от дурного к хорошему, а лишь окончательное достижение поэтом своего объекта именованья. Ранний период может не уступать "поздней простоте" ни поэтически, ни, тем более, этически: это и есть те крестные муки, через которые проходит истинный поэт.



О роли художника в персоналистической картине мира

Задача данной работы — попытаться построить общую теорию прекрасного на основе одного из вариантов персонализма. Введением к этому служит разбор статьи Григория Архангельского "О простоте и сложности российской поэзии". Мне казалось логичным начать с этого разбора, так как статья всем своим содержанием требует такого перехода. С опыта художника работу естественно было начать, а философским построением завершить. Соответственно этому работа разбивается на две части.

1

Автор статьи "О простоте и сложности российской поэзии" высказывает важные теоретические положения со страстностью человека, утверждающегося в непосредственно ощущаемой им истине. Поэтому его статью можно принять за теоретическую, претендующую на высказывание суждений о вещах, как они существуют сами по себе. Но это — не теоретическая статья. Еще более ошибочным было бы рассматривать работу как субъектив-

Рукопись получена из Самиздата.

ное (и задуманное как субъективное) восприятие вещей. Это — описание той части объективного бытия, которая входит в субъективный мир автора и рассматривается им в целях занятия должной творческой позиции. Этот жанр автор обозначает как род эссе. Стало быть, суждения автора претендуют на объективную истину, они — о реалиях, но реалиях особого рода — аспектных. Об этом необходимо помнить, иначе мы будем несправедливы к автору.

*

Автор считает, что дело поэта в мире — именование вещей, выявление их сущности, наделение вещей истиной бытия. Но бытие — многослойно (к этой идее тяготеют многие современные философские направления; например, неотомизм, философия Николая Гартмана, который является и автором "Эстетики"). Поэты дают наименования слоям бытия, залегающим на разной глубине, причем, чем глубже именуемый слой, тем более имманентно соединяется истина слова с вещью, тем более художник становится продолжающим дело творения. Поверхностные слои бытия предстают непосредственно нашим органам чувств, художник лишь очищает от случайности восприятия доступный всем нам мир. Но чем далее он уходит в глубь бытия, чем более он становится художником как таковым (то есть ясновидцем и именователем глубин), тем далее он уходит от читателя с его обычным утилитарным восприятием и становится ему непонятен. Отсюда и вывод. Путь в глубину именуемого бытия — это путь:

1. в направлении логики искусства;
2. в направлении от простоты к сложности;
3. в направлении от широкого читателя к узкому

кругу знатоков. Профессиональный читатель — это тот, кто не может, а стало быть и не хочет быть творцом, а потому живет утилитарной, обездушенной жизнью.

Автор утверждает аристократизм, ясновиденье, высокую миссию искусства по наделению существующего бытийностью. Он отвергает критерий простоты, подносимый нам нередко как достоинство всякого совершенного искусства, и рассматривает простоту как свойство (и весьма сомнительное) искусства, именующего верхние слои бытия.

Это — основная мысль, и я думаю, что ее можно принять. Пусть не говорят, что этого мало. Это — очень много, поскольку речь идет о мысли-принципе и одновременно — мысли-образе, определяющих позицию автора и обладающих имманентной способностью к расширению в плодотворную систему.

Очень ценным представляется мне и отношение автора к проблеме взаимосвязи этики и эстетики. Непосредственно он ее не ставит, но очень удачно намечает вехи будущего расширения этого вопроса:

1. Искусство безусловно суверенно, нет ничего, что могло бы диктовать ему законы извне.

2. Вместе с тем искусство имеет высокое, высочайшее назначение, поэтому оно насквозь этично, не подчиняясь этике.

Хочу отметить, что миссия искусства неразрывно связана у автора с проблемой бытия и истины в их единстве. Это — так же, по-моему, имеет очень плодотворную динамику.

Противоречив, но, пожалуй, плодотворно противоречив, подход автора к проблеме влияния на искусство того, что не есть искусство (в широком

смысле "среды"). Он и признает его, поскольку это позволяет наполнить деятельность художника дыханием эпохи. Но вместе с тем автор и отвергает такое влияние, поскольку настаивает на определяющем влиянии внутренних законов искусства.

Чрезвычайно интересным представляется определение автором модернизма, рассмотрение национальных особенностей русского модернизма, которым он считает футуризм (соответствующий, таким образом, западному декадентству). Наконец (хотя это и не исчерпывающий перечень) очень важны наблюдения над значением необычности слова как орудия наименования.

*

Мысль автора выглядела бы ярче, если бы он снабдил ее некоторыми дополнительными пояснениями, сводящими до минимума возможность ложных толкований.

а) Он говорит об онтологической простоте и сложности, и в этом, действительно, суть дела. Но кроме того, есть еще простота, определяемая, во-первых, экономией средств, адекватностью формы и мгновенностью восприятия, во-вторых, — привычкой читающего к стилю, приемам выражения, технике. Здесь — простота явление положительное, но это понятие уже совсем иного плана. Следовало пояснить эти различия.

б) Свои понятия автор раскрывает как бы исторически. Он говорит о Пушкине, Тютчеве, Маяковском, Хлебникове. Поэтому можно подумать, что он претендует на всеобъемлющую оценку их как онтологически существовавших творцов. А следовало бы сделать существенные и необходимые оговорки. Первая: он рассматривает их творчество

с откровенно субъективных позиций, а также оценивает ту его грань, которая входит в творческое хозяйство автора. Для его общей позиции правильность или неправильность оценки конкретных поэтов имеет мало значения. Вторая: оценке подвергается творчество этих поэтов, поскольку оно — этап развития одного синтетического русского поэта, именующего вещи. Автор берет этих поэтов как атомы русской поэзии. Но сверх того они еще и поэты сами по себе и навсегда. Этого автор не касается, по крайней мере, не должен касаться. Недосказанность такого рода иногда увлекает его в срывы.

*

Но в эссе есть и моменты, вызывающие у меня недоумение (я беру слово в первоначальном значении и не вкладываю в него тенденции отрицания).

а) Автор выступает в качестве некоего поэтического Гегеля. У него поэзия закономерно, детерминированно развивается, проходя через личности поэтов, как этапы. Я бы назвал это глубоко ошибочным, если бы автор не был — несомненно и бесспорно — персоналистом, который воспринимает творчество поэтов как глубоко индивидуальное и неповторимое. Я уже указывал, что эссе предполагает два аспекта оценки. Это — ясно. Но как они соотносятся, и в чем вечная роль великих, непреходимость их слова — вот это не ясно. А это необходимо прояснить.

б) Автор очень остроумно определяет модернизм (пожалуй, лучше бы — декадентство). Но ведь не менее важно выяснить, что такое "зло" в поэзии. Разве модернизм не служит дьяволу, заслоняя путь к священному наименованию? Но если модер-

низм и есть зло, то что же тогда иное "зло", более тонкое и страшное — зло Бодлера, Ницше, Леверкюна? Наименование не от Бога? Но значит существует имя от дьявола, которое и истинно (иначе это не было бы наименование) и ложно? Какие открываются здесь пути! Важно было бы, чтобы автор их продумал и поделился с нами своими мыслями.

в) Автор пишет о творчестве и не касается вопроса о красивом, о прекрасном. Но разве не художник по преимуществу творец прекрасного? Допустим, что это и не так. Но тогда об этом следовало сказать. Эссе не выглядит от отсутствия этой проблемы ущербным. Отчасти и хорошо, что понятие прекрасного было в нем по существу обойдено. Но вследствие этого работа нуждается в продолжении.

*

Мне кажется, что предполагаемая метафизическая система автора недостаточно персоналистична. Роль художника не соотносится с развитием личного начала в бытии. Он как бы "приставлен" именовать вещи. Но что будет, когда вещи обретут наименования? Что тогда станет с художником? Что тогда станет с миром? Можно ли считать, что существует статистическая, неподвижная истина и неподвижные вещи, имеющие отделенное от них единое имя? Я думаю, нет. Истинное творчество не в том, чтобы *наделить*, но в том, чтобы *создать* само имя своим бытием (или, вернее, первое и состоит во втором). Автор цитирует Бердяева, но сам, пожалуй, ближе в этом к Соловьеву (что, естественно, ничуть его не компрометирует).

Кроме того, я полагаю, что творчество более

широкое понятие, чем искусство. Искусство с его наименованием само в целом лишь этап творчества. Искусство выявляет свою противоречивость и уступает место еще более высокой деятельности по преобразованию самого бытия.

Я хочу кое-что добавить к вопросу о глубине именуемых слов. Мне кажется, глубина слоя — понятие, определяемое несколькими параметрами, а не одним. Можно по одному параметру уйти вглубь, а по другому, наоборот, — обмельть. Автор описывает движение в русской поэзии по одному параметру — параметру логики развития наименования. Но есть и еще параметр, зависящий от того, что у вещи много граней, подлежащих именованию. Художник видит в эмпирической вещи сущность, которую она реализует. Но будущность мира еще не определена, не детерминирована. Еще не решилось, в чем художественная сущность вещи. Художник может занять различные позиции по отношению к вещи, он может видеть ее от Бога, от праха, от дьявола. Пушкин более видел вещи от Бога, чем Маяковский, о котором сам автор говорит как о модернисте. С Маяковским душно и плоско, а он именовал вещи на более высоком этапе развития логики именования. И Серебряный век русской поэзии. Нет, это не ошибка, что он не золотой. В нем, действительно, меньше поэтичности. Бердяев правильно заметил, что это был по существу "анти-поэтический век".

Мне кажется, что у именования три параметра:

1. Логика искусства — ее прекрасно показал автор.

2. Позиция художника по отношению к божественному познанию вещей.

3. Степень персонализации художника.

Поэтому в целом поэзия движется назад, будучи падшей дочерью павшего мира, несмотря на то,

что накоплено объективно много. Цель в том, чтобы осуществить потенции. Мы можем больше, чем классики, но сделали меньше. Автор как бы не замечает, что поэзия немодернистская также не избежала тонкого модернистского яда.

2

Бытие, в котором мы действуем, — это вторичное бытие, которое держится силами бытия первичного. Первичное бытие — едино, неделимо. Но вторичное бытие, чтобы осуществить свое назначение — стать из образа первичного бытия его подобием — должно стать и плюралистическим — союзом личностей. Вокруг этого персоналистического бытия организуется неперсонализированное, но союзное ему бытие. Прогресс бытия — в его персонализации. Бытие персонализируется, преодолевая антагонистическое начало, которое направлено к уничтожению сущего, к совершению акта, обратного творению. Превращение бытия в бытие персонализированное, или, что то же, создание чего-то из ничего, и есть творчество. В какой-то мере творчеству причастна каждая личность самым характером своего существования.

Наш мир еще творится, "дотваривается", потому, что личность не может быть создана без участия самой этой личности. Есть нечто, что в некоторых отношениях находится за пределами любого могущества, не умаляя его. Никто не может сделать за меня то, что должен сделать я. Я не могу персонализироваться внешними только усилиями.

Личность начинает выделяться из целого и должное бытие раздваивается. В принципе, личность — бытийнее внеличного бытия космоса. Но выделившееся личное начало одновременно и бытийнее

безличного качественно, и менее реально, менее воплощено. Душа лишь частично воплощена в теле. Сознательное оторвано от бессознательного. Личность старается обрести полное бытие, персонализировав его. Здесь проявляется диалектика: чем больше отрыв личности от общебытия, тем больше у нее потребность и возможность воплотить его. Художник предельно оторван от первобытия.

Итак, художник — тот, кто является представителем всего человечества и принимает на себя крест отрыва и воплощения. Вот откуда его наибольшая бытийность и, вместе, почти призрачность. Происходит столкновение личности и хаотического бытия.

3

Каждый художник, органически ощущающий свое призвание, видит свою задачу в "наименовании" вещей; мир, по выражению Пруста, существует для того, чтобы быть описанным. Разумеется, это наименование вещей не есть составление их списка, инвентаризация изолированных единиц. Художественное наименование — это объединение вещей с той неповторимой индивидуальной позиции, которую по отношению к ним занимает художник. Происходит выяснение отношений художника и вещей. А это значит, что не только вещи раскрывают себя в имени, но и художник. Поэтому в процессе наименования вещей происходит персонализация художника, что выявляет неразрывную связь персонализации и творчества.

Художник редко обладает нужной теоретической подготовкой, ясным самопознанием и волей к отвлеченной истине, чтобы составить себе правильное

представление об отношении художественного творчества к принципам должного. Оно, как правило, дается или величайшим творцам, которые больше, чем художники, или, напротив, тем, кто страдает недостатком непосредственной творческой силы и пытается возместить этот недостаток через рассудочные схемы. Но всякий художник (не всякий, разумеется, кто "занимается" искусством) чувствует, что он может и должен защищать свое видение мира и свою творческую свободу от всего, что им не имманентно, от всякого внешнего, даже этического, давления. Отсюда то явление, которое может показаться парадоксальным: неустойчивые, распушенные и даже прямо аморальные в жизни художники, создающие в своем творчестве уродливые и безнравственные образы, нередко служат своему искусству как подвижники, сжигают на его алтаре все свои силы и даже жизнь. И с высоты этой своей жертвенности они смотрят на нравственных как люди, не изменяющие свободе своего творчества авторов — с чувством не только художественного, но и *нравственного* превосходства. И мы чувствуем, что они имеют на это право, хотя и одностороннее, потому что они верны долгу художника, который заключается в том, что в процессе творчества этика требует от художника, чтобы он руководился не ее законами, а законами художественного творчества. Разумеется, это вовсе не означает, что *этика* оказывается безразличной к *этической стороне* произведения, что там, где действуют эстетические законы, там этические отменяются. Происходит совсем другое. Художник творит только в свободе. Характер этого творчества и продукт его может быть нравственным или безнравственным (такая возможность возникает при всяком акте свободы), но иначе творчество невоз-

можно. И этика как бы отпускает художника в область, где ее контроль уже невозможен. А это означает, что для исполнения этических норм в данном случае необходимы действия (творческие акты), которые этими нормами не могут контролироваться и потому отвержение такого контроля этими нормами не только допускается, но даже требуется. Следовательно, в данном случае этика, с одной стороны, утверждает и санкционирует эстетические независимые нормы, а с другой стороны, между нормами этики и эстетики могут и даже неизбежно возникают расхождения.

Все подлежит именованию, поэтому все может быть объектом художественного изображения, даже самые отвратительные и безнравственные вещи. (Разумеется, если это не делается с заданными антиморальными целями, потому что это означало бы также отклонение от творческой свободы и потому в силу сейчас же вступал бы нравственный суд.)

Вещи не демонстрируют, а скрывают себя. Творчество оказывается борьбой с этой скрытостью вещей, проникновением в вещи, срыванием с них масок. Мир должен быть описан, а поэтому — разоблачен. При этом приходится преодолевать сопротивление вещей и сопротивление антиличного в себе. Это преодоление и является причиной мук и счастья творчества. Разоблачение вещей, достигнутое в творческом акте, может оказаться мимолетным, ибо увиденные имена снова уходят в небытие, вещи опять надевают свою маску, и преходящее времени торжествует над художником. Поэтому он чувствует потребность закрепить имя разоблаченной вещи в продукте творчества — прежде всего для себя, а потом и для других. (Я оставляю в стороне авторское тщеславие, которое является со-

путствующим этому стремлению, но не его причиной, параллельным использованием.) Закрепление означает фиксацию победы над маской вещи и над временем. Вещь как бы изымается из времени как замаскированное и переносится в вечность как разоблаченное. Эта связь выражается в наименовании, которое Пруст (понимавший задачу художника как описание мира) дал своему роману — "В поисках утраченного времени".

Таким образом, художник, описывая вещи, двигается в глубину их, то есть в направлении истины вещей, *которая есть согласие вещи с ней самой* (как сказал Гегель, и в чем можно с ним согласиться, *если* не принимать его представления, в чем *эта самая вещь* заключается). Здесь придется связать разбираемый вопрос с обрисованной уже персоналистической картиной мира. Поскольку она трудно усваивается непривычным сознанием, то подойдем к ней посредством сопоставления ее с двумя другими точками зрения, которые (условно, по одной характерной черте) обозначим как "натурализм" и "гегельянство".

Согласно первой, в мире объективно не существует ни разума, ни смысла. Они субъективный образ того, что ни разум, ни смысл, — а мертвая, пространственно-временная закономерность. Мир лежит в пространстве и времени и связан механической или статистической детерминированностью (потому что противопоставление статистических законов детерминизма происходит в рамках последнего). Такая точка зрения в настоящее время оказывается единственно возможной для большинства людей, поскольку они более не вмещают понятия смысла и свободы в себе. С этой позиции непонятно и как вещь может быть в согласии сама с собой, так как вещь есть то, что есть,

и раздваивается, иметь что-то за собой она не может.

С точки зрения "гегельянства" в основе бытия лежит разумное, духовное начало, которое постепенно осуществляется в мире, внедряя в него смысл. Так что существуют вещи *эмпирические и вещи, воплощающие в них, идеальные. Согласие их между собой и есть истина*, которая воплощается неизбежно.

С позиций персонализма и то и другое едины в отрицании свободы и творчества, поскольку в них понятие смысла или открыто отсутствует или присутствует в форме закона, так что фактически отсутствует также. Действительный смысл вещей — это их способность включаться в персонализированное бытие, *которая может и не реализоваться*. Истиной вещи оказывается не то, чем она является (эмпирическая природа) и не то, чем она будет являться (ибо это не предрешено), а то, чем она *должна являться*. Поэтому художник видит истину постольку, поскольку принимает ее и приобщается к ней в своем свободном выборе. Художник может, таким образом, занимать различную позицию по отношению к истине вещей, именуя и соединяя их по различной степени обнаружения их *идеальной природы в эмпирической*. При этом необходимо отметить, что в какой-то мере эмпирическая природа вещи уже сейчас содержит идеальную, иначе вещи не могли бы существовать.

Поэтому даже эмпирическое наименование вещей является первым шагом к выявлению в них идеального образа. Ощущение идеальных потенций творчества и составляет ту его сторону, которая заставляет нас видеть в нем нечто высокое и значительное.

При именовании эмпирических вещей художник

в своем творчестве связан с прекрасным только потенциально, через логику творческого углубления в вещи. На этом этапе он непосредственно выявляется лишь в одной вещи — в своем мастерстве наименования. При этом возникает противоречие между слепотой художника в отношении прекрасного в вещах, как бы отказом его видеть — и утверждением прекрасного в образе своего мастерства. Этот разрыв может быть примирен психологически, но это ложное и потому временное примирение. В дальнейшем художника ждет либо трагедия, либо упадок творческой силы, либо движение в направлении истины вещей для обретения прекрасного.

4

Что такое "прекрасное" (если взять этот термин в значении высокой степени "красивого")? Попытаемся выяснить это путем постепенного раскрытия непосредственно присущего нам представления. Возьмем сначала для рассмотрения какое-нибудь сочетание красок и линий, не обладающее изобразительным содержанием. Оно будет представляться красивым лишь при том непременно условии, если все его линии и краски будут находиться в определенном отношении и составлять замкнутую в себе целостность, в которой каждый элемент отражается в другом. Эта целостность стоит выше расчета, так как расчет предполагает движение от одной части к другой, то есть разновременное существование частей. Поэтому при расчете ранее возникшая часть не может учесть позже возникшую, а это необходимо в прекрасной целостности, так как здесь все части зависят друг от друга и

должны возникнуть (разумеется, в воображении художника, а не материально) — одновременно, в обоюдной поддержке. Поэтому творчество и связывается с вдохновением, стоящим выше расчета, сверхрассудочным.

Кроме того, прекрасное предполагает творца, так что оно может не иметь никакого изобразительного содержания, но имеет эстетическое содержание. Если рассматриваемое нами сочетание будет нами восприниматься как составившееся случайно, то в тот момент, когда мы будем созерцать в нем эту случайность, мы воспримем его не как нечто прекрасное, а как бы копию прекрасного, поскольку за ним не стоит *цель*.

Поскольку все части прекрасного взаимосвязаны, то ничего, из относящегося к чему-либо прекрасному, не может оставаться вне его. Поэтому оно образует как бы маленький космос, имеющий центр бытия в себе самом.

До сих пор мы имели дело с неизобразительным сочетанием красок и линий. Такое сочетание как бы полностью эмансипировалось от всего остального, но именно в силу отсутствия с ним всяких связей, ничего не отрицало за своими пределами. Оно как бы оказывалось бесконечным (как бесконечная линия окружности) в конечном, но ограниченным бесконечным, не имеющим выхода в бесконечность высшего порядка. Это — красота безделушки, совершенная в своей законченности, но мелкая.

Красота изобразительного искусства представляется более значительной, так как в качестве своей составляющей включает наименование вещи, имеющее отношение к смыслу и, таким образом, соединяющее произведение с тем, что находится

за его пределами. Это видно хотя бы из того, что для ощущения красоты безделушки нам не нужно ничего *знать*, а для ощущения красоты живописи необходимо знать нечто о ее содержании, хотя бы мы и преследовали при этом чисто эстетические цели. Если, например, я не знаком с греческой мифологией, то я не смогу получить полного эстетического впечатления от картины на ее сюжет. Конечно, я могу воспринять ее колорит, ритм, но без учитываемого ими содержания картина не будет замкнута на себя и не составит художественного целого*. Составляющая содержания имеет два аспекта: одним она полностью включается в художественную целостность, другим выходит за его пределы, и художественный космос вступает в отношения с окружающим. Это выявляет, что прекрасное содержит в себе потенцию зла, поскольку отвергает окружающее, с которым вошло в связь, своей космической замкнутостью, игнорированием его существования. Например, красивое лицо несет своей красотой отпечаток гордыни и унижающего превосходства. Оно с трудом воспринимает и отпечаток доброты (и даже интеллигентности), но если воспринимает, то становится этическим, так как в своем добровольном отказе от даров проявляет *братство к окружающему*.

Красота изобразительного искусства глубже красоты безделушки (хотя ей и несравненно труднее быть совершенной). Оставаясь замкнутым миром,

* Если я могу, в ряде случаев, составить представление о содержании из самой картины, то лишь потому, что *нечто* о предметах, на ней изображенных, я (как и всякий) все же знаю. Если же я не имею понятия о плодах и сосудах, то содержащий их натюрморт превратится в сочетание пятен и из него выпадет *художественная часть*.

она в то же время начинает втягивать в свою орбиту нечто, стоящее за своими пределами, преобразовать мир.

Еще глубже прекрасное в музыке, которая, вопреки распространенному представлению, является наиболее изобразительным искусством, поскольку дает образ самого космоса* (почему программная музыка и представляется чем-то снижающим идею музыки до уровня обычных изобразительных искусств). Это позволяет отвести музыке первое место в иерархии искусств (конечно, речь идет об идее *вида* искусства, а не о конкретных художественных произведениях). Однако, высшее из искусств — музыка — и в большей мере, чем все прочие, выявляет и принципиальную ограниченность возможностей искусства вообще, как мы увидим в дальнейшем.

*

До сих пор мы разбирали прекрасное в искусстве. Теперь перейдем к прекрасному в природе. И прежде всего: можно ли вообще говорить о прекрасном в природе в том смысле как оно существует в искусстве?

Допустим, перед нами красивый пейзаж или животное. Мы говорим в этом случае о *красивой вещи*, то есть о чем-то, имеющем бытие в себе, а не о красивом сочетании красок, для которого вещь служит только материальным условием, как полотно для картины или инструмент для

* Поэтому музыка и составляет в области искусства эквивалент философии в области познания. По нашему мнению, вершиной человеческой деятельности является литература, которая может быть и искусством и философией одновременно.

музыкального произведения. Но является ли это бытие вещи такой же составляющей прекрасного, как в искусстве? Разумеется, идеал вещи является такой составляющей (как если бы эта вещь была нарисована), но бытие вещи — *не является*. Поэтому мы имеем дело как бы с иллюзией, от которой невозможно отстраниться, так как мы рассматриваем прекрасное как прекрасную вещь, в то время как фактически это впечатление происходит от ее "поверхности", поскольку причины красоты или совсем не зависят от характера бытия вещи или же зависят опосредствованно. Таким образом, в природе не существует прекрасного в том смысле как в искусстве. И природа, и искусство имеют свое преимущество и свою ущербность. В этом плане вспомним старинное сравнение яблока нарисованного и яблока действительного; нелепость использования этого сравнения не должна закрывать его поучительности. Согласно рассуждению утилитаристов, введших этот пример в оборот, яблоко действительное совершеннее потому, что оно может быть съедено, а яблоко нарисованное, будучи *яблоком*, в пищу употреблено быть не может. Анекдотическая глупость этого рассуждения — в подразумеваемом как несомненное, что нарисованное яблоко имеет то же назначение — употребляться в пищу. В этом смысле оно оказывается не просто ниже действительного, но совсем никуда не годно. Но ведь нельзя не признать, что невозможность съесть нарисованное яблоко демонстрирует призрачность его существования, то, что (употребляя очень неточные, но дающие в данном случае нужное представление термины) его содержание не выходит за пределы его формы. В то же время эта призрачность, отсутствие содержания за пределами формы и делает для него возмож-

ным *быть красивым*. Вещи имеют бытие в себе, но в силу этого не прекрасны. Произведения искусства прекрасны (конечно, лишь некоторые из них), но потому, что не имеют бытия в себе.

Значит ли это, что такой разрыв принципиально невосполним?

Мы видим, что произведения искусства прекрасны, так как они целостны, замкнуты в себе, но при этом они (исключая безделушки) — в качестве составляющей — и лик вещей. И тем более, чем они серьезнее. Таким образом, искусство, создавая прекрасное, не отдаляет себя от вещей, но, напротив, включает в себя в качестве существующего образа то, что в вещах должно существовать реально. Можно сказать, что искусство являет протест против того, что идеальным вещам не принадлежит эмпирического существования и стремится восполнить этот недостаток. Но достигает оно этого потому, что удовлетворяется существованием образа того, что должно существовать. В пределах любого искусства все прекрасное ограничено. Строго говоря, слова "ограничено" здесь недостаточно, так как эта ограниченность абсолютна, поскольку заключается в том, что прекрасное искусства не имеет независимого бытия. Поэтому искусство не восполняет отсутствия прекрасного в вещах, а лишь выявляет, что должно быть восполнено. Для достижения этой цели нужно соединить бытийность вещей природы с образом прекрасного в искусстве, яблоко нарисованное с яблоком действительным.

Допустим, что это соединение достигнуто. Что тогда произойдет? Рассмотрим это на примере того же яблока.

Эмпирическое яблоко, как и все эмпирические вещи, имеет *структуру*, то есть состоит из частей, имеющих связь, но не объединенных целостностью (почему эмпирические вещи возможно моделировать). Структурность вещей выражает невоплощенность в них смысла, внутри которого нельзя передвигаться. При воплощении в эмпирическое яблоко его идеальной природы, его структура окажется пронизанной смыслом, она образует целостность. Возникнет вещь, обладающая прекрасным бытием, потому что прекрасное бытие — это материя, пронизанная смыслом, одухотворенная материя.

Мы перенесемся тогда в мир, где *реально* существуют предметы искусства, получившие бытие, союзное нам. Мы окажемся в преображенном мире, где вещи нетленны, одухотворены и не противодействуют нам своей материальной бездуховностью. Быть в преображенном мире и значит быть спасенным.

Почему мир не может быть преображенным посредством и в пределах искусства? Этот вопрос имеет и практическое значение, поскольку художники склонны впадать в эту иллюзию, причем пропорционально своей одаренности и месту своего искусства в иерархии искусств.

В процессе именования вещей задача художника, как мы видели, углубляется и видоизменяется. От именования эмпирических вещей он переходит к именованию идеальных вещей, так как идеальные именования и являются истинными именами вещей,

показывая их наиболее глубокий и истинный облик. Именуя вещи и закрепляя их в вечности, художник персонализируется, вступает в круг идеальных образов и вводит в него других. Мир вокруг него меняется, изменяется и сам художник. Это происходит в процессе крайнего напряжения его творческих сил. В состоянии творческого экстаза зарождается иллюзия, что можно достичь наименования вещей не просто истинными именами, а абсолютно истинными именами, что, по существу, означает утверждение, что явление превратится в сущность, а это означало бы пребывание не среди идеальных имен, а среди идеальных вещей. Такая иллюзия (свойственная, например, Скрябину) естественно оказывается на пути художника, но от этого не перестает быть иллюзией, несмотря на все величие своей дерзновенности. Художник имеет дело не с реалиями, а с образами. Их различие — не количественное, а качественное, поскольку первые обладают независимым бытием, а вторые — его лишены. Передвигаясь относительно вещей, художник склонен воображать, что передвигаются, то есть изменяются сами вещи. Ложность и опасность этой позиции связана с тем, что художник — по своей реалии борец за конкретность и подлинность бытия — начинает призрачность бытия. Он как бы полагает, что все бытие, включая и другие личности, — не вещи в себе, а только его представления. Он сам оказывается единственной личностью, сохраняющей бытие в себе, центром бытия — и тем самым выражает претензию подменить собой Бога, что бросает его в объятия безумия и сатанизма.

(Подобный срыв есть результат доведения до крайности психологических черт, свойственных художнику как психологическому типу. Художник склонен к эгоцентризму, смешению реальных ве-

щей и их образов, к "импрессионизму бытия". Для художника он сам, как творец и космос, как целое — более реален, чем для других людей, все остальное, напротив, — более призрачно, иллюзорно. Но призрачность других личностей приводит и к невозможности ощущать себя достаточно реальным как человека, поскольку сознание своей реальности возникает в связи с признанием реальности другого. Поэтому у художника, более чем у кого бы то ни было возникает необходимость контактов. Он хочет, чтобы другие помогли ему утвердить его реальность, он чувствует свое *право* на такую помощь, потому что его болезнь собственной нереальности возникает как следствие жертвы, приносимой им в борьбе за утверждение реальности бытия. Отсюда и особое внимание художника к теме любви, ибо любовь и есть предельное утверждение реальности другого. Художник более чем кто-либо из людей нуждается в любви, и менее чем кто-либо способен к ней.)

Таким образом, создание прекрасного бытия лежит за пределами искусства. Но искусство уже понятие творчества. Возможно творчество, которое создает прекрасное бытие. Это — творчество над самим бытием.

6

Может создаться впечатление, что преображенный мир, поскольку в нем, путем соединения двух природ вещей, осуществляется красота бытия, является *эстетическим миром*, то есть мир преобразуется путем красоты, которая и является высшей ценностью. Мир как будто не нуждается в этике для своего спасения, ибо пре-

ображается путем осуществления эстетических заданий.

Это ложное представление возникло потому, что мы рассматривали преображенный мир лишь как достигнутое состояние и притом лишь с эстетической стороны, в то время как, будучи эстетически совершенным и удовлетворяя эстетическим требованиям, он эстетическим путем осуществлен быть не может.

Мы уже видели, что этика нуждается для осуществления своих целей (моральных требований) в творческой свободе художника, а потому санкционирует свободу творчества от себя. На первом этапе соотношения художника с истиной вещей, когда он именуется только эмпирические вещи, содержание художественного произведения внеэтично. *Этика требует от художника только соблюдения свободы своего творческого видения мира*, степень мастерства художника не зависит от его этической позиции. Этика здесь не является движущей силой творчества.

На следующем этапе творчества художник определяет свое отношение к идеальным образам вещей. Поскольку истина вещей реальна в настоящее время только как должное, но не как воплощенное эмпирически, то признание ее или отрицание определяется позицией художника: признание ее моральной истиной — его этической позицией, а эстетической истиной — художественной позицией. В это время этическая и эстетическая позиции художника относятся уже к одному объекту и могут противоречить друг другу и друг друга поддерживать, причем их отношение чрезвычайно сложно. С одной стороны, этическое давление на художника не мешает его творчеству, а, наоборот, толкает его в том же направлении, что и эстетические требова-

ния, но, вместе с тем, требования совершенной этической чистоты могут сделать его художественно робким, создать *боязнь творческой свободы*, чего не могло быть на предшествующем этапе, так как там этике был закрыт путь влияния на эстетику.

После перехода к творчеству над бытием само творчество теряет свой исключительно эстетический характер, который оно имело, поскольку художественное творчество — это выявление идеальных образов в материальных вещах. Красота — одухотворенная материя, поэтому и выявление образов этой материи производится эстетическим путем, хотя уже при содействии этических требований. Но создавать чужое бытие возможно только Богу. Личность способна непосредственно творить (и, стало быть, преобразовывать) лишь свое собственное бытие. Но творение собственного бытия — прежде всего этическое действие, которое в то же время приводит к эстетическому преобразованию мира. Персонализация мира — это спасение всего космоса, то есть не только духа, но и материи. Личность не сводится к душе. Личность, то есть образ и подобие Божие, это душа, воплощенная в теле, которое преобразовано в качестве идеальной вещи. Поэтому на этапе творчества над бытием — этические требования расширяются. До сих пор этика была обязанностью по отношению к душе, а эстетика — к материи. Поскольку душа и тело были полусоединены, и полупротивопоставлены, то, соответственно, в таком же положении находились и этика с эстетикой. Они могли поддерживать друг друга и противостоять друг другу, как мы и видели. Однако, *в идее* они едины, поскольку содержат в себе логику конечного соединения, ибо душа должна окончательно воплотиться, чтобы об-

рести свою реальность и раскрыть свои потенции через одухотворенную чувственность. Когда личное начало персонализируется не в душе, а в соединении души с преображенным телом, то этика, которая составляла только часть должного и потому могла вступать в противоречие с некоторыми его требованиями, теперь с ним сливается — и преобразованное бытие одновременно воплощает требования Истины, Добра и Красоты.



КАК ВОСПИТЫВАЮТ КОММУНИСТОВ

Признаюсь, книгу Вольфганга Леонгарда "Революция отвергает своих детей" я начал читать без всякого интереса. Судя по заглавию и выходным данным (впервые книга была опубликована еще в середине 50-х гг., а сейчас она лишь переиздана на русском языке лондонским издательством ОРИ), судя по вступлению, где автор рассказывал, как он с опасностью для жизни бежал в 1948 г. из советской зоны оккупации Германии в коммунистическую Югославию, можно было думать, что передо мной откровения "прозревшего коммуниста", который будет обличать свою бывшую партию за то, что она убивала пламенных революционеров, верных деятелей марксизма-ленинизма-пролетарского интернационализма, изменила великим идеалам основоположников и проч. и проч. Откровенно скажу, читать книги такого сорта я не охотник: по-моему, борцы просто попробовали то снадобье, которое они охотно изготавляли для других, и мое к этому отношение негуманно совпадает с высказыванием солженицынского бригадира Тюрина из "Одного дня Ивана Денисовича": "Все ж ты есть, Создатель, на небе! Долго терпишь, да больно бьешь!"

Первые главы, казалось, укрепляли в негативном отношении к книге. Немецкий мальчик приезжает с мамой в СССР, хотя на выбор ему предоставлялась Англия. Его помещают в привилегированный детский дом для иностранцев. Потом бесследно исчезает его революционная мама, и он через несколько месяцев получает от нее открытку с загадочными обозначениями "ЛП" (лагерный пункт) и "КРТД 5л." (контрреволюционная троцкистская деятельность, 5 лет лагерей). Но мальчик продолжает верить в коммунизм и товарища Сталина, вступает в комсомол, в

Вольфганг Л е о н г а р д. Революция отвергает своих детей. 2-е изд. — Лондон: Overseas Publications Interchange, 1984.

советский институт (ему повезло: в 1940 году было столько детей репрессированных, что их принимали в институт без помех — иначе некого было бы вообще принимать). Все это написано привычно, но заезженным стандартам "анти-советских мемуаров"...

Но где-то после главы о поступлении юноши в институт, сначала робко, а потом потоком начинает изливаться на читателя поистине уникальная информация!

...Многие ли из советских граждан помнят "Закон от 2 октября 1940 г."? Я сам поверил в достоверность сведений автора об этом законе лишь потому, что еще моя мама платила после войны за мое обучение в школе и на первом курсе института символические рубли, и уже на моей памяти была отменена в СССР плата за образование. В те годы мне, естественно, не приходило в голову, а потом и забылось, что в довоенных рублях это были вовсе не символические, а вполне реальные суммы, которые бедные семьи заплатить вовсе не могли! Но главное, что я узнал из книги Вольфганга Леонгарда, — что этим законом от 2 октября 1940 г. отменили стипендии для студентов советских вузов. Цитирую: "Введение платы за обучение одновременно с упразднением стипендий практически лишало многих детей рабочих и крестьян возможности продолжать учение. В эти дни я видел много заплаканных лиц. Со многими студентами мы распрощались навсегда... В сущности, оставались лишь сыновья и дочери привилегированного слоя, офицеров и прочих "ответственных". Возвращаясь сегодня в прошлое, — пишет автор, — я вспоминаю не только грусть расставания со многими институтскими друзьями: мне становится ясно, что этот закон означал новый шаг в развитии сталинской системы. Чтобы попасть на высокую должность в Союзе, надо окончить вуз... После 2 октября до высоких постов могли, как правило, добраться лишь те, чьи родители занимали эти высокие посты. Круг замкнулся: правящий... слой... начал ограждать себя от проникновения "посторонних" и сделал первый шаг к передаче своих привилегий и должностей по наследству" (с. 93—94).

Наступившая через несколько месяцев война выбросила из жизни тех, кто лишился места в вузе. После войны пришлось восстанавливать выбитую на фронтах интеллигенцию за счет безденежных фронтовиков, и закон от 2 октября потихоньку отменили... Память о нем, и та померкла. Но Леонгард справедливо восстанавливает важный факт в истории

развития и оформления привилегий советской номенклатуры.

Другой важный и тоже практически почти никому неизвестный факт, который он восстанавливает в нашей памяти, — тайные переговоры Сталина с Гитлером в сентябре 1943 г. Впервые об этих переговорах упомянул фон Клейст, указав в мемуарах, что они были прерваны по приказу Гитлера. Леонгард же, работавший в редакции газеты "Свободная Германия", органа одноименного комитета, созданного в Москве, был свидетелем, как редактор сдал в номер передовицу под заглавием "Перемирие — требование момента!.." В последний момент, ночью, ее внезапно вынули из сверстанного номера...

Но самое интересное в этой книге связано не с теми или иными историческими фактами, а с описанием системы подготовки кадрового работника высшего эшелона компартии и с системой первоначальной организации всей партийно-советской власти — в данном случае на территории будущей ГДР.

Молодого Вольфганга подвергли эксперименту, о сущности которого он, кажется, не догадался даже к моменту написания книги, но который ясен "природному" советскому человеку. Когда юному немцу предложили покинуть Москву с эшелоном эвакуированных немцев — советских граждан и политэмигрантов (естественно, их повезли в ссылку), он бросился "хлопотать"! И надо же случиться: ему выдали "чистый паспорт" для проживания в Москве "в порядке исключения". Но... заботливый начальник милиции одновременно дал "хороший совет": все-таки эвакуироваться из Москвы с тем самым эшелоном, к которому он уже был приписан. Мол, потом все равно надо будет эвакуироваться, но сделать это будет труднее, так уезжайте сейчас, пока не поздно... Этот гуманный начальник милиции, который совершил тяжкое государственное преступление, караемое до смертной казни включительно — "распространял пораженчество" (мол, из Москвы все равно придется уезжать), да еще по отношению к немцу во время войны — он выглядел бы невероятно, если... не выполнял особое задание в рамках режиссируемой "органами" комедии. Уедет или не уедет из Москвы немец, которому якобы предоставили возможность остаться в городе в то время, когда приближаются германские войска? Если бы он не послушался начальника милиции, через несколько дней его, верно,

навсегда бы "изъяли бы из обращения" ... Но искренне верующий комсомолец примкнул к эшелону ссыльных и тем самым выдержал экзамен на верность. Тогда-то, видимо, была решена его судьба: после нескольких случайных встреч на улице с активистами немецкой эмиграции (случайных ли?), его зачислили в "новое дворянство" — в кадры профессиональных партийных работников и для начала послали в "школу чертей", — школу Коминтерна.

С этого момента начинается самый интересный кусок книги: жизнь и учеба в школе Коминтерна. Достаточно хотя бы упомянуть, что ученики школы не знали, где она находилась (совершенно *случайно* ученик Леонгард услышал на пристани, где его высадили, название "Кушнаревка"), что никто из них не знал настоящих имен друг друга и своих преподавателей (даже старых друзей, встреченных в школе, Леонгард обязан был называть придуманной кличкой); что главным "практическим занятием", занимавшим десятки учебных часов, стало составление будущих органов власти в захваченных областях тогда еще гитлеровской Германии (да и пол-СССР еще было под властью вермахта!) ...

Специалисты по истории педагогики определяют, методики каких именно тайных школ (тамплиерских? иезуитских? исмаилитских?) легли в основу воспитания и преподавания в школе Коминтерна. Во всяком случае, из выпускников несомненно выращивали "новое дворянство", сословие управителей, с романтическим культом "избранничества" и "революционного права на власть". Мне хотелось бы только отметить, что, много лет спустя, уже избавившись от прошлых иллюзий, Вольфганг Леонгард признал: на Западе он не встречал таких блестящих лекторов, как в школе Коминтерна (хотя содержание их лекций было, по его словам, "извращено сталинизмом")!

Другая, столь же захватывающая глава — об установлении советской власти в ГДР. Мы присутствуем на секретных инструктивных совещаниях, где матерый Вальтер Ульбрихт, человек, который всего лишь за неделю до начала войны говорил своим ученикам-слушателям, что "слухи о войне распространяются с провокационными намерениями. Никакой войны не будет" — именно он учит подопечных, как захватывать и, главное, строить органы власти. Упражнения в школе Коминтерна перенесли, наконец, в практику. И вот что мы узнаем: бургомистром, например, мог стать буржуазный деятель; продовольствием, соцобеспечением,

хозяйственной работой, транспортом лучше, чтоб руководили социал-демократы — они в этом деле разбираются. Здравсохранение — в руки врачей. Но — "первый заместитель бургомистра, заведующий отделом кадров и заведующий отделом народного образования — должны быть наши люди. Затем надо найти среди коммунистов таких, которым можно доверить организацию народной полиции" (с. 368).

Для меня самым неожиданным было то, что в ряду *самых важных*, ключевых для захвата и удержания власти постов был назван Ульбрихтом пост заведомо народного образования — выше, чем пост начальника полиции!..

И, наконец, завершающие главы — о бегстве автора в Югославию.

Мы, бывшие советские люди, настолько привыкли к тому, что сталинский террор сметал юридически невиновные и позднее реабилитированные жертвы, что часто забываем: принципом этого террора все-таки было — "лучше взять десять невиновных, чем упустить одного виновного", то есть, что охота велась все-таки за виновным, за тем, кто сопротивлялся или мог — хоть в потенции — сопротивляться сталинскому режиму. Многие бессмысленные, на первый взгляд, злодеяния Сталина на самом деле были вполне рациональными и продуманными политическими мероприятиями. Читая книгу Леонгарда, я, например, впервые осмыслил, зачем Сталин разрешил своим солдатам убивать, насиловать, грабить на чужих территориях (отнюдь не только в Германии). Сталин помнил урок декабристов, помнил, *какой* именно возвращается русская армия из победоносного европейского похода, и он заранее позаботился о том, чтобы в этой армии было побольше уголовных преступников, которым страшно и стыдно будет вспоминать в России про изнасилованную Европу. Остальных — в лагеря, всех этих копелевых, солженицыных и иных потенциальных "декабристов" ...

Ту же реакцию у меня вызвало чтение глав о конфликте ВКП(б) с югославским Союзом коммунистов. Я нигде раньше не читал, что восточноевропейским коммунистам в начальном периоде их деятельности руководство ВКП(б) обещало, оказывается, разрешить отступление от стандартной российской модели. Все-таки, как ни были зарубежные коммунисты ослеплены идеологией, но не могли же они не видеть, что социализм в СССР не походит на те райские

картины, которые они представляли по книжкам основоположников Учения. Противоречие теории с практикой снималось в их сознании ссылкой на российскую отсталость, которая якобы помешала "Великой Идее" воплотиться в жизнь. Поэтому для *своих* стран восточноевропейские коммунисты хотели все же чего-то иного, чем советский "проверенный опыт" ... Вот почему, когда в 1948 году им дали приказ отменить прежние выдумки об "особом пути к социализму" и велели покорно идти в кильватере за "старшим братом", это не могло не вызвать сильнейшего сопротивления в их среде.

Видимо, мы в тогдашнем СССР не представляли себе его масштабов: Леонгард пишет, что после 1948 года даже в такой, казалось бы, стопроцентно-верной и стопроцентно всем обязанной ВКП(б) партии, как Социалистическая единая партия Германии, было удалено из Центрального Секретариата, то есть тогдашнего Политбюро, 70% состава (10 человек из четырнадцати), в том числе такие ключевые фигуры, как секретарь ЦК по кадрам и секретарь ЦК по пропаганде! Картина всеобщего сочувствия югославским "раскольникам" в изображении автора поражает, и можно было бы подумать, что он преувеличивает, если бы не достоверный факт из собственной биографии Леонгарда — он бежал тогда через две границы и две страны, контролируемые Советской армией (ГДР и Чехословакию), и в каждой точке своего пути пользовался помощью тамошних партийных оппозиционеров. Прочитав эти главы, лучше понимаешь, что у Сталина были мотивы для самой зверской и тотальной чистки коммунистического аппарата в Восточной Европе в те годы, и уже не удивляешься, зачем он поволок в камеры смертников Сланского и Клементиса, Райка и Костова...

Конечно, эта книга, написанная в середине 50-х гг., отражает тогдашние взгляды автора: нынешний профессор-политолог из Йельского университета в США В. Леонгард — это уже не "коммунист с человеческим лицом", а, как он сам себя определяет, "сторонник Сахарова, сторонник тех групп и людей в Советском Союзе, которые стремятся к либерализации и демократизации" (с. 590). И все-таки, по моей оценке, назначение книги не ослабло с годами, ибо она показывает *изнутри* и западному и даже советскому читателю те важнейшие явления и процессы внутри коммунистического мира, которые никто из нас вблизи не знал,

к которым надо иметь "допуск для посвященных". Вместе с автором мы получаем этот "допуск" и начинаем лучше понимать тайны феномена XX века — мировой коммунистической системы.

М. Хейфец

БОЧКА МЕДУ И ЛОЖКА ДЕГТЮ

Передо мною — два стихотворных сборника: "Цветенье трав" Валентины Синкевич и "Автограф" Игоря Чиннова. Книжки, разные по темам и по подходу к темам, несхожие по стилю, — и все же много в этих двух книжках общего. Прежде всего, те вопросы, которые они вызывают.

Берешь в руки книгу и думаешь: читать ее или не читать? Стоит ли? Раскрываешь — и с первых же слов удивляет какая-то необязательность этих стихотворений, игра словами, игра в слова:

Гекатомбы, катакомбы,
Ближний, дальний — улюлю!
Я щелчком нейтронной бомбы
Удивлю, так удивлю! (Чиннов, с. 10)

Что это: несмешные шуточки, желание удивить, так удивить?

Или?

Под чужим и своим покровом,
под кровом, истекая кровью,
ночь притаилась в засаде.
А сзади смерть
без косы и без савана.

Осанна!

Были сраженья, вторженья.
Армии шли в пораженья. (и т. п. — Синкевич, с. 5)

Валентина Синкевич. Цветенье трав. — Филадельфия: Encounters, 1985.

Игорь Чиннов. Автограф. — New England Publishing Co., 1984.

Это уже на шуточки не похоже, и все же — все та же вычурность языка, та же игра в слова, пристрастие к пустым, якобы многозначительным созвучиям. Спрашиваешь себя: зачем написаны эти стихи? Ради красного словца?

Боюсь, что многие так и бросят эти книги, не читая, только пролистав первые страницы. А жаль. Ведь есть в обеих книгах настоящая поэзия. Только загорожена она, словно чащей, проходными стихами, позвякивающими словами, словно мелочью в кармане. Как на следы, натыкаешься в этой чаще на удачные строчки, и идешь по этим следам в глубь книг, и находишь в них, в конце концов, то, ради чего их стоило писать и стоит прочитать.

В целом в первых десяти-пятнадцати стихотворениях сборника Чиннова

"Современный человек
Изображен довольно верно"

— тот избыток информации обо всем на свете, который сыплется на него, как из рога изобилия, он не в силах усвоить — ни душевно, ни умственно, ни нравственно. Его буквально тошнит ею. На бремя непосильных вопросов, взваленных на него современностью, он только и может ответить бессмысленными шуточками да залихватскими словесными сальтомортале:

То то, то другое, то то, то другое,
А хочется озера, сосен, покоя... (с. 19)

...И вдруг, прорвавшись сквозь все эти заросли и рогатки, входишь в мир такой редкостной красоты, что только диву даешься и спрашиваешь себя: неужели его создатель — тот же самый автор всех этих "улюлю" и "термоядерных приветов"?

Не нарушает тишины
Закат китайско-желтоватый
И ветки голубой сосны
Бескрылые, полукрылаты.

На синем запечатлены
Две неподвижные ракиты
И тень сапфирная волны
Лежит у лодки позабытой. ... (с. 53)

В пейзажных стихах Чиннова живописность доведена порой до такой отточенности, что они воспринимаются не столько как поэзия, сколько как живопись. В памяти остаются не столько слова, сколько тончайшие переливы цвета. Эти стихи хочется видеть в цвете, ощутить, пощупать. Как у каждого настоящего живописца, у него есть любимая гамма цветов: сочетания желтого и серого, палевый, сизый, синий:

Серели, желтели развалины.
(Колонны и — старец седой.)
Три облака были расставлены
Над сине-зеленой водой. (с. 26)

И вдруг я оказался, легче ваты,
В китайском умозрительном пейзаже.
Под узловатой веткой угловато
Серела цапля, тонкая, на страже.
.....
Сокрыла цаплю синяя прохлада... (с. 89)

Среди "настоящих" стихотворений Чиннова уже не встретишь такого оглушительного многотемья и многословья, их уже нельзя разделить на "космические", "биологические", "мифологические" и прочая, и прочая. Пейзажная лирика естественно, без натуги, переходит, переливается в философскую, реалистический пейзаж, вспыхивая неожиданной гранью, перевоплощается в сюрреалистический, живопись оказывается в то же время и звукописью — особенно в стихотворении "Огромная лазурь Айя-Софии":

Огромная лазурь Айя-Софии!
В зеленовато-золотой громаде,
В том бирюзовом озере, в том чуде
Клубились мощно светы неземные
Апофеозом: полдень в Цареграде! (с. 56)

Характерно, что и грубость ничуть не вредит таким стихам — наоборот, помогает выявить мысль, сделать ее выпуклой, осязаемой:

Пускай вороны с мериносами
К шакалам пристают с вопросами
Об историческом процессе —

Гляди на нежные соцветия,
На отдаленные созвездия,
На знаки смерти и бессмертия,
На облачное поднебесье. (с. 44)

И по поводу "проклятого" вопроса о свободе воли Чиннову удастся, в конце концов, написать свое, действительно выстраданное, то, что может задеть чувство, разбудить мысль читателя:

Да, Богу будто бы угодно
(Что знают книжники о Нем?)
Чтоб мы пришли к Нему свободно
(Хоть и сгибаясь под ярмом).

Бог — всеблагод и всемогущий,
Всеведущий? Зачем Ему
Испытывать меня? (Я в гуще
Смолы кипящей все пойму?)

.....

Ах, к чорту чорта! Я три года
Готовлюсь к райскому лучу.
Зачем, о Господи, свобода?
Блаженства светлого хочу! (с. 61)

Читая эти строчки, можно поверить, что тема эта для автора важная, наболевшая. Неясно только, зачем же было помещать в сборник столько "ненастоящих" стихов на ту же тему? Разве не хватило бы и одного — настоящего?

С особенным удовольствием читаешь стихи Чиннова, в которых слышатся отголоски русской классической поэзии, а порой и прозы. Тени Пушкина, Тютчева, Лермонтова, Достоевского скользят над такими стихами неуловимо, как тени облаков. Например, уже цитированное выше стихотворение "Не нарушает тишины" кончается строчками:

... как бы в испуге
Все ждет. Ни чаек, ни цикад.
Синеют горные отроги.
И слышно, как молчит закат,
Как бы задумавшись о Боге. (с. 53)

Здесь насквозь чинновский, статичный в своей уподобленности живописи пейзаж (даже тень волны не шевелится — как на картине) высвечивается с неожиданной, лермонтовской стороны, — и понимаешь, что как бы не сам Чиннов тут почувствовал эту углубленную, мрачноватую торжественность минуты, что Лермонтов тут прошел, и его интонация, его дыхание наваяло последние строчки. И это не мешает восприятию стихотворения, как раз наоборот — это-то и дорого в нем, как знакомое лицо в толпе, как родной напев.

Как раз такое претворение чужой поэзии в свою удается Чиннову несравненно — в этом он проявляет и бездну вкуса, и тонкость, и умение быть ненавязчивым. Тут он работает сильно разведенной, чуть слышной краской, кладет ее легкими, прозрачными слоями — в живописи это называется лессировкой. Переходы от "своего" к "чужому" и наоборот в таких стихах почти неразличимы:

По долине пролегает
Путь извилистый земной,
А долина зарастает
Лебедой и беленой ... (с. 29)

Если друг меня отравит,
То в раю или в аду,
Там, куда меня отправят,
Там, куда я попаду,

Что-то будет. А не будет —
Как-нибудь переживем.
Мертвый ножки не остудит —
Босиком плясать пойдем! (с. 59)

В этом отношении мне хотелось бы особо отметить стихотворение "Как белые птицы, летали высокие ноты": не только по теме, но и по настроению оно напоминает некоторые мотивы из "Подростка" Достоевского, причем перерабатывает их в праздничное, сюрреалистическое видение:

Как белые птицы, летали высокие ноты
И к нам опускались флейтисты с нездешнего неба,

Над пыльной дорогой мерцали следы позолоты,
Как тень Аполлона, как тень лучезарного Феба.

.....

... И наполнилось небо конторщиками, продавцами,
Они улетали на радостный остров Цитеру.
Конторские книги махали большими листами,
Сгорая, сияя, волшебнo несясь в стратосферу.

И в нежных пейзажах Ватто или Клода Лоррена
Вели хороводы сенаторы и прокуроры. ... (с. 77)

И у Валентины Синкевич настоящие, "ее" стихи расположены не в начале сборника. В них действительно есть, как она сама пишет, "чистая, дух утоляющая, вода", но чтоб до нее добраться, надо долго прыгать по кочкам ложного, незаразительного пафоса, пробираться среди строк, переперченных аллитерациями и прочими ухищрениями. В отличие от Чиннова, Синкевич меньше всего удаются реминисценции, и прямые (как в стихотворении "Сестры"), и завуалированные (в стихотворении "Как это было"). Когда она пишет (подразумевая М. Цветаеву и А. Ахматову):

Знаю, их рукой
я стихи слагаю

— то хочется спросить: а разве нельзя — своей? Может быть, по той причине, что Синкевич — поэт интровертированный, стремящийся в глубь, а не вовне (опять-таки в отличие от Чиннова), ей лучше всего удаются такие стихи, в которых нет и следа чего-то не своего, заемного. Для такого рода стихотворений характерна некоторая недосказанность, даже таинственность, в них так и тянет вдуматься еще глубже, взглядеться, приблизиться к не совсем еще понятной мысли:

Если б Гамлет гамлета убил в себе!
Уничтожил бы мучительность сомнений!
Есть ведь нечто мертвое в его судьбе,
в гамлетовском судьботвореньи.

Что-то смертное в его любви есть.
И Офелию навек скрывают воды,

потому что в ней проснулась месть
возмущенной крови и природы.

Гамлет гибнет не за кровь отца,
и виновны не король и королева, —
мстила девушка с венком вместо венца,
неживая старенькая дева. (с. 33)

По-моему, Синкевич говорит тут даже несколько больше того, что она хотела бы сказать: трудно предположить, что ей известны новейшие исторические интерпретации сюжетов средневекового эпоса, приведенные, скажем, Хайди Гёттнер-Абендрот в ее книге "Богиня и ее герос". К тому же в этой книге как раз о "Гамлете" ничего не сказано. Остается предположить, что В. Синкевич чисто интуитивно приходит к выводу о происхождении средневекового сюжета "Гамлета" из слоев более древней литературы: по сути дела, умирая, Офелия у Синкевич преобразается в мифологическую фигуру девы-старухи (и венец на голове недаром — символ божественной власти), и Гамлет гибнет подобно Ипполиту в "Федре" Эврипида, наказанный богиней любви (богиня-дева, богиня-старуха и богиня любви были тремя ипостасями одной и той же единой богини; в древних мифах и, позднее, в сказках конкретные девушки то и дело становились воплощениями этой богини, особенно часто — в случае их смерти).

Точно так же тянет "додумать" и другие стихотворения из этого сборника, на которых лежит какой-то отблеск загадочности: "Я утром все еще встаю", "Больной глядит юноша", а также и стихотворение, посвященное Елене Дубровиной ("Друг, замкнутый круг..."). Думается, не случайно стихотворение, посвященное женщине-поэту, стихотворение о том, как трудно "сказать огневую строку под скрежет посудный", завершается образом луны "в заколдованном небе и круге".

И темы современности В. Синкевич удается коснуться по-своему, без проскальзывающего порой у Чиннова захватского "а мы вот как можем", без подпрыгивания и впадания в восторг по поводу собственной современности. В "городских" стихах этого сборника, — которые, может быть, стоило бы собрать в один цикл, — явно прослеживается одна мысль: современность не только мертвяща, она и сказочна. Синкевич удается показать нам самое буд-

ничное, — например, телефон, — под таким углом, что добрая сказочность, живущая в современных "чудесах", становится очевидной:

Уходит город в пыльной одежде.
На тротуаре — нищее деревцо...
Вот тогда-то, в какой-то надежде,
К телефону поворачивают лицо.

И он звонит, говорит, отвечает,
плачет, радуется, горит,
и свет дневной проникает
в сердце каменных плит... (с. 47)

В некоторых "городских" стихотворениях этого сборника явно просвечивают традиции английской поэзии "нелепиц", лимериков: например, в стихотворении "Дома" В. Синкевич описывает три дома: один из них

... без имени-отчества,
Из окон глядит одиночество,
давит тяжелый кирпичный цвет,
бегают шум назойливых бед ...

у другого дома

... в ступеньках — стремление вверх,
мускулы в камне каждом.
И каждый день дважды
дом выходит гулять...

а третий дом даже сидит "сам у себя на крыльце" (с. 52).

Иногда это стремление показать сказочную сторону жизни оборачивается у Синкевич лаконизмом, почти что детским восприятием мира. Стихотворение "Здесь одинаковы лица и души..." по теме — стихотворение для взрослых, а по стилю, по интонации похоже скорее на стихотворение для детей:

У женщины дом красивый
на улице без порыва
ветра весеннего.

В гостиной и в сердце пусто,
мерцает красивая люстра,
мебель, глаза и волосы.
Женщина ровным голосом
говорит, сидя в гостиной...
И манекен на витрине
красиво глядит в пусоту. (ст. 53)

Трижды повторенное "красивый", "красивая", "красиво" подчеркивает мертвенность, нищету описанной в стихотворении "красоты". В. Синкевич ищет — и, к счастью, находит, — иную, одухотворенную, "богатую" красоту: стихи, посвященные этому поиску, кажутся мне самыми интересными и значительными в сборнике. Впервые касается она этой темы в стихотворении "Прохожему":

... и стоим мы совсем одиноко,
не заметив узорчатость платья

мотыльков, и зверей, и деревьев.
Всей земли нашей крепкое братство:
шерсть, и листья, и травы, и перья —
золотое наше богатство! (с. 27)

Тема родства "всего со всем" (как писал А. Платонов) — исконная тема русской литературы, восходящая к истокам мироощущения человечества. К сожалению, для "западного" человека такая цельность мировосприятия, нерасщепленность "менталитета" уже почти невозможна. Тем отраднее видеть, что поэт-эмигрант, большую часть жизни проведенный на Западе, улавливает и развивает ту же традицию, что и художники слова, выросшие в России. Особой выразительности тема единства всего в мире достигает, на мой взгляд, в двух стихотворениях, помещенных в сборнике. Стихотворение "Новогоднее" — как будто бытовое, но Синкевич удается в этом стихотворении создать неуловимо-праздничную, приподнятую атмосферу: здесь празднуют не только люди, но и все предметы, все явления оказываются охвачены праздничным преображением:

... Сверкали им окна,
и двери, и стекла, и пол.

Уютом был вышит и соткан
из праздника белый стол.

Огонь колдовал в камине, —
правнук степного костра —
чтоб не было даже в помине
холода до утра.

Запах сладок хлебного духа,
хвои, праздника и вина.
И в небе, подарком для слуха,
колыбельную пела луна. (с. 55)

Стихотворение, как бы подводящее итог этой темы, так и называется: "Богатство":

Все богатство мое земное
в этой вечерне-ночной тишине
в этом умение коснуться покоя
строчкой стихов, подаренных мне

кем-то. Наверное — свыше.
Рифма, как будто бы в небе звезда
над соломенной крышей
в золотисто-вечерние холода.

Эта жемчужная нитка покоя —
царский подарок. Морское дно.
Или в стене кирпичной — большое
настежь в сад золотое окно.

В этом стихотворении нет ни напыщенных деклараций, ни вычурности, ни пафоса — в нем все тихо, все просто: простотой единственности, простотой необходимости. И обидно видеть рядом с такими стихами, достигающими поэтической мощи и настоящей философской глубины, стихотворения совершенно другие, словно и не тем человеком написанные. Уж, казалось бы, ничего банальнее не придумаешь, чем рифмовка "русские—узкие", "синие—Россию". По советскому радио то и дело слышишь песни с такими рифмами, и непонятно, как могли они пробраться в стихи В. Синкевич. Или ей не привелось советское радио слушать? Или тема России настолько болезненна для нее, что

все еще не настоялась в ней, все еще бродит, как молодое вино? По крайней мере, из включенных в этот сборник стихов о родине запоминаются только строчки про "горькое, острое слово — Остёр". И в то же время ей хорошо удалось то стихотворение, которое по замыслу кажется одним из наиболее трудных, — "Мы не забыты":

... За белый след, который ты заметил,
Когда у нас почти уж нету сил,
Лишь вера есть. А путь был светел...
А день был бел... Закат кровавым был. (с. 28)

"Деготь", которым и Синкевич, и Чиннов разбавляют сборники своих стихотворений, у обоих авторов схож: это манерность, вычурность, ложная многозначительность. А "мед" у каждого из них свой: живой, целебный мед настоящей поэзии.

Н. Малаховская



КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

А н д р е е в Даниил Леонидович родился в 1906 году от первой жены Леонида Андреева, Александры Михайловны Велигорской, умершей через несколько дней после рождения сына.

После окончания университета Даниил Андреев работал редактором, занимался историческими исследованиями, писал стихи и прозу. В частности, он редактировал сборник „Реквием”, посвященный памяти отца (1930). Из стихов 30-х годов составился сборник „Древняя память”. Уже в ранних стихах чувствуется у Андреева глубокая религиозность и склонность к мистицизму, которые со временем стали главной отличительной чертой всего его творчества.

Даниил Андреев участвовал во Второй мировой войне. В 1946 году он издал в соавторстве с С. П. Матвеевым книгу „Замечательные исследователи Средней Азии” и работал над большим романом „Роза мира” — книгой, написанной по его апокалипсическим видениям. Главная идея романа, если попытаться выразить ее совсем кратко, состоит в том, что трагедия России есть некое отражение трагической борьбы высших сил — Добра и Зла.

За чтение этого романа в большой группе собравшихся в частном доме Даниил Андреев был в 1947 году арестован и сходу осужден на 25 лет. После полугодового следствия срок был снижен до 10 лет, которые ему пришлось отбывать во Владимирской тюрьме. По этому делу были арестованы и осуждены на разные сроки в с е слушатели чтения. Он освободился только в 1957 году. Даниил Андреев умер в 1959 году.

В Советском Союзе Даниил Андреев почти неизвестен широкому читателю. Какие-то отдельные очень короткие подборки его стихов промелькнули в начале 60-х годов. В 1975 году вдове Д. Андреева с огромным трудом удалось включить стихотворный цикл „Ладога” в сборник „Ранью зоревою” („Советский писатель”, 1975).

В самиздате стихи и рассказы Даниила Андреева циркулировали с давнего времени, а в последние годы они стали привлекать все большее внимание. Так, например, в сборник „Община” под ред. Огородникова и Пореша вошла его большая поэма „Ленинградский Апокалипсис”.

В зарубежных русских изданиях стихи и рассказы Даниила Андреева были опубликованы в „Вестнике РСХД” № 103,

„Новом Журнале” № 101, „Гранях” № 110, „Гнозисе”. В газете „Русская мысль” от 6 августа 1981 года была опубликована его статья „К 60-летию А. Блока”.

К у б л а н о в с к и й Юрий Михайлович родился в 1947 г. в Рыбинске, окончил искусствоведческое отделение истфака Московского университета. После того как в 1976 году в зарубежной прессе было опубликовано его открытое письмо „Ко всем нам” (к двухлетию высылки Солженицына), работал сторожем в подмосковном храме и на Антиохийском подворье.

Его стихи печатались в альманахе „Метрополь”, в „Гранях” (№ 127), в „Вестнике РХД”, в „Глаголе” и „Континенте”. Автор двух поэтических книг: „Избранное” (Ардис, 1981) и „С последним солнцем” (La Presse Libre, 1983).

П о п о в с к и й Марк Александрович родился в 1922 г. в Одессе. Учился в Военно-Медицинском училище и Военно-Медицинской академии. Участник Второй мировой войны. Окончил филологический факультет Московского университета.

После войны — профессиональный литератор. В СССР опубликовано 14 его книг, посвященных деятелям науки, и десятки статей.

В 1977 г. под давлением КГБ вынужден был эмигрировать. Ныне живет в США. На Западе вышло несколько его книг, материалы для которых он собрал еще в Советском Союзе. Так, в Лондоне (Overseas Publications Interchange) выпущена „Управляемая наука” (1978) — обзор современного научного мира в СССР. В 1980 г. в изд-ве ИМКА-Пресс опубликована его работа „Жизнь и житие архиепископа Луки Войно-Ясенецкого” о знаменитом хирурге, узнике сталинских лагерей и архиепископе Крымском и Симферопольском. В 1983 г. вышли две его книги: „Русские мужчины рассказывают” (о судьбе толстовцев) и „Дело академика Вавилова”.

Р а т у ш и н с к а я Ирина Георгиевна родилась в 1954 г. Закончила филологический факультет Одесского университета, преподавала в Одесском пединституте. В Информационном бюллетене СМОТ № 29 была опубликована ее статья о положении в Польше после военного переворота. Стихи И. Ратушинской опубликованы в „Гранях” № 123

и № 129, в „Русской мысли” от 11 ноября 1982 г., в „Континенте” № 35. В „Гранях” № 126 напечатаны два ее рассказа.

17 сентября 1982 г. Ратушинская была арестована. Обвинялась (по ст. 62 УК УССР) в „изготовлении и распространении” своих стихов и самиздатских статей. Приговор был вынесен максимальный: 7 лет лагерей и 5 лет ссылки. В конце 1986 года была выпущена из лагеря и выехала за границу. В настоящее время живет в США.

С о р о к и н Вячеслав родился в 1942 г. в г. Саратове, в 1964 г. окончил Саратовский университет (филологический факультет). До лета 1965 г. преподавал русский язык и литературу в средней школе на северном Урале (Пермская обл., Усольский р-н, Березовка). В июле 1965 г., воспользовавшись туристической поездкой в Финляндию, бежал в Швецию. С 1966 по 1971 г. преподавал русский язык в Марбургском университете (ФРГ), с 1971 г. — преподаватель русского языка в славянском семинаре университета г. Бонна.

Ш н е е р с о н Мария Анатольевна родилась в 1913 г. в Екатеринославе. Окончила филологический факультет Ленинградского университета. В 1955 г. защитила кандидатскую диссертацию. Свыше 25 лет работала педагогом и занималась изучением русской классической литературы XIX века. Ряд работ М. Шнеерсон был опубликован в Сов. Союзе. С 1979 г. живет в США. С 1980 г. ее статьи, посвященные современной русской литературе, публикуются в „Гранях”, „Новом русском слове” и др. зарубежных периодических изданиях. В 1984 г. вышла книга М. Шнеерсон „Александр Солженицын. Очерки творчества” (изд. „Посев”).



КНИГИ НА ОТЗЫВ

Д о в л а т о в Сергей. Чегодан. (Рассказы). — Тенафлай/США: Эрмитаж, 1986. 108 с.

Е л а г и н Иван. Тяжелые звезды. Избранные стихотворения. — Тенафлай/США: Эрмитаж, 1986. 364 с.

Е р е м и н Михаил. Стихотворения. Послесловие Л. Лосева. — Тенафлай/США: Эрмитаж, 1986. 160 с.

Ж о л к о в с к и й А. К. **Щ е г л о в** Ю. К. Мир автора и структура текста. Статьи о русской литературе. Сост. и ред. А. К. Жолковского. — Тенафлай/США: Эрмитаж, 1986. 348 с.

К а т к о в Г. М. Дело Корнилова. Перевод с англ. Н. Г. Росса. — Париж: YMCA-Press, 1987. 252 с. (Исследования новейшей русской истории. Под общ. ред. А. И. Солженицына. 6.)

К у з н е ц о в Анатолий (А. Анатолий) Бабий Яр. Роман-документ 2-е изд. — Нью-Йорк: Possev-USA, 1986. 488 с.

Л о п и н с к и й Мацей, **М о с к и т** Мартин, **В и л ь к** Мариуш. Нелегалы. Пер. с польского Н. Горбаневской и Л. Шатунова. — Лондон: Overseas Publications Interchange, 1987. 268 с. (Польская библиотека.)

П о э т и к а Бродского. Сб. статей под ред. Л. В. Лосева. — Тенафлай/США: Эрмитаж, 1986. 254 с.

Р а т у ш и н с к а я Ирина. Сказка о трех головах. Рассказы. A Tale of three heads. Short stories. Transl. from the Russian by Diane Nemec Ignashev. — Tenaflay: Hermitage, 1986. 125 p.

ФЕВРАЛЬ — МАРТ 1917 ГОДА

„Специальное приложение” в „Гранях” этого года предназначено для публикации повременных или очень близких по времени материалов о Русской Революции 1917 года. В число таких материалов войдут известные, но редко публиковавшиеся документы, фотографии, записи событий...

Конечно, если это не документы и фотографии, а попытки непосредственных участников сразу по следам событий записать, зафиксировать и даже проанализировать их, то, с точки зрения историка, они несут печать поспешности, пристрастий, оглядки авторов на их собственную роль. Но зато в таких — повременных — свидетельствах сохраняется дух, настроения, дыхание времени и событий, „потрясших мир”, а нашу страну ввергнувших в конечном счете в социальный эксперимент тоталитаризма. То есть в таких свидетельствах сохраняется тот „эффект приближения”, который Время, принося осмысление и глубину понимания, вымывает...

Мы начинаем здесь с февральско-мартовских событий. Сформированное 1 марта 1917 года Временным исполнительным комитетом Государственной Думы Временное правительство, которое возглавил председатель „Всероссийского земского союза” кн. Г. Е. Львов, выдвинуло следующую программу: всеобщая политическая амнистия и отмена смерт-

ной казни; отмена всяких ограничений в правах по социальным, религиозным и национальным признакам; распространение гражданских и политических прав на армию; подготовка выборов в Учредительное собрание на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования; демократизация учреждений земского и городского самоуправления; замена полиции народной милицией. Правительство также обещало не выводить из Петрограда войска, участвовавшие в революционном движении 23—28 февраля.

Тем временем, созданный 27 февраля в Петрограде деятелями социалистических партий по примеру 1905 года Совет рабочих и солдатских депутатов издал 1 марта свой пресловутый Приказ № 1, который упразднил дисциплинарную власть офицеров в воинских частях и передал ее выборным комитетам. Хотя приказ относился лишь к Петроградскому гарнизону, явочным порядком его действие распространилось на все вооруженные силы, где, параллельно иерархии военного командования, возникла иерархия военных комитетов, начиная от ротных и кончая армейскими и фронтовыми.

Таким образом в Петрограде возникло двоевластие: с одной стороны, — имеющее мало реальной власти формальное правительство, хотя и делавшее все от него зависящее, чтобы осуществить на деле принципы свободы и права; с другой, — Совет, не имеющий четко определенных функций, но обладающий реальной властью благодаря своей опоре на рабочих и солдат...

III. Пять дней революции (27 февраля—3 марта).

Роспускъ Г. Думы. — Возстаніе солдатъ и образованіе временнаго комитета членовъ Г. Думы. — Комитетъ беретъ въ руки власть. — Совѣтъ рабочихъ депутатовъ и его лозунги. — Врем. комитетъ назначаетъ министерство. — Переговоры совѣта раб. депутатовъ съ врем. комитетомъ объ условіяхъ поддержки кабинета. — Декларациі Врем. Правительства и совѣта. — Поѣздка Гучкова и Шульгина къ царю и его отреченіе отъ престола. — Рѣчь П. Н. Милюкова и агитація противъ монархіи. — Вліяніе назначенія Михаила вмѣсто Алексѣя. — Врем. Правительство и комитетъ Думы за отреченіе Михаила. — Посѣщеніе в. к. Михаила Александровича. — Позиція П. Н. Милюкова. — Текстъ отреченія. — Первая капитуляція и дальнѣйшій ходъ революціи.

Сигналъ къ началу революціи дало, опять таки, само правительство. Вечеромъ, 26-февраля, предсѣдатель Г. Думы получилъ указъ объ отсрочкѣ сессіи, которая должна была открыться 27-го. Члены Гос. Думы, собравшись утромъ этого дня на засѣданіе, узнали, что они распущены. Въ непосредственной близости отъ Таврическаго дворца въ то же время уже начиналось форменное возстаніе въ казармахъ Волынскаго и Литовскаго полковъ. Движеніе началось среди солдатъ и застало офицеровъ совершенно неподготовленными: одиночныя попытки ихъ воспротивиться движенію привели къ кровавымъ жертвамъ. Солдаты въ безпорядкѣ пошли къ Таврическому дворцу. Одновременно съ этимъ, смѣшанныя толпы отправились къ арсеналу, заняли его и захватили оружіе, бросились къ тюрьмамъ освобождать арестованныхъ — не только политическихъ, но и уголовныхъ, подожгли Литовскій замокъ, окружный судъ, охранное отдѣленіе на Тверской улицѣ и т. д.

„Кто вызвалъ солдатъ на улицу“ спрашиваетъ В. Б. Станкевичъ, наблюдавшій *снизу* начало революціоннаго движенія. Мы видѣли, что предварительная агитація на фабрикахъ и въ казармахъ могла бы дать указанія для отвѣта на этотъ вопросъ. Но, во всякомъ случаѣ, закулисная работа по подготовкѣ революціи такъ и осталась за кулисами. Можно согласиться, поэтому, съ наблюденіемъ Станкевича: „Масса двинулась сама, повинуюсь какому-то

безотчетному внутреннему позыву. . . Ни одна партія, при всемъ желаніи присвоить себѣ эту честь, не могла дать на это отвѣта. Кто могъ предвидѣть выступленіе? Какъ разъ наканунѣ его было собраніе представителей лѣвыхъ партій, и большинству казалось, что движеніе идетъ на убыль и что правительство побѣдило. Съ какимъ лозунгомъ вышли солдаты? Они шли, повинувшись какому-то тайному голосу, и съ видимымъ равнодушіемъ и холодностью позволили потомъ навѣшивать на себя всевозможные лозунги. Кто велъ ихъ, когда они завоевывали Петроградъ, когда жгли Окружный Судъ? Не политическая мысль, не революціонный лозунгъ, не заговоръ и не бунтъ. А стихійное движеніе, сразу испепелившее всю старую власть безъ остатка".

Это и вѣрно, и невѣрно. Вѣрно, какъ общая характеристика движенія 27 февраля. Невѣрно, какъ отрицаніе всякой руководящей руки въ переворотѣ. Руководящая рука, несомнѣнно была, только она исходила, очевидно, не отъ организованныхъ лѣвыхъ политическихъ партій!

Правительство пыталось направить на возставшихъ войска, оставшіяся вѣрными ему, и на улицахъ столицы дѣло грозило дойти до настоящихъ сраженій. Таково было положеніе, когда, около полудня, сдѣлана была двоякая попытка ввести движеніе въ опредѣленное русло. Съ одной стороны, социалистическія партіи, подготавливавшія революціонные кружки среди солдатъ, попытались взять на себя руководство движеніемъ. Съ другой стороны, рѣшили стать во главѣ движенія члены Гос. Думы. Гос. Дума, какъ таковая, какъ законодательное учрежденіе стараго порядка, координированная „основными законами" съ остатками самодержавной власти, явно обреченной теперь на сломъ, была этой старой властью распущена. Она и не пыталась, не смотря на требованіе М. А. Караулова, открыть формальное засѣданіе. вмѣсто зала засѣданій Таврическаго дворца, члены Гос. Думы перешли въ сосѣднюю полуциркульную залу (за предсѣдательской трибуной) и тамъ обсудили создавшееся положеніе. Тамъ было вынесено, послѣ ряда горячихъ рѣчей, постановленіе не разъѣзжаться изъ Петрограда (а не постановленіе „не расходиться" Г. Думѣ, какъ учрежденію, какъ о томъ сложилась легенда). Частное совѣщаніе членовъ Думы поручило вмѣстѣ съ тѣмъ своему совѣту старѣйшинъ выбрать временный комитетъ членовъ Думы и опредѣлить дальнѣйшую роль Гос. Думы въ начавшихся событіяхъ.

Въ третьемъ часу дня совѣтъ старѣйшинъ выполнилъ это порученіе, выбравъ въ составъ Временнаго Комитета М. В. Родзянко, В. В. Шульгина (націоналиста), В. Н. Львова („центръ“), И. И. Дмитрюкова (октябристъ), С. И. Шидловскаго (Союзъ 17 октября), М. А. Караулова, А. И. Коновалова (труд. гр.), В. А. Ржевскаго (прогр.), П. Н. Милюкова (к. д.), Н. В. Некрасова (к. д.), А. Ф. Керенскаго (труд.) и Н. С. Чхеидзе (с. д.). Въ основу этого выбора, предопредѣлившаго отчасти и составъ будущаго министерства, положено было представительство партій, объединенныхъ въ прогрессивномъ блокѣ. Къ нему были прибавлены представители лѣвыхъ партій, частью вышедшихъ изъ блока (прогрессисты), частью вовсе въ немъ не участвовавшихъ (трудовики и с. д.), а также президіумъ Гос. Думы. Ближайшей задачей комитета было поставлено „возстановленіе порядка и сношеніе съ учрежденіями и лицами“, имѣвшими отношеніе къ движенію. Рѣшеніе совѣта старѣйшинъ было затѣмъ обсуждено по фракціямъ и утверждено новымъ совѣщаніемъ членовъ Думы въ полуциркульномъ залѣ. Предложенія, шедшія дальше этого, — какъ-то: немедленно взять всю власть въ свои руки и организовать министерство изъ членовъ Думы, или даже объявить Думу Учредительнымъ Собраніемъ, — были отвергнуты отчасти какъ несвоевременныя, отчасти какъ принципиально неправильныя. Изъ намѣченнаго состава Временнаго Комитета отказался участвовать въ немъ Н. С. Чхеидзе и съ оговорками согласился А. Ф. Керенскій. Дѣло въ томъ, что параллельно съ рѣшеніями совѣта старѣйшинъ было рѣшено социалистическими партіями немедленно возродить къ дѣятельности совѣтъ рабочихъ депутатовъ, памятный по событіямъ 1905 года. Первое засѣданіе совѣта было назначено въ тотъ же вечеръ, въ 7 часовъ, 27 февраля, при чемъ помѣщеніемъ выбрана, безъ предварительныхъ сношеній съ президіумомъ Г. Думы, зала засѣданій Таврическаго дворца. Помѣщеніе Таврическаго дворца вообще послѣ полудня было уже занято солдатами, рабочими и случайной публикой, и въ воззваніи 27 февраля, приглашавшемъ на первое засѣданіе, „временный исполнительный комитетъ совѣта рабочихъ депутатовъ“ (анонимный) говорилъ отъ имени „засѣдающихъ въ Думѣ представителей рабочихъ, солдатъ и населенія Петрограда“. Чтобы урегулировать свой составъ, то-же воззваніе предлагало „всѣмъ перешедшимъ на сторону народа войскамъ немедленно избрать своихъ представителей, по одному на каждую роту;

заводамъ избрать своихъ депутатовъ по одному на каждую тысячу“.

Къ вечеру 27 февраля, когда выяснился весь размѣръ революціоннаго движенія, Временный Комитетъ Г. Думы рѣшилъ сдѣлать дальнѣйшій шагъ и взять въ свои руки власть, выпадавшую изъ рукъ правительства. Рѣшеніе это было принято послѣ продолжительнаго обсужденія, въ полномъ сознаніи отвѣтственности, которую оно налагало на принявшихъ его. Всѣ ясно сознавали, что отъ участія или неучастія Думы въ руководствѣ движеніемъ зависить его успѣхъ или неудача. До успѣха было еще далеко: позиція войскъ не только внѣ Петрограда и на фронтѣ, но даже и внутри Петрограда и въ ближайшихъ его окрестностяхъ далеко еще не выяснилась. Но была уже ясна вся глубина и серьезность переворота, неизбежность котораго сознавалась, какъ мы видѣли, и ранѣе; и сознавалось, что для успѣха этого движенія Г. Дума много уже сдѣлала своей дѣятельностью въ время войны — и специально со времени образованія прогрессивнаго блока. Никто изъ руководителей Думы не думалъ отрицать большой доли ея участія въ подготовкѣ переворота. Выводъ отсюда былъ тѣмъ болѣе ясенъ, что, какъ упомянуто выше, кружокъ руководителей уже ранѣе обсудилъ мѣры, которыя должны были быть приняты на случай переворота. Намѣченъ былъ даже и составъ будущаго правительства. Изъ этого намѣченнаго состава кн. Г. Е. Львовъ не находился въ Петроградѣ, и за нимъ было немедленно послано. Именно эта необходимость ввести въ составъ перваго революціоннаго правительства руководителя общественнаго движенія, происшедшаго внѣ Думы, сдѣлала невозможнымъ образованіе министерства въ первый же день переворота. Въ ожиданіи, когда наступитъ моментъ образованія правительства, Временный Комитетъ ограничился лишь немедленнымъ назначеніемъ комиссаровъ изъ членовъ Г. Думы во всѣ высшія правительственныя учрежденія для того, чтсбы немедленно возстановить правильный ходъ административнаго аппарата. Необходимыя мѣры по обезпеченію столицы продовольствіемъ были приняты особой комиссіей, организованной исполнительнымъ комитетомъ совѣта рабочихъ депутатовъ, но подъ предсѣдательствомъ приглашеннаго Врем. Комитетомъ Гос. Думы А. И. Шингарева. Руководство военнымъ отдѣломъ также взялъ на себя членъ Гос. Думы, введенный въ составъ Врем. Комитета ночью 27 февраля, при окончательномъ выясненніи его функцій, полк. Б. Эн-

гельгардтъ. Личный составъ министровъ стараго порядка былъ ликвидированъ арестомъ ихъ, по мѣрѣ обнаруженія ихъ мѣстонахожденія. Собранные въ министерскомъ павильонѣ Гос. Думы, они были въ слѣдующіе дни перевезены въ Петропавловскую крѣпость.

Формальный переходъ власти къ Временному Комитету Г. Думы, съ ея предсѣдателемъ во главѣ, и ликвидація стараго правительства чрезвычайно ускорили и упростили дальнѣйшій ходъ переворота. Одна за другой, воинскія части, расположенныя въ Петроградѣ и въ его ближайшихъ окрестностяхъ, уже въ полномъ составѣ, съ офицерами, и въ полномъ порядкѣ переходили на сторону Гос. Думы. Члены Гос. Думы разъѣзжали по казармамъ, освѣдомляя гарнизонъ о совершившемся, и части войскъ въ теченіе слѣдующихъ дней непрерывно подходили къ Гос. Думѣ, привѣтствуемая предсѣдателемъ и членами Временнаго Комитета. Гос. Дума сдѣлалась центромъ паломничества. Она сохранила эту роль и послѣ того, какъ правительство, черезъ нѣсколько дней, перенесло свои засѣданія въ Маріинскій дворецъ, предоставивъ Таврическій дворецъ въ распоряженіе совѣта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ.

Первые четыре-пять дней работа вновь созданной власти велась день и ночь среди суматохи и толкотни Таврическаго дворца. Ближайшей задачей Временнаго Комитета и образуемаго имъ правительства было — выяснить свои отношенія къ образовавшемуся рядомъ съ нимъ представительству социалистическихъ партій, заявившихъ съ самаго начала претензію представлять демократическіе классы населенія, рабочихъ, солдатъ, а затѣмъ и крестьянство. Съ самого же начала „совѣтъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ“ поставилъ и свои особыя задачи совершившемуся перевороту. Уже въ воззваніи 28 февраля онъ заявилъ, что „борьба еще продолжается; она должна быть доведена до конца; старая власть должна быть окончательно низвергнута и уступить мѣсто *народному правленію*“; „для успѣшнаго завершенія борьбы въ интересахъ демократіи народъ долженъ создать *свою собственную властную организацію*“. Въ то время, какъ Временный Комитетъ Гос. Думы овладѣвалъ аппаратомъ высшаго управленія государствомъ, „совѣтъ раб. и солд. депутатовъ“ болѣе интересовался тѣмъ, чтобы взять въ свои руки управленіе столицей. Тѣмъ же воззваніемъ начались „районные комиссары для установленія народной власти въ районахъ Петрограда“, и населеніе приглашалось „немедленно

сплотиться вокруг совѣта, организовать мѣстные комитеты въ районахъ и взять въ свои руки управленіе всѣми мѣстными дѣлами". Такъ было положено начало осуществленію „основной задачи" совѣта: организаціи народныхъ силъ для борьбы „за окончательное упроченіе политической свободы и народнаго правленія въ Россіи". Воззваніе упоминало также о „созывѣ Учредительнаго Собранія, избраннаго на основѣ всеобщаго, равнаго, прямого и тайнаго избирательнаго права".

Брошенные такимъ образомъ, независимо отъ Г. Думы, лозунги были быстро усвоены рабочими и солдатскими массами столицы. Только лѣвая часть Временнаго комитета, начиная отъ к.-д., могла примкнуть къ нимъ, оставаясь вѣрной своимъ партійнымъ взглядамъ. Однако же, и со стороны представителей болѣе правыхъ партій возраженія не послѣдовало. Скоро оказалось, что они даже готовы были быстрѣе и дальше идти на уступки, требовавшіяся моментомъ, чѣмъ нѣкоторые представители к.-д. Какъ бы то ни было, нельзя было медлить съ выясненіемъ отношеній Временнаго Комитета къ демократическимъ лозунгамъ. Необходимо было ускорить и окончательное формированіе власти. Въ виду этого, уже 1 марта Временный Комитетъ намѣтилъ составъ министерства, которому долженъ былъ передать свою власть. Во главѣ перваго революціоннаго правительства, согласно состоявшемуся еще до переворота уговору, было поставлено лицо, выдвинутое на этотъ постъ своимъ положеніемъ въ русскій земствѣ: кн. Г. Е. Львовъ, мало извѣстный лично большинству членовъ Временнаго Комитета. П. Н. Милуковъ и А. И. Гучковъ, въ соотвѣтствіи съ ихъ прежней дѣятельностью въ Г. Думѣ, были выдвинуты на посты министровъ иностранныхъ дѣлъ и военнаго (а также морского, для котораго въ эту минуту не нашлось подходящаго кандидата). Два портфеля, министерства юстиціи и труда, были намѣчены для представителей социалистическихъ партій. Но изъ нихъ лишь А. Ф. Керенскій далъ 2 марта свое согласіе на первый постъ. Н. С. Чхеидзе, предполагавшійся для министерства труда, предпочелъ остаться предсѣдателемъ совѣта раб. депутатовъ (онъ фактически не принималъ съ самаго начала участія и во Временномъ Комитетѣ). Н. В. Некрасовъ и М. И. Терещенко, два министра, которымъ суждено было потомъ играть особую роль въ революціонныхъ кабинетахъ, какъ по ихъ непосредственной личной близости съ А. Ф. Керенскимъ, такъ и по ихъ особой близости къ конспиративнымъ

кружкамъ, готовившимъ революцію, получили министерства путей сообщенія и финансовъ. Выборъ этотъ остался непонятнымъ для широкихъ круговъ. А. И. Шингаревъ, только что облеченный тяжелой обязанностью обеспечения столицы продовольствіемъ, получилъ министерство земледѣлія, а въ немъ не менѣе тяжелую задачу — столкнуться съ лѣвыми теченіями въ аграрномъ вопросѣ. А. И. Коноваловъ и А. А. Мануйловъ получили посты, соответствующіе соціальному положенію перваго и профессиональнымъ занятіямъ второго — министерство торговли и министерство народнаго просвѣщенія. Наконецъ, участіе правыхъ фракцій прогрессивнаго блока въ правительствѣ было обеспечено введеніемъ И. В. Годнева и В. Н. Львова, думскія выступленія которыхъ сдѣлали ихъ бесспорными кандидатами на посты государственнаго контролера и оберъ-прокурора синода. Самый правый изъ блока, В. В. Шульгинъ, могъ бы войти въ правительство, если бы захотѣлъ; но онъ отказался и предпочелъ остаться въ трудную для родины минуту при своей профессіи публициста.

Вечеромъ 1 марта въ соединенное засѣданіе Временнаго Комитета Думы и Временнаго Правительства явились представители исполнительнаго комитета совѣта раб. депутатовъ: Н. С. Чхендзе, Ю. М. Стекловъ (Нахамкесъ), Н. Сухановъ (Гиммеръ), Н. Д. Соколовъ, Филипповскій и др., съ предложеніемъ обсудить тѣ условія, принятіе которыхъ могло бы обеспечить вновь образовавшемуся правительству поддержку демократическихъ организацій. Временное Правительство охотно приняло это предложеніе и вошло въ обсужденіе прочтенныхъ делегатами пунктовъ. Пренія затянулись далеко за полночь. По настоянію П. Н. Милюкова, делегаты совѣта согласились отказаться отъ пункта, согласно которому „вопросъ о формѣ правленія оставался открытымъ“ (въ ту минуту въ этой скромной формѣ обеспечивалась возможность разрѣшенія этого вопроса въ смыслѣ *республики*, тогда какъ временное правительство принимало мѣры къ обеспеченію регентства Михаила). По его же требованію, послѣ продолжительныхъ споровъ, они согласились вычеркнуть требованіе о выборности офицеровъ, т. е. отказались отъ введенія въ число условій своей поддержки того самаго принципа, который уже утромъ 2 марта они положили въ основу знаменитаго „приказа № 1“. Послѣ этихъ и нѣкоторыхъ другихъ измѣненій и дополненій, предложенный делегатами текстъ принялъ слѣдующую форму: „Въ своей дѣятельности кабинетъ будетъ ру-

ководиться слѣдующими основаніями: 1) Полная и немедленная амнистія по всѣмъ дѣламъ политическимъ и религіознымъ, въ томъ числѣ террористическимъ покушеніямъ, военнымъ возстаніямъ, аграрнымъ преступленіямъ и т. д. 2) Свобода слова, печати, союзовъ, собраній и стачекъ, съ распространеніемъ политическихъ свободъ на военнотружущихъ *въ предѣлахъ, допускаемыхъ военно-техническими условіями*. 3) Отмѣна всѣхъ сословныхъ, вѣроисповѣдныхъ и національныхъ ограниченій. 4) Немедленная подготовка къ созыву на началахъ всеобщаго, равнаго, прямого и тайнаго голосованія Учредительнаго Собранія, которое установитъ форму правленія и конституцію страны. 5) Замяна полиціи народной милиціей съ выборнымъ начальствомъ, подчиненнымъ органамъ мѣстнаго самоуправленія. 6) Выборы въ органы мѣстнаго самоуправленія на основѣ всеобщаго, равнаго, прямого и тайнаго голосованія. 7) Неразоруженіе и невызодъ изъ Петрограда воинскихъ частей, принимавшихъ участіе въ революціонномъ движеніи. 8) *При сохраненіи строгой воинской дисциплины въ строю и при несеніи военной службы* — устраненіе для солдатъ всѣхъ ограниченій въ пользованіи общественными правами, предоставленными всѣмъ остальнымъ гражданамъ. За исключеніемъ п. 7, имѣвшего, очевидно, временный характеръ, и примѣненія начала выбора къ начальству милиціи въ п. 5, все остальное въ этомъ проектѣ заявленія не только было вполне приеменно или допускало приеменное толкованіе, но и прямо вытекало изъ собственныхъ взглядовъ вновь сформированнаго правительства на его задачи. Съ другой стороны, необходимо отмѣтить, что здѣсь не заключалось ничего такого, что впослѣдствіи было внесено социалистическими партіями въ пониманіе задачи революціонной власти — и что послужило предметомъ долгихъ преній и неоднократныхъ разрывовъ между социалистической и не-социалистической частью „коалиціонныхъ“ кабинетовъ слѣдующихъ составовъ.

Съ своей стороны, П. Н. Милуковъ настоялъ, чтобы и делегаты совѣта приняли на себя извѣстныя обязательства, а именно, чтобы они осудили уже обнаружившееся тогда враждебное отношеніе солдатъ къ офицерству и всѣ виды саботажа революціи, вродѣ незаконныхъ обысковъ въ частныхъ квартирахъ, грабежа имуществъ и т. д., и чтобы это осужденіе было изложено въ деклараціи совѣта вмѣстѣ съ обѣщаніемъ поддержки правительству въ возстановленіи порядка и въ проведеніи началъ новаго строя. Оба

заявленія, правительства и совѣта, должны были быть напечатаны рядомъ, второе послѣ первого, чтобы тѣмъ рельефнѣе подчеркнуть ихъ взаимную связь. Исполняя это желаніе Временнаго Комитета, Н. Д. Соколовъ написалъ проектъ заявленія. Этотъ проектъ, однако, могъ быть истолкованъ въ смыслѣ обратномъ условленному, и поэтому не удовлетворилъ комитета. П. Н. Милюковъ написалъ тогда другой проектъ, который, съ нѣкоторыми измѣненіями, и былъ принятъ въ слѣдующихъ словахъ окончательной деклараціи совѣта: „... Нельзя допускать разбѣденія и анархіи. Нужно немедленно пресѣкать всѣ безчинства, грабежи, врываніе въ частныя квартиры, расхищеніе и порчу всякаго рода имущества, безцѣльные захваты общественныхъ учрежденій. Упадокъ дисциплины и анархія губятъ революцію и народную свободу. Не устранена еще опасность военнаго движенія противъ революціи. Чтобы предупредить ее, весьма важно обезпечить дружную согласованную работу солдатъ съ офицерами. Офицеры, которымъ дороги интересы свободы и прогрессивнаго развитія родины, должны употребить всѣ усилія, чтобы наладить совмѣстную дѣятельность съ солдатами. Они будутъ уважать въ солдатѣ его личное и гражданское достоинство, будутъ бережно обращаться съ чувствомъ чести солдата. Съ своей стороны, солдаты будутъ помнить, что армія сильна лишь союзомъ солдатъ и офицеровъ, что нельзя за дурное поведеніе отдѣльныхъ офицеровъ клеймить всю офицерскую корпорацію“.

Когда всѣ эти переговоры были уже закончены, поздно ночью на 2-е марта въ Комитетъ пріѣхалъ А. И. Гучковъ, проведеншій весь день въ сношеніяхъ съ военными частями и въ подготовкѣ обороны столицы, на случай ожидавшагося еще прихода войскъ, посланныхъ въ Петроградъ по приказанію Николая II. Возраженія Гучкова по поводу уже состоявшагося соглашенія побудили оставить весь вопросъ открытымъ. Только утромъ слѣдующаго дня, по настоянію М. В. Родзянко, П. Н. Милюковъ возобновилъ переговоры. Въ теченіе дня соглашеніе было обсуждено и принято въ совѣтъ, и вечеромъ 2-го марта делегація совѣта вновь явилась къ П. Н. Милюкову съ предложеніемъ выработать окончательный текстъ. Кромѣ уже принятыхъ пунктовъ, делегаты настояли на включеніи фразы: „Временное Правительство считаетъ своимъ долгомъ присовокупить, что оно отнюдь не намѣрено воспользоваться военными обстоятельствами для какого-либо промедленія по осуществленію вышеизложенныхъ реформъ и мѣропріятій“. Подозрительность,

проявленная въ этихъ словахъ, сказала также и въ тѣхъ болѣе чѣмъ сдержанныхъ выраженіяхъ, въ которыхъ декларация совѣта давала правительству общанную поддержку. Къ приведенной выше части декларации была съ этой цѣлью присоединена слѣдующая вступительная часть: „Товарищи и граждане, новая власть, создавшаяся изъ общественно-умѣренныхъ слоевъ общества, объявила сегодня о всѣхъ тѣхъ реформахъ, которыя она обязуется осуществить частью еще въ процессъ борьбы со старымъ режимомъ, частью по окончаніи этой борьбы. Среди этихъ реформъ *нѣкоторыя* должны привѣтствоваться широкими демократическими кругами: политическая амнистія, обязательство принять на себя подготовку Учредительнаго Собранія, осуществленіе гражданскихъ свободъ и устраненіе національныхъ ограниченій. И мы полагаемъ, что *въ той мѣрѣ*, въ какой нарождающаяся власть будетъ дѣйствовать въ направленіи осуществленія этихъ обязательствъ и рѣшительной борьбы со старой властью,—демократія должна оказать ей свою поддержку“. Здѣсь, какъ видимъ, не только не отразился тотъ фактъ, что текстъ правительственныхъ „обязательствъ“ въ основѣ своей составленъ самими делегатами совѣта, а текстъ ихъ декларации—Временнымъ Комитетомъ Гос. Думы, но и принята впервые та знаменитая формула „постольку—поскольку“, которая заранѣе ослабляла авторитетъ первой революціонной власти среди населенія. Хотя совѣтъ и санкционировалъ, *post factum*, вступленіе А. Ф. Керенскаго въ правительство, но онъ и тутъ продолжалъ подчеркивать что правительство принадлежитъ къ „общественно-умѣреннымъ“ слоямъ, т. е. заранѣе набрасывалъ на него подозрѣніе въ классовой односторонности. Зародыши будущихъ затрудненій и осложненій уже сказались въ этой исходной формулировкѣ взаимныхъ отношеній правительства и первой изъ организацій „революціонной демократіи“.

Еще не покончивъ съ этими переговорами, Временный Комитетъ принялся за свою главнѣйшую очередную задачу, ликвидацію старой власти. Ни у кого не было сомнѣнія, что Николай II болѣе царствовать не можетъ. Еще 26 февраля, въ своей телеграммѣ къ царю, М. В. Родзянко требовалъ только „немедленнаго порученія лицу, пользующемуся довѣріемъ страны, составить новое правительство“, т. е. употреблялъ прежнюю формулу прогрессивнаго блока. Онъ прибавлялъ при этомъ, что „медлить нельзя“ и что „всякое промедленіе смерти подобно“, и „молилъ Бога, чтобы въ

Исторія 2-ой Русской Революціи.

этотъ часть отвѣтственность не пала на вѣнценосца". Но уже 27-го утромъ тонъ второй телеграммы былъ иной: „Положеніе ухудшается. Надо принять немедленно мѣры, *ибо завтра будетъ уже поздно. Насталъ послѣдній часъ, когда рѣшаются судьба родины и династіи*". На просьбы, обращенныя къ главнокомандующимъ фронтами — поддержать передъ царемъ обращеніе председателя Думы, — Родзянко получилъ отъ генераловъ Брусилова и Рузскаго отвѣтныя телеграммы, что его просьба исполнена. Генер. Алексѣевъ также настаивалъ, вмѣстѣ съ в. к. Николаемъ Николаевичемъ, на „принятіи рѣшенія, признаваемого нами единственнымъ выходомъ при создавшихся роковыхъ условіяхъ", т. е. на составленіи отвѣтственнаго министерства. Въ томъ же смыслѣ составлено было заявленіе, подписанное великими князьями и доставленное во Временный Комитетъ Гос. Думы. Но, дѣйствительно, было уже поздно думать *только* объ отвѣтственномъ министерствѣ. Нужно было полное и немедленное отреченіе царя. Съ цѣлью настоять на немъ, Временный Комитетъ въ ту же ночь, съ 1 на 2-е марта, рѣшилъ отправить къ Николаю II делегацію изъ А. И. Гучкова и В. В. Шульгина. Царь, правда, вызывалъ М. В. Родзянко, но отъѣздъ изъ Петрограда председателя Думы въ то время, когда только что формировалась новая революціонная власть, признанъ былъ небезопаснымъ. По мысли Комитета, отказъ Николая II долженъ былъ послѣдовать въ пользу наслѣдника, при регентствѣ Михаила.

Выѣхавъ въ 3 часа дня 2 марта, А. И. Гучковъ и В. В. Шульгинъ въ 10 час. вечера были въ Псковѣ и немедленно были приглашены въ салонъ-вагонъ Николая II. Здѣсь, послѣ рѣчи А. И. Гучкова о необходимости отреченія въ пользу сына (сидѣвшій рядомъ съ Шульгинымъ ген. Рузскій сказалъ ему при этомъ: „это уже дѣло рѣшенное"), бывший государь отвѣтилъ спокойно и не волнуясь, со своимъ обычнымъ видомъ вѣжливой непроницаемости: „Я вчера и сегодня цѣлый день обдумывалъ и принималъ рѣшеніе отречься отъ престола. *До 3 час. дня я былъ готовъ пойти на отреченіе въ пользу моего сына.* Но затѣмъ я понялъ, что разстаться съ моимъ сыномъ я неспособенъ. Вы это, я надѣюсь, поймете. Поэтому я рѣшилъ отречься въ пользу моего брата". Ссылка на отцовскія чувства закрыла уста делегатовъ, хотя позволено думать, что въ рѣшеніи царя была и извѣстная политическая задняя мысль. Николай II не хотѣлъ рисковать сыномъ, предпочитая рисковать братомъ и Россіей, въ ожиданіи неизвѣстнаго будущаго.

Думая, какъ всегда, прежде всего о себѣ и о своихъ, даже и въ эту критическую минуту, и отказываясь отъ рѣшенія, хотя и труднаго, но до извѣстной степени подготовленнаго, онъ вновь открывалъ весь вопросъ о монархіи въ такую минуту, когда этотъ вопросъ только и могъ быть рѣшенъ отрицательно. Такова была послѣдняя услуга Николая II родинѣ.

Спросивъ делегатовъ, думаютъ ли они, что актъ отреченія дѣйствительно успокоитъ страну и не вызоветъ осложнений, — и не получивъ утвердительнаго отвѣта, Николай II удалился и въ 11¼ вечера возвратился въ вагонъ съ готовымъ документомъ. В. В. Шульгинъ попросилъ царя внести въ текстъ фразу о „принесеніи всенародной присяги“ Михаиломъ Александровичемъ въ томъ, что онъ будетъ править въ „ненарушимомъ единеніи съ представителями народа“, какъ это было уже сказано въ документѣ. Царь тотчасъ же согласился, замѣнивъ лишь слово „ всенародная “ словомъ „ненарушимая.“ Безъ 10-ти минутъ въ полночь на 3-е марта отречение было подписано.

За этотъ день 2 марта, однако же, политическое положеніе въ Петроградѣ еще разъ успѣло измѣниться. Измѣненіе эго впервые сказалось, когда около 3-хъ часовъ дня П. Н. Милюковъ произносилъ свою рѣчь о вновь образовавшемся правительствѣ въ Екатерининской залѣ Таврическаго дворца. Рѣчь эта была встрѣчена многочисленными слушателями, переполнившими залъ, съ энтузіазмомъ, и ораторъ вынесенъ на рукахъ по ея окончаніи. Но среди шумныхъ криковъ одобренія слышались и ноты недовольства и даже протеста. „Кто васъ выбралъ?“ — спрашивали оратора. Отвѣтъ былъ: „Насъ выбрала русская революція“; но „мы не сохранимъ этой власти ни минуты послѣ того, какъ свободно избранные народомъ представители скажутъ намъ, что они хотятъ на нашихъ мѣстахъ видѣть людей, болѣе заслуживающихъ ихъ довѣрія“. Такъ устанавливалась идея преемственности власти, созданной революціей, до Учредительнаго Собранія. При словахъ оратора: „во главѣ мы поставили человека, имя котораго означаетъ *организованную русскую общественность*, такъ непримиримо преслѣдовавшуюся старымъ правительствомъ“, тѣ же голоса дважды прерывали рѣчь криками: „*цензую*“. П. Н. Милюковъ отвѣтилъ имъ: „да, но единственно-организованную, которая дастъ потомъ возможность организовать и другимъ слоямъ русской общественности“. Наконецъ, на самый существенный вопросъ — о судьбѣ ди-

насти — ораторъ отвѣтилъ: „я знаю напередъ, что мой отвѣтъ не всѣхъ васъ удовлетворить. Но я скажу его. Старый деспотъ, доведшій Россію до полной разрухи, добровольно откажется отъ престола или будетъ низложенъ. Власть перейдетъ къ регенту, в. к. Михаилу Александровичу. Наслѣдникомъ будетъ Алексѣй (шумъ и крики: „это старая династія“). Да, г. г., это старая династія, которую, можетъ быть, не любите вы, и, можетъ быть, не люблю и я. Но дѣло сейчасъ не въ томъ, кто что любить. Мы не можемъ оставить безъ отвѣта и безъ разрѣшенія вопросъ о формѣ государственнаго строя. Мы предоставляемъ его себѣ, какъ парламентарную и конституціонную монархію. Быть можетъ, другіе представляютъ иначе. Но если мы будемъ спорить объ этомъ сейчасъ, вмѣсто того, чтобы сразу рѣшить вопросъ, то Россія очутится въ состояніи гражданской войны и возродится только что разрушенный режимъ. Этого сдѣлать мы не имѣемъ права. . . Но, какъ только пройдетъ опасность и установится прочный миръ, мы приступимъ къ подготовкѣ созыва Учредительнаго Собранія, на основѣ всеобщаго, прямого, равнаго и тайнаго голосованія. Свободно избранное народное представительство рѣшить, кто вѣрнѣ выразилъ общее мнѣніе Россіи, мы или наши противники“.

Къ концу дня волненіе, вызванное сообщеніемъ П. Н. Милюкова о регентствѣ в. к. Михаила Александровича, значительно усилилось. Поздно вечеромъ въ зданіе Таврическаго дворца проникла большая толпа чрезвычайно возбужденныхъ офицеровъ, которые заявляли, что не могутъ вернуться къ своимъ частямъ, если П. Н. Милюковъ не откажется отъ своихъ словъ. Не желая связывать другихъ членовъ правительства, П. Н. Милюковъ далъ требуемое заявленіе въ той формѣ, что „его слова о временномъ регентствѣ в. к. Михаила Александровича и о наслѣдованіи Алексѣя являются его личнымъ мнѣніемъ“. Это было, конечно, невѣрно, ибо во всѣхъ предшествовавшихъ обсужденіяхъ вопросъ этотъ считался рѣшеннымъ сообща въ томъ именно смыслѣ, какъ это излагалъ П. Н. Милюковъ. Но напуганный нарастающей волной возбужденія Временный Комитетъ молчаливо отрекся отъ прежняго мнѣнія.

Какъ разъ въ то время, когда происходилъ этотъ сдвигъ въ Петроградѣ, въ Псковѣ Николай II измѣнилъ свое первоначальное рѣшеніе отречься въ пользу сына и „рѣшилъ отречься въ пользу брата“. Такая перемѣна дѣлала защиту конституціонной монархіи

еще болѣе трудной, ибо отпадалъ расчетъ на малолѣтство новаго государя, составлявшее естественный переходъ къ укрѣпленію строго-конституціоннаго строя. Тѣ, кто уже согласился на Алексѣя, вовсе не были обязаны соглашаться на Михаила. И когда, около 3 часовъ ночи на 3-е марта, до членовъ правительства, остававшихся въ Таврическомъ дворцѣ, дошли первые слухи объ отреченіи Николая II въ пользу Михаила, всѣ почувствовали, что этимъ снова открытъ вопросъ о династіи. Немедленно были освѣдомлены М. В. Родзянко и кн. Г. Е. Львовъ. Оба они отправились къ прямому проводу въ военное министерство, чтобы узнать тотчасъ по расшифрованіи точный текстъ акта объ отреченіи и выяснить возможность его измѣненія. Въ то-же время были приняты мѣры, чтобы до окончательнаго рѣшенія вопроса актъ объ отреченіи Николая II не былъ опубликованъ. На разсвѣтъ министры увѣдомили в. к. Михаила Александровича, ничего не подозревавшаго и крайне удивленнаго случившейся перемѣной, что черезъ нѣсколько часовъ они его посѣтятъ. Отсутствіе Родзянко и Львова, съ одной стороны, и ожиданіе возвращенія Гучкова и Шульгина, съ другой, задержали эту встрѣчу. Возвратившагося Шульгина пишущій эти строки успѣлъ на станціи увѣдомить по телефону о совершившейся въ Петроградѣ перемѣнѣ настроенія. Но А. И. Гучковъ уже сообщилъ желѣзнодорожнымъ рабочимъ о назначеніи Михаила и лично сдѣлался свидѣтелемъ возбужденія, вызваннаго этимъ извѣстіемъ.

Подъ этими предразсвѣтными впечатлѣніями состоялось предварительное совѣщаніе членовъ правительства и Временнаго Комитета о томъ, что и какъ говорить великому князю. А. Ф. Керенскій еще наканунѣ вечеромъ въ совѣтѣ рабочихъ депутатовъ объявилъ себя республиканцемъ и сообщилъ о своемъ особомъ положеніи въ министерствѣ, какъ представителя демократіи, и объ особенномъ вѣсѣ своихъ мнѣній. Правда, принятая на конференціи петроградскихъ социалистовъ-революціонеровъ 2 марта резолюція говорила еще только о „подготовкѣ Учредительнаго Собранія *пропагандой* республиканскаго образа правленія“ и санкціонировала вступленіе Керенскаго, какъ способъ „необходимаго *контроля* надъ дѣятельностью временнаго правительства со стороны трудящихся массъ“. Но въ утреннемъ совѣщаніи 3 марта его мнѣніе о необходимости убѣдить в. к. отречься возымѣло рѣшающее вліяніе. Н. В. Некрасовъ уже успѣлъ набросать и проектъ отреченія. На сторонѣ обратнаго

мнѣнія, что надо сохранить конституціонную монархію до Учредительнаго Собранія, оказался одинъ П. Н. Миллюковъ. Послѣ страстныхъ споровъ было рѣшено, что обѣ стороны мотивируютъ передъ в. к. свои противоположныя мнѣнія и, не входя въ дальнѣйшія пренія, предоставятъ рѣшеніе самому в. князю. Около полудня у в. к. на Милліонной собрались члены правительства: кн. Г. Е. Львовъ, П. Н. Миллюковъ, А. Ф. Керенскій, Н. В. Некрасовъ, М. И. Терещенко, И. В. Годневъ, В. Н. Львовъ и нѣсколько позже прїѣхавшій А. И. Гучковъ, а также члены Временнаго Комитета М. В. Родзянко, В. В. Шульгинъ, И. Н. Ефремовъ и М. А. Карауловъ. Необходимость отказа пространно мотивировалъ М. В. Родзянко и, послѣ него, А. Ф. Керенскій. Послѣ нихъ П. Н. Миллюковъ развилъ свое мнѣніе, что сильная власть, необходимая для укрѣпленія новаго порядка, нуждается въ опорѣ привычнаго для массъ символа власти. Временное Правительство одно, безъ монарха, говорилъ онъ, является „утлой ладьей“, которая можетъ потонуть въ океанѣ народныхъ волненій, странъ при этихъ условіяхъ можетъ грозить потеря всякаго сознанія государственности и полная анархія, раньше чѣмъ соберется Учредительное Собраніе; Временное Правительство одно до него не доживетъ, и т. д. За этой рѣчью, вопреки соглашенію, послѣдовалъ рядъ другихъ рѣчей въ полемическомъ тонѣ. Тогда П. Н. Миллюковъ просилъ и получилъ, вопреки страстному противодѣйствию Керенскаго, слово для второй рѣчи. Въ ней онъ указывалъ, что хотя и правы утверждающіе, что принятіе власти грозитъ рискомъ для личной безопасности великаго князя и самихъ министровъ, но на рискъ этотъ надо идти въ интересахъ родины, ибо только такимъ образомъ можетъ быть снята съ даннаго состава лицъ отвѣтственность за будущее. Къ тому же внѣ Петрограда есть полная возможность собрать военную силу, необходимую для защиты в. князя. Поддержалъ П. Н. Миллюкова одинъ А. И. Гучковъ. Обѣ стороны заявили, что въ случаѣ рѣшенія, несогласнаго съ ихъ мнѣніемъ, они не будутъ оказывать препятствія и поддержать правительство, хотя участвовать въ немъ не будутъ.

По окончаніи рѣчей великій князь, все время молчавшій, попросилъ себѣ нѣкоторое время на размышленіе. Выйдя въ другую комнату, онъ пригласилъ къ себѣ М. В. Родзянко, чтобы побесѣдовать съ нимъ наединѣ. Выйдя послѣ этой бесѣды къ ожидавшимъ его депутатамъ, онъ сообщилъ имъ довольно твердо, что

его окончательный выборъ склонился на сторону мнѣнія, защищавшагося предсѣдателемъ Гос. Думы. Тогда А. Ф. Керенскій патетически заявилъ: „Ваше Высочество, Вы — благородный человѣкъ!“ Онъ прибавилъ, что отнынѣ будетъ всюду заявлять это. Павловъ Керенскаго плохо гармонировалъ съ прозой принятаго рѣшенія. За нимъ не чувствовалось любви и боли за Россію, а только страхъ за себя. . .

Проектъ отреченія, набросанный Н. В. Некрасовымъ, былъ очень слабъ и неудаченъ. Рѣшено было пригласить юристовъ-государствовѣдовъ, В. Д. Набокова и Б. Э. Нольде, которые и внесли въ текстъ отреченія измѣненія, возможные въ рамкахъ состоявшагося рѣшенія. Главное мѣсто отреченія гласило: „принялъ я твердое рѣшеніе въ томъ лишь случаѣ воспринять верховную власть, *если такова будетъ воля великаго народа* нашего, которому и надлежитъ всенароднымъ голосованіемъ своимъ черезъ представителей своихъ въ Учредительномъ Собраніи установить образъ правленія и новые основные законы государства руссійскаго. Призывая благословеніе Божіе, *прошу* всѣхъ гражданъ державы руссійской подчиниться Временному Правительству, по почину Государственной Думы возникшему и *облеенному всей полнотой власти*, впредь до того, какъ созданное въ возможно кратчайшій срокъ на основѣ всеобщаго, прямого, равнаго и тайнаго голосованія Учредительное Собраніе своимъ рѣшеніемъ объ образѣ правленія выразитъ волю народа“. Чтобы легче понять, что новаго внесено этимъ актомъ, приведемъ главное мѣсто отреченія имп. Николая. „Заповѣдуемъ брату нашему править дѣлами государственными въ полномъ и ненарушимомъ согласіи съ представителями народа въ законодательныхъ учрежденіяхъ на тѣхъ началахъ, кои будутъ ими установлены, принеся въ томъ ненарушимую присягу во имя горячо любимой родины. Призываю всѣхъ вѣрныхъ сыновъ отечества къ исполненію своего *святого долга* передъ нимъ *повиновеніемъ царю* въ тяжелую минуту всенародныхъ испытаній, и помочь ему вмѣстѣ съ представителями народа вести государство руссійское на путь побѣды, благоденствія и славы“.

Такъ совершилась первая капитуляція русской революціи. Представители Г. Думы, „Думы третьяго іюня“, въ сущности, рѣшили вопросъ о судьбѣ монархіи. Они создали положеніе, дефективное въ самомъ источникѣ, — положеніе, изъ котораго должны были развиваться всѣ послѣдующія ошибки революціи. Въ общемъ

сознаніи современниковъ этого перваго момента новая власть, созданная революціей, вела свое преемство не отъ актовъ 2 и 3 марта, а отъ событій 27 февраля. Въ этомъ была ея сила, чувствовавшаяся тогда, — и ея слабость, обнаружившаяся впоследствии.

Были ли тяжелыя послѣдствія революціи 27 февраля, развернувшіяся въ дальнѣйшемъ, неизбежны? Или, напротивъ, ихъ можно было бы избѣжать, если бы тактика новаго правительства оказалась иная? Будущему историку предстоитъ выяснитъ неизбежный характеръ послѣдовавшихъ событій, выведя его изъ трудностей войны и хозяйственной разрухи, изъ неподготовленности населенія къ практикѣ народовластія, изъ запоздалости социальныхъ и національных реформъ, изъ малокультурности и неорганизованности населенія и т. п. Ближайшій участникъ событій, развертывавшихся въ центрѣ, естественно будетъ смотрѣть на событія и оцѣнивать ихъ съ точки зрѣнія менѣе фаталистической. Въ рядъ факторовъ неизмѣнныхъ, дѣйствовавшихъ съ неизбежными послѣдствіями, онъ введетъ факторъ, измѣняющійся въ зависимости отъ степени сознательности и волевой силы непосредственныхъ руководителей. Ему трудно будетъ отказаться отъ убѣжденія, что все могло бы пойти иначе, если бы степень самосознательности и степень волевого напряженія у руководителей были иныя. Русская революція была „мирная и безкровная“ въ своемъ началѣ, главнымъ образомъ, вслѣдствіе двухъ причинъ: безспорнаго для всѣхъ словъ и всѣхъ политическихъ теченій *отрицательнаго* отношенія къ старой самодержавной власти, не нашедшей въ рѣшительную минуту ни одного защитника, — и столь же безспорнаго въ тѣ первыя минуты *положительнаго* отношенія къ Гос. Думѣ и къ ея дѣятелямъ, взявшимъ въ свои руки руководство переворотомъ. Но безсиліе старой власти передъ недисциплинированностью и отсталостью страны перешло по наслѣдству и къ новой власти. Данная этой властью свобода была использована крайними элементами для систематической организаціи острой классової борьбы, перешедшей мало-по-малу въ открытую гражданскую войну подъ лозунгомъ немедленнаго мира и немедленнаго введенія социализма. Въ результатъ, разрушительнымъ началамъ революціи легко было получить перевѣсъ надъ созидательными, стихіи — получить перевѣсъ надъ сознательностью, распаду — надъ единствомъ. Среди постепенно прогрессирувавшаго хаоса и анархіи, два элемента сохранили и усилили свой характеръ планомѣрныхъ волевыхъ фак-

торовъ: во-первыхъ, утопія всемірной соціалистической революціи, долженствовавшей изъ Петрограда перекинуться на Берлинъ, Парижъ, Лондонъ и т. д., — утопія, уже погубившая нашу первую революцію 1905 г. и отчасти при посредствѣ тѣхъ же самыхъ идеологовъ фанатиковъ; во-вторыхъ, искусство германскаго генеральнаго штаба, сумѣвшаго организовать измѣну внутри непріятельской страны и заставить русскихъ сражаться за Германію въ Петроградѣ, Москвѣ и многочисленныхъ другихъ городахъ Россіи.

Стихійный ходъ русской революціи велъ ее отъ переворота къ перевороту, причемъ каждый новый переворотъ ослаблялъ революціонную власть и все шире открывалъ путь явленіямъ распада. Можно даже подмѣтить извѣстную ритмичность въ этомъ повтореніи новыхъ и новыхъ крушеній власти. Два мѣсяца — вотъ почти точно тотъ срокъ, на который каждому вновь организовавшемуся правительству удавалось удержать надъ страной власть, становившуюся все болѣе и болѣе номинальной и фиктивной. Самый переходъ отъ власти низвергаемой къ власти, ее замѣнявшей, становился съ каждымъ разомъ все болѣе и болѣе длительнымъ и болѣзненнымъ.

Сообразно этому общему ритму событій русской революціи, ихъ можно раздѣлить на слѣдующіе четыре періода: 1) Первое революціонное правительство (2 марта — 2 мая). 2) Первое правительство коалиціоннаго состава (2 мая — 2 іюля). 3) Первый кризисъ власти и вторая коалиція (3 іюля — 28 августа). 4) Второй кризисъ власти и третья коалиція (28 августа — 25 октября). Таково дѣленіе по внѣшнему признаку — послѣдовательно мѣняющихся кабинетовъ. Но есть въ немъ и внутренній признакъ. — постоянно прогрессирующаго распада власти. За первымъ внутреннимъ противорѣчіемъ революціи, которое мы уже отмѣтили, слѣдуетъ при первомъ революціонномъ правительствѣ второе. Г. Дума сдала революціи идею монархіи. Кабинетъ князя Г. Е. Львова сдалъ позицію буржуазной революціи, подчинившись требованіямъ и формуламъ соціалистическихъ партій. Третье противорѣчіе развернулось при слѣдующемъ кабинетѣ, *первомъ* коалиціонномъ. Выпущенный „буржуазіей“ изъ рукъ принципъ буржуазной революціи приняли подъ свою защиту умѣренные соціалнсты. Какъ и можно было ожидать, эта двусмысленная позиція погубила ихъ во мнѣніи рабочаго класса и чрезвычайно усилила лѣвый флангъ русскаго соціализма, „большевизмъ“. *Второму*

коалиціонному кабінету уже пришлось стать передъ фактомъ безсилія соціалистическаго центра лицомъ къ лицу съ двумя боровшимися флангами: буржуазной диктатурой, стремившейся спасти что можно, для достиженія внѣшней побѣды и для сохраненія внутренняго мира, — и соціалистической утопіей, увлекавшей массы чисто-демагогическими лозунгами. Двусмысленное положеніе, занятое Керенскимъ въ борьбѣ между этими двумя флангами, — между Корниловымъ и Ленинымъ, — лишило его союзниковъ и выдало его противникамъ. Въ выясненіи этого послѣдняго обстоятельства — одиночества власти — и заключается политическій смыслъ періода *третьей* коалиціи: того, который мы назвали „агоніей буржуазной республики“. Исходомъ агоніи явилась побѣда большевиковъ, составляющая хронологическую грань, на которой останавливается первый томъ исторіи второй революціи.

Перепечатывается из книги: П. Н. Милуков. История второй русской революции. Том 1, вып. 1. Противоречия революции. — София: Российско-Болгарское книгоиздательство, 1921.

ПЕРВЫЙ СОСТАВ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА



1



2



3



4



5



6



7



8



9

1. **Л ь в о в** Георгий Евгеньевич (1861—1925), князь, крупный помещик. Депутат 1-ой Государственной думы, Председатель Всероссийского земского союза, один из руководителей „Земгора”. В марте-июле 1917 г. глава Временного правительства. Эмигрант. В 1918-20 гг. глава Русского политического совещания в Париже.

2. **М и л ю к о в** Павел Николаевич (1859—1943), видный политический деятель, историк, публицист. Один из организаторов партии кадетов, с 1907 г. председатель ее ЦК, редактор газеты „Речь”. В 1917 г. министр иностранных дел Временного правительства первого состава (до 2/15/ мая 1917 г.). Эмигрант.

3. **Г у ч к о в** Александр Иванович (1862—1936), русский промышленник, лидер октябристов. Депутат и с 1910 г. Председатель 3-й Государственной думы. В 1915-17 гг. Председатель Центрального военно-промышленного комитета. В 1917-м военный и морской министр Временного правительства. Эмигрант.

4. **К е р е н с к и й** Александр Федорович (1881—1970), русский политический деятель. Адвокат. Лидер фракции трудовиков в 4-й Государственной думе. С марта 1917 г. — эсер. В 1917 г. во Временном правительстве: министр юстиции (март-май), военный и морской министр (май-сентябрь), с 8/12/ июля министр-председатель правительства, с 30 августа (12 сентября) верховный главнокомандующий. В 1918 г. эмигрировал.

5. **Т е р е щ е н к о** Михаил Иванович (1886—1956), русский промышленник, сахарозаводчик. Был близок к партии прогрессистов. В 1917 г. министр финансов Временного правительства первого состава, затем министр иностранных дел. Эмигрант.

6. **Н е к р а с о в** Николай Виссарионович (1879—1940), один из лидеров левых кадетов, инженер-технолог, профессор. Депутат 3-й и 4-й Государственных дум. Один из руководителей „Земгора”. В 1917 г. министр путей сообщения во Временном правительстве. С 1921 г. — в Центросоюзе.

7. **К о н о в а л о в** Александр Иванович (1875—1948), крупный текстильный фабрикант, лидер партии прогрес-

систов и „Прогрессивного блока” в 4-й Государственной думе. Министр торговли и промышленности во Временном правительстве в 1917-м. Эмигрант.

8. Ш и н г а р е в Андрей Иванович (1869—1918), земский деятель, врач, публицист, один из лидеров кадетов. Депутат 2-4-й Государственных дум. В 1917 г. министр земледелия во Временном правительстве. Зверски убит в тюремной больнице обезумевшими красногвардейцами.

9. М а н у й л о в Александр Аполлонович (1861—1929), известный русский экономист. В 90-х годах прошлого века либеральный народник, впоследствии член ЦК партии кадетов. В 1908—1911 гг. ректор Московского университета. Вышел в отставку в знак протеста против притеснений студентов. В 1917 г. министр народного просвещения Временного правительства. После Октябрьского переворота преподавал в вузах, с 1924 г. — член правления Госбанка.



10



11



12

10. Н а б о к о в Владимир Дмитриевич (1869—1922), один из лидеров кадетов, юрист, публицист. Депутат 1-й Государственной думы. Редактор-издатель „Вестника партии народной свободы”. В 1917 г. управляющий делами Временного правительства. Эмигрант.

11. Г о д н е в И. В. Государственный контролер.

12. Л ь в о в В. Н. Ober-прокурор Св. Синода.

ГЛАВА IV.

Революція въ Петроградѣ.

Съ событіями въ Петроградѣ и Ставкѣ я ознакомился только впослѣдствіи. Для послѣдовательности изложенія коснусь ихъ вкратцѣ. Въ телеграммѣ царю членовъ государственнаго совѣта въ ночь на 28 февраля — положеніе опредѣлялось слѣдующимъ образомъ :

« Вслѣдствіе полного разстройства транспорта и отсутствія подвоза необходимыхъ матеріаловъ, остановились заводы и фабрики. Вынужденная безработица и крайнее обостреніе продовольственнаго кризиса, вызваннаго тѣмъ-же разстройствомъ транспорта, довели народныя массы до полного отчаянія. Это чувство еще обострилось той ненавистью къ правительству и тѣмъ тяжкими подозрѣніями противъ власти, которыя глубоко запали въ народную душу.

Все это вылилось въ народную смуту стихійной силы, а къ этому движенію присоединяются теперь и войска. Правительство, никогда не пользовавшееся довѣріемъ въ Россіи, окончательно дискредитировано и совершенно безсильно справиться съ грознымъ положеніемъ»...

Находившая благопріятную почву въ общихъ условіяхъ жизни страны подготовка къ революціи прямо или косвенно велась давно. Въ ней приняли участіе самые разнородные элементы : германское правительство, не жалѣвшее средствъ на социалистическую и пораженческую пропаганду въ Россіи, въ особенности среди петроградскихъ рабочихъ; социалистическія партіи, организовавшія свои ячейки среди рабочихъ и воинскихъ частей; несомнѣнно и протопоповское министерство, какъ говорили, провоцировавшее уличное выступленіе, чтобы вооруженной силой подавить его и тѣмъ разрядить невыносимо густую атмосферу. Какъ будто всѣ силы — по діаметрально противоположнымъ побужденіямъ, разными путями, различными средствами шли къ одной конечной цѣли...

Вмѣстѣ съ тѣмъ, прогрессивный блокъ и общественныя организации, учитывая неизбежность большихъ событій, начали готовиться къ нимъ, а нѣкоторые круги, идейно или персонально близкіе къ указаннымъ организациямъ, какъ я уже говорилъ, приступили къ подготовкѣ дворцоваго переворота, какъ по-

слѣдняго средства предотвратить надвигающуюся революцію.

Тѣмъ не менѣе, возстаніе все же вспыхнуло стихійно, заставъ всѣхъ врасплохъ. Въ исполнительномъ комитетѣ Петроградскаго совѣта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ въ послѣдствіи, около 10 марта ¹⁾ видными членами его по частному поводу были даны разъясненія, что « возстаніе солдатъ произошло независимо отъ рабочихъ, съ которыми солдаты еще накануне переворота никакой связи не имѣли » и что « возстаніе подготовлено не было, почему и не оказалось соответствующаго органа управленія ».

Что касается думскихъ и общественныхъ круговъ, то они подготовлены были къ перевороту, а не къ революціи и въ ея бушующемъ пламени не могли сохранить душевное равновѣсіе и холодный расчетъ.

Первые вспышки начались 23 февраля, когда толпы народа запрудили улицы, собирались митинги, и ораторы призывали къ борьбѣ противъ ненавистой власти. Такъ продолжалось до 26-го, когда народное движеніе приняло грандіозные размѣры, и начались кровавыя столкновенія съ полиціей, съ примѣненіемъ ею пулеметовъ.

26-го полученъ былъ указъ объ отсрочкѣ сессіи Государственной Думы, а 27-го утромъ въ засѣданіи Думы рѣшено было не разѣзжаться изъ Петрограда...

Между тѣмъ, въ тотъ же день утромъ обстановка въ корнѣ измѣнилась, такъ какъ на сторону возставшихъ перешли запасные баталіоны Литовскаго, Волинскаго, Преображенскаго, и сапернаго гвардейскихъ полковъ. Именно запасные баталіоны, такъ какъ настоящіе гвардейскіе полки находились тогда на Юго-западномъ фронтѣ. Эти баталіоны не отличались ни дисциплиной, ни настрoenіемъ отъ прочихъ имперскихъ запасныхъ частей.

Командный составъ многихъ частей растерялся, не рѣшилъ сразу основной линіи своего поведенія, и эта двойственность послужила отчасти причиной устраненія его вліянія и власти.

Войска вышли на улицу безъ офицеровъ, слились съ толпой и восприняли ея психологію.

Вооруженная толпа, возбужденная до послѣдней степени, опьяненная свободой, подогрѣваемая уличными ораторами, текла по улицамъ, сметая баррикады, присоединяя къ себѣ все новыя толпы еще колебавшихся...

Безпощадно избивались полицейскіе отряды. Встрѣчавшихся офицеровъ обезоруживали, иногда убивали. Вооруженный народъ овладѣлъ арсеналомъ, Петропавловской крѣпостью, Крестами (тюрьма)...

Въ этотъ рѣшительный день вождей не было, была одна

¹⁾ При посѣщеніи его генераломъ Корниловымъ.

стихія. Въ ея грозномъ теченіи не видѣлось тогда ни цѣли, ни плана, ни лозунговъ. Единственнымъ общимъ выраженіемъ настроенія былъ кличъ : — Да здравствуетъ свобода!

Кто то долженъ былъ овладѣть движеніемъ. И послѣ горячихъ споровъ, послѣ проявленія нѣкоторой растерянности и нерѣшительности эту роль приняла на себя Государственная Дума, выдѣливъ изъ своей среды « Комитетъ Государственной Думы » ¹⁾, который въ такихъ осторожныхъ выраженіяхъ объявилъ 27 февраля о существѣ своего назначенія :

«Временный комитетъ членовъ Государственной Думы при тяжелыхъ условіяхъ внутренней разрухи, вызванной мѣрами стараго правительства, нашелъ себя вынужденнымъ взять въ свои руки возстановленіе государственнаго и общественнаго порядка... Комитетъ выражаетъ увѣренность, что населеніе и армія помогутъ ему въ трудной задачѣ созданія новаго правительства, соотвѣтствующаго желаніямъ населенія и могущаго пользоваться его довѣріемъ ».

Центромъ политической жизни страны стала Дума, которая, несомнѣнно, къ тому времени, послѣ патріотической и національной борьбы ея противъ ненавистнаго народу правительства, послѣ большой и плодотворной работы въ интересахъ арміи, пользовалась широкимъ признаніемъ во всей странѣ и арміи. Никто другой не могъ стать во главѣ движенія. Никто другой не могъ получить такое довѣріе страны и такое быстрое и полное признаніе верховной властью, какъ власть, исходившая изъ нѣдръ Государственной Думы. Это обстоятельство отлично было учтено Петроградскимъ совѣтомъ рабочихъ депутатовъ, который тогда еще не претендовалъ на *официальное* возглавленіе россійскаго правительства. Такое отношеніе *тогда* къ Государственной Думѣ породило иллюзію « всенародности » Временнаго правительства, ею созданнаго.

Поэтому, наряду съ частями, смѣшавшимися съ вооруженной толпой и громившими все, что слишкомъ рѣзко напоминало старую власть, наряду съ отрядами, оставшимися ей вѣрными и оказавшими сопротивленіе, къ Таврическому дворцу стали подходить войсковыя части съ командирами и офицерами, съ музыкой и знаменами и по всѣмъ правиламъ стараго ритуала привѣтствовали новую власть въ лицѣ предсѣдателя Государственной Думы Родзянко.

Таврическій дворецъ представлялъ изъ себя нсобыкновенную картину : законодатели, сановники, солдаты, рабочіе,

¹⁾ М. В. Родзянко. Н. В. Некрасовъ. А. И. Коноваловъ. И. И. Дмитрюковъ. А. Ф. Керенскій. В. В. Шульгинъ. С. И. Шидловскій. П. Н. Милуковъ. М. А. Карауловъ. В. Н. Львовъ. В. А. Ржевскій. М. С. Чхеидзе, который отказался, предпочитая предсѣдательствованіе въ совѣтѣ рабочихъ депутатовъ. Потомъ вступилъ Б. Энгельгардтъ.

женщины... Палата, военный бивакъ, тюрьма, штабъ, министерства... Сюда стекалось все, искавшее защиты и спасенія, жаждавшее руководства и отвѣта на вставшіе вдругъ недоумѣнные вопросы...

Но въ тотъ-же день 27 февраля изъ стѣнъ Таврическаго дворца вышло объявленіе :

« Граждане! Засѣдающіе въ Государственной Думѣ представители рабочихъ, солдатъ и населенія Петрограда объявляютъ, что первое засѣданіе ихъ представителей состоится сегодня въ 7 час. вечера въ помѣщеніи Государственной Думы. Всѣмъ перешедшимъ на сторону народа войскамъ немедленно избрать своихъ представителей по одному на каждую роту. Заводамъ избрать своихъ депутатовъ по одному на каждую тысячу. Заводы, имѣющіе менѣе тысячи рабочихъ, избираютъ по одному депутату »...

Этотъ фактъ имѣлъ чрезвычайное и роковое вліяніе на весь ходъ послѣдующихъ событій : 1) создалъ параллельно Временному правительству органъ неофіціальной, но, несомнѣнно, болѣе сильной власти Совѣта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, борьба съ которымъ оказалась не подъ силу правительству; 2) придавъ политическому перевороту и буржуазной революціи организованныя формы и характеръ революціи соціальной, которая была немыслима при современномъ состояніи страны и не могла пройти безъ страшныхъ потрясеній въ періодъ яжелой внѣшней войны; 3) установилъ тѣсную связь между тяготѣвшимъ къ большевизму и пораженчеству Совѣтсмъ и арміей, что внесло въ нее постоянный бродящій ферментъ, приведшій къ разложенію.

И когда войска стройными рядами, съ командирами и офицерами, дефилировали мимо Таврическаго дворца, это была лишь показная внѣшность. Связь между офицерствомъ и солдатами была уже въ корнѣ нарушена, дисциплина подорвана, и съ тѣхъ поръ войска петроградскаго округа до послѣднихъ своихъ дней представляли опричину, тяготѣющую своей грубой и темной силой надъ Временнымъ правительствомъ. Впослѣдствіи всѣ усилія Гучкова, Корнилова и Ставки повліять на нихъ или вывести на фронтъ остались тщетными, встрѣчая рѣзкое сопротивленіе Совѣта.

Временами среди войсковыхъ частей вспыхивало вновь сильное броженіе, иногда форменный военный бунтъ. Члены Думы разъѣзжали по казармамъ успокаивать войска. Попытка Гучкова совместно съ ген. Потаповымъ и княземъ Вяземскимъ водворить порядокъ въ Измайловскомъ полку завершилась печально : измайловцы и петроградцы открыли огонь, кн. Вяземскій былъ смертельно раненъ, а спутники его пробились съ большимъ трудомъ. По свидѣтельству Потапова, бывшаго предсѣдателя военной коммисіи, вѣдавшей внѣшней обороной

Петрограда, къ 3-му марта полки пришли въ полное разстройство. «Только 176 полкъ сохранялъ еще порядокъ и занялъ Царскосельскій вокзалъ; Балтійскій же и Варшавскій вокзалы и впереди лежащія позиціи, въ ожиданіи подходившихъ съ фронта эшелоновъ, были заняты почти исключительно офицерскими командами. Тѣ-же офицеры пробивались навстрѣчу, направленнымъ войскамъ и смѣло среди нихъ разясняли происходившія событія, чѣмъ много содѣйствовали общему успѣху и предотвратили кровопролитіе».

Фактически къ Петрограду подходили, главнымъ образомъ по собственной инициативѣ, войсковыя части изъ его окрестностей, вливавшіяся затѣмъ въ составъ гарнизона.

Офицерство несомнѣнно переживало тяжелую драму, ставъ между вѣрностью присягѣ, недовѣріемъ и враждебностью солдатъ и велѣніемъ цѣлесообразности. Часть офицеровъ, очень небольшая, оказала вооруженное сопротивленіе возстанію и въ большинствѣ погибла, часть уклонилась отъ факческаго участія въ событіяхъ, но большая часть въ рядахъ полковъ, сохранившихъ относительный порядокъ, въ лицѣ Государственной Думы искала разрѣшенія вопросовъ мятущейся совѣсти.

Большое собраніе офицеровъ, находившихся въ Петроградѣ, 1 марта вынесло постановленіе: «идя рука объ руку съ народомъ... признавая, что для побѣдоноснаго окончанія войны необходима скорѣйшая организація порядка и дружная работа въ тылу, единогласно постановили признать власть исполнительнаго комитета Государственной Думы впредь до созыва Учредительнаго Собранія».

* * *

Безудержная вакханалія, какой-то садизмъ власти, который проявляли смѣнявшіеся одинъ за другимъ правители распутинскаго назначенія, къ началу 1917 года привели къ тому, что въ государствѣ не было ни одной политической партіи, ни одного сословія, ни одного класса, на которое могло-бы опереться царское правительство. Врагомъ народа его считали всѣ: Пуришкевичъ и Чхеидзе, объединенное дворянство и рабочія группы, великіе князья и сколько-нибудь образованные солдаты.

Въ мои намѣренія не входитъ изслѣдованіе дѣятельности правительства, приведшей къ революціи, и борьбы его съ народомъ и представительными учрежденіями. Я суммирую лишь тѣ обвиненія, которыя справедливо предъявлены были ему наканунѣ паденія Государственной Думой.

Всѣ государственныя, сословныя и общественныя учрежденія — Государственный Совѣтъ, Государственная Дума, дво-

рянство, земство, городское самоуправление и объединение — были взяты под подозрѣніе въ неблагонадежности, и правительство вело съ ними формальную борьбу, парализуя всякую ихъ государственную и общественную работу.

Безправіе и сыскъ доведены были до небывалой еще степени. Русскій независимый судъ подчиненъ былъ «требованіямъ политическаго момента».

Въ то время, какъ въ союзныхъ странахъ вся общественность приняла горячее участіе въ работѣ на оборону страны, у насъ эта помощь презрительно отверглась, и работа велась неумѣлыми, иногда, преступными руками, вызвавъ фатальныя явленія сухомлиновщины и протопоповщины. Военно-промышленный комитетъ, оказавшій дѣлу снабженія арміи большія услуги, систематически разрушался. Незадолго до революціи рабочая группа его была безъ причины арестована, что едва не вызвало кровавыхъ безпорядковъ въ столицѣ.

Правительственными мѣропріятіями, при отсутствіи общественной организаціи, разстраивалась промышленная жизнь страны, транспортъ, исчезало топливо. Правительство оказалось безсильно и неумѣло въ борьбѣ съ этой разрухой, одной изъ причинъ которой были несомнѣнно и эгоистическія, иногда хищническія устремленія торгово-промышленниковъ.

Деревня была обездолена. Рядъ тяжкихъ мобилизацій безъ какихъ либо льготъ и изъятій, когорыя предоставлялись другимъ классамъ, работавшимъ на оборону, отняли у нея рабочія руки. А неустойчивость твердыхъ цѣнъ, съ поправками, внесенными въ пользу крупнаго землевладѣнія — въ началѣ, и затѣмъ злоупотребленіе въ системѣ разверстки хлѣбной повинности, при отсутствіи товарообмѣна съ городомъ, привели къ прекращенію подвоза хлѣба, голоду въ городѣ и репрессіямъ въ деревнѣ.

Служилый классъ, вслѣдствіе огромнаго поднятія цѣнъ и необезпеченности, бѣдствовалъ и ропталъ.

Назначенія министровъ поражали своей неожиданностью и казались издѣвательствомъ. Страна устами Государственной Думы и лучшихъ людей требовала отвѣтственнаго министерства. Этотъ минимумъ политическихъ чаяній русскаго общества еще утромъ 27 февраля считался Государственной Думой достаточнымъ, чтобы задержать «послѣдній часъ, когда рѣшалась судьба Родины и династіи»... ¹⁾

Общественная мысль и печать были задушены. Широко раздвинувшая предѣлы своего вѣдѣнія военная цензура внутреннихъ округовъ (въ томъ числѣ Московскаго и Петроградскаго) была неуязвимой, скрываясь за военное положеніе, въ которомъ находились эти округа, и за статьи 93 и 441 положенія

¹⁾ Телеграмма Родзянко Государю.

о полевомъ управленіи войскъ, въ силу которыхъ отъ командующихъ и главнокомандующихъ « никакое правительственное мѣсто, учрежденіе или лицо въ интересахъ не могутъ требовать отчетовъ ». Общая цензура не уступала въ улушеніи. Въ одномъ изъ засѣданій Думы обсуждался такой поразительный фактъ. Когда въ февралѣ 1917 года, не безъ участія нѣмецкой руки, начало распространяться по заводамъ забастовочное движеніе, члены рабочей группы военно промышленнаго комитета составили воззваніе :

« Товарищи рабочіе Петрограда! Считаемо своимъ долгомъ обратиться къ вамъ съ настоящимъ предложеніемъ немедленно приступить къ работамъ. Рабочій классъ, въ сознаніи своей отвѣтственности переживаемаго момента, не долженъ ослаблять своихъ силъ затягиваніемъ забастовки. Интересы рабочаго класса зовутъ васъ къ станкамъ ».

Это воззваніе, не взирая на обращеніе Гучкова¹⁾ къ министру внутреннихъ дѣлъ и къ главному цензору, дважды было снято съ печатныхъ станковъ и пропущено не было...

Если въ государственной дѣятельности павшаго правительства въ области хозяйственно-экономической — подлежить изслѣдованію и выясненію вопросъ, что должно быть отнесено за счетъ дѣятелей и системы, и что за счетъ непреодолимыхъ условій потрясеннаго міровой войной организма страны, то удушеніе совѣсти, мысли, духа народнаго и общественной инициативы — не найдетъ оправданія.

Неудивительно поэтому, что Москва и провинція присоединились почти безъ оръбъ къ перевороту. Въ Петрограда, гдѣ, за многими исключеніями, не было той жути отъ кровавыхъ столкновеній и безчинства опьянѣлой толпы, переворотъ былъ встрѣченъ еще съ большимъ удовлетвореніемъ, даже ликова-ніемъ. И не только революціонной демократіей, но и просто демократіей, буржуазіей и служилымъ элементомъ. Небывалое оживленіе, тысячныя толпы народа, возбужденныя лица, возбужденныя рѣчи, радость освобожденія отъ висѣвшаго надъ всѣми тяжелаго маразма, свѣтлыя надежды на будущее Россіи и, наконецъ, повисшее въ воздухѣ, воспроизводимое въ рѣчи, въ начертаніяхъ, въ образахъ, музыкѣ, пѣніи, волнуемое — тогда еще не забрызганное пошлостью, грязью и кровью — слово :

— Свобода!

« Эта революція — единственная въ своемъ родѣ » — писалъ князь Евгений Трубецкой. — Бывали революціи буржуазныя, бывали и пролетарскія, но революціи національной въ такомъ широкомъ значеніи слова, какъ нынѣшняя, русская, доселѣ не было на свѣтѣ. Всѣ участвовали въ этой революціи,

¹⁾ Предсѣдатель комитета.

всѣ ея дѣлали — и пролетаріатъ и войска, и буржуазія, даже дворянство... всѣ вообще живыя общественныя силы страны... Только бы это объединеніе сохранилось »...

Въ этихъ словахъ отразились чаянія и тревоги русской интеллигенціи, но не печальная русская дѣйствительность. И кровавые бунты въ Гельсингфорсѣ, Кронштадтѣ, Ревелѣ, гибель адмирала Непенина и многихъ офицеровъ служили первымъ предостереженіемъ для оптимистовъ...



Жертвы первыхъ дней революціи въ столицѣ были не велики : регистрація Всероссийскаго союза городовъ опредѣлила ихъ для Петрограда общимъ числомъ убитыхъ и раненыхъ въ 1.443, въ томъ числѣ воинскихъ чиновъ 869 (офицеровъ 60). Конечно много раненыхъ избѣгло учета.

Однако, положеніе Петрограда, выбитаго изъ колеи, насыщеннаго горючимъ матеріаломъ и вооруженными людьми, долго еще было крайне неопредѣленнымъ и напряженнымъ.

Отъ членовъ Государственной Думы и правительства, впослѣдствіи я слышалъ, что всѣ сильно колебались, и они все время чувствовали себя сидящими на бочкѣ съ порохомъ, который ежеминутно могъ вспыхнуть и уничтожить ихъ всѣхъ и создаваемое ими государственное зданіе.

Товарищъ предсѣдателя Совѣта р. и с. д., Скобелевъ говорилъ журналистамъ : « долженъ сознаться, что когда я въ началѣ революціи вышелъ на крыльцо Таврическаго дворца, чтобы встрѣтить кучку солдатъ, приходившихъ первыми въ Государственную Думу, и обратился къ нимъ съ рѣчью, я былъ почти убѣжденъ, что я говорю одну изъ своихъ послѣднихъ рѣчей, что пройдетъ нѣсколько дней и я буду разстрѣлянъ или повѣшенъ ».

А нѣсколько офицеровъ — участниковъ событій увѣряли меня, что растерянность и всеобщее непониманіе положенія въ столицѣ были такъ велики, что *одинъ твердый баталіонъ*, во главѣ съ начальникомъ, понимающимъ чего онъ хочетъ, могъ повернуть вверхъ дномъ всю обстановку.

Какъ бы то ни было, 2 марта Временный комитетъ членовъ Государственной Думы объявилъ о созданіи Временнаго правительства ¹⁾, которое, послѣ длительныхъ переговоровъ съ параллельнымъ органомъ « демократической власти » — Совѣтомъ рабочихъ депутатовъ, издало декларацію :

1) « Полная и немедленная амнистія по всѣмъ дѣламъ политическимъ и религіознымъ, въ томъ числѣ террористическимъ

¹⁾ Князь Львовъ, Миллюковъ, Гучковъ, Коноваловъ, Мануиловъ, Терещенко, Львовъ, Шингаревъ, Годневъ, Керенскій.

покушеніямъ, военнымъ возстаніямъ, аграрнымъ преступленіямъ и т. д.

2) Свобода слова, печати, союзовъ, собраній и стачекъ, съ распространеніемъ политическихъ свободъ на военно-служащихъ въ предѣлахъ, допускаемыхъ военно-техническими условіями.

3) Отмѣна всѣхъ сословныхъ, вѣроисповѣдныхъ и національных ограниченій.

4) Немедленная подготовка къ созыву на началахъ всеобщаго равнаго, прямого и тайнаго голосованія Учредительнаго Собранія, которое установитъ форму правленія и конституцію страны.

5) Замѣна полиціи народной милиціей съ выборнымъ начальствомъ, подчиненнымъ органамъ мѣстнаго самоуправленія.

6) Выборы въ органы мѣстнаго самоуправления на основаніи всеобщаго, равнаго, прямого и тайнаго голосованія.

7) Не разоруженіе и не выводъ изъ Петрограда воинскихъ частей, принимавшихъ участіе въ революціонномъ движеніи.

8) При сохраненіи воинской дисциплины въ строю и при несеніи военной службы — устраненіе для солдатъ всѣхъ ограниченій въ пользованіи общественными правами, предоставленными всѣмъ остальнымъ гражданамъ.

Временное правительство считаетъ своимъ долгомъ присокупить, что оно отнюдь не намѣрено воспользоваться военными обстоятельствами для какого-либо промедленія по осуществленію вышеизложенныхъ реформъ и мѣропріятій ».

Эта декларация носила слишкомъ явные слѣды давленія «параллельной» власти. Послѣдняя въ свою очередь издала воззваніе, въ которомъ, между прочимъ, говорилось : «... въ той мѣрѣ, въ какой зарождающаяся власть будетъ дѣйствовать въ направленіи осуществленія этихъ обязательствъ и рѣшительной борьбы со старой властью, демократія должна оказать ей свою поддержку » и далѣе : « ради успѣха революціонной борьбы надо проявить терпимость и забвеніе несущественныхъ проступковъ противъ демократіи тѣхъ офицеровъ, которые присоединились къ той рѣшительной и окончательной борьбѣ, которую вы ведете со старымъ режимомъ ».

Какъ извѣстно, той-же демократической властью наканунѣ былъ изданъ приказъ № 1.

« Я часто мечталъ объ этой революціи, которая должна была облегчить тяготы нашей войны — говоритъ Людендорфъ ¹⁾ Вѣчная химера! Но сегодня мечта вдругъ исполнилась непредвидѣнно. Я почувствовалъ, что съ меня спала очень большая

¹⁾ « Mes souvenirs de Guerre ».

тяжесть. Но я не могъ предположить, что она станетъ могилой для нашего могущества ».

Важнѣйшій дѣятель Германіи—страны, такъ много поработавшей для отравленія души русскаго народа, пришелъ къ позднему сознанію, что « наше моральное паденіе началось съ началомъ русской революціи »...

Революція и армія. — Приказъ № 1.

Событія застали меня далеко отъ столицы, въ Румыніи, гдѣ я командовалъ 8-мъ армейскимъ корпусомъ. Оторванные отъ родины, мы, если и чувствовали извѣстную напряженность политической атмосферы, то не были подготовлены вовсе ни къ такой неожиданно скорой развязкѣ, ни къ тѣмъ формамъ, которыя она приняла.

Фронтъ былъ поглощенъ своими частными интересами и заботами. Готовились къ зимнему наступленію, которое вызывало совершенно отрицательное отношеніе къ себѣ у всего команднаго состава нашей 4-ой арміи; употребляли всѣ усилія, чтобы ослабить до нѣкоторой хотя бы степени ту ужасную хозяйственную разруху, которую создали намъ румынскіе пути сообщенія. Гдѣ-то, въ Новороссіи, на нашей базѣ всего было достаточно, но до насъ ничего не доходило. Лошади дохли отъ безкормицы, люди мерзли безъ сапогъ и теплаго бѣлья, и заболѣвали тысячами; изъ нетопленныхъ румынскихъ вагоновъ, неприспособленныхъ подъ больныхъ и раненыхъ, вынимали окоченѣлые трупы и складывали, какъ дрова, на станціонныхъ платформахъ. Молва катилась, преувеличивая отдѣльные эпизоды, волновала, искала виновныхъ...

Мѣстами, въ особенности на фронтѣ 9-ой арміи, на высокихъ горахъ, въ жестокую стужу, въ холодныхъ землянкахъ по недѣлямъ жили на позиціи люди — замерзавшіе, полуголодные ; съ огромнымъ трудомъ по козьимъ тропамъ доставляли имъ хлѣбъ и консервы.

Потомъ съ большимъ трудомъ жизнь какъ будто немного наладилась. Во всякомъ случаѣ, едва-ли когда-нибудь въ теченіе отечественной войны, войскамъ приходилось жить въ такихъ тяжкихъ условіяхъ, какъ на Румынскомъ фронтѣ зимою 1916-17 года. Я подчеркиваю это обстоятельство, принимая во вниманіе, что войска Румынскаго фронта сохранили большую боеспособность и развалились вполнѣдствіи позже всѣхъ. Этотъ фактъ свидѣтельствуетъ, что со временъ Суворовскаго швейцарскаго похода и Севастополя не измѣнилась необык-

новенная выносливость русской армии, что тяжесть боевой жизни не имѣла значенія въ вопросѣ о моральномъ ея состояніи и что растлѣніе шло въ строгой послѣдовательности отъ центра (Петрограда) къ периферіямъ.

Утромъ 3-го марта мнѣ подали телеграмму изъ штаба армии « для личнаго свѣдѣнія » о томъ, что въ Петроградѣ вспыхнуло возстаніе, что власть перешла къ Государственной Думѣ и что ожидается опубликованіе важныхъ государственныхъ актовъ. Черезъ нѣсколько часовъ телеграфъ передалъ и манифесты императора Николая II и великаго князя Михаила Александровича. Сначала было приказано распространить ихъ, потомъ, къ немалому моему смущенію (телефоны разнесли уже вѣсть), задержать, потомъ, наконецъ, снова — распространить. Эти колебанія, повидимому, были вызваны переговорами Временнаго комитета Государственной Думы и штаба Сѣвернаго фронта о задержкѣ опубликованія актовъ, ввиду неожиданнаго измѣненія государемъ основной ихъ идеи : наслѣдованіе престола не Алексѣемъ Николаевичемъ, а Михаиломъ Александровичемъ. Задержать, однако, уже не удалось.

Войска были ошеломлены — трудно опредѣлить другимъ словомъ первое впечатлѣніе, которое произвело опубликованіе манифестовъ. Ни радости, ни горя. Тихое, сосредоточенное молчаніе. Такъ встрѣтили полки 14-ой и 15-й дивизій вѣсть объ отреченіи своего императора. И только мѣстами въ строю непроизвольно колыхались ружья, взятыя на караулъ, и по щекамъ старыхъ солдатъ катились слезы...

Спустя нѣкоторое время, когда улеглось первое впечатлѣніе, я два раза собиралъ старшихъ начальниковъ обѣихъ дивизій съ цѣлью выяснить настроеніе войскъ и бесѣдовалъ съ частями. Эти доклады, личные впечатлѣнія, донесенія сосѣднихъ корпусовъ, которыя я читалъ потомъ въ штабѣ армии, даютъ мнѣ возможность оцѣнить объективно это настроеніе. Главнымъ образомъ, конечно, офицерской среды, ибо солдатская масса — слишкомъ темная, чтобы разобраться въ событіяхъ и слишкомъ инертная, чтобы тотчасъ реагировать на нихъ — тогда не вполне еще опредѣлилась.

Чтобы передать точно тогдашнее настроеніе, не преломленное сквозь призму времени, я приведу выдержки изъ своего письма къ близкимъ отъ 8 марта :

« Перевернулась страница исторіи. Первое впечатлѣніе ошеломляющее, благодаря своей полной неожиданности и грандіозности. Но въ общемъ войска отнеслись ко всѣмъ событіямъ совершенно спокойно. Высказываются осторожно, но въ настроеніи массы можно уловить совершенно опредѣленные теченія :

1) Возвратъ къ прежнему немыслимъ.

2) Страна получить государственное устройство, достойное

великаго народа: вѣроятно, конституціонную ограниченную монархію.

3) Конецъ нѣмецкому засилію, и побѣдное продолженіе войны ».

Отреченіе государя сочли неизбѣжнымъ слѣдствіемъ всей нашей внутренней политики послѣднихъ лѣтъ. Но никакого озлобленія лично противъ него и противъ царской семьи не было. Все было прощено и забыто. Наоборотъ, всѣ интересовались ихъ судьбой и опасались за нее.

Назначеніе Верховнымъ главнокомандующимъ Николая Николаевича и его начальникомъ штаба генерала Алексѣева было встрѣчено и въ офицерской и въ солдатской средѣ вполне благопріятно.

Интересовались, будетъ ли армія представлена въ Учредительномъ Собраніи.

Къ составу Временнаго правительства отнеслись довольно безучастно, къ назначенію военнымъ министромъ штатскаго человѣка отрицательно, и только участіе его въ работахъ по государственной оборонѣ и близость къ офицерскимъ кругамъ сглаживали впечатлѣніе.

Многимъ кажется удивительнымъ и непонятнымъ тотъ фактъ, что крушеніе вѣкового монархическаго строя не вызвало среди арміи, воспитанной въ его традиціяхъ, не только борьбы, но даже отдѣльных вспышекъ. Что армія не создала своей Вандеи...

Мнѣ извѣстны только три эпизода рѣзкаго протеста : движеніе отряда генерала Иванова на Царское Село, организованное Ставкой въ первые дни волненій въ Петроградѣ, выполненное весьма неумѣло и вскорѣ отмѣненное, и двѣ телеграммы, посланныя государю командирами 3-го коннаго и гвардейскаго коннаго корпусовъ, графомъ Келлеромъ ¹⁾ и ханомъ Нахичеванскимъ. Оба они предлагали себя и свои войска въ распоряженіе государя для подавленія « мятежа »...

Было бы ошибочно думать, что армія являлась вполне подготовленной для воспріятія временной « демократической республики », что въ ней не было « вѣрныхъ частей » и « вѣрныхъ начальниковъ », которые рѣшились бы вступить въ борьбу. Несомнѣнно были. Но сдерживающимъ началомъ для всѣхъ ихъ являлись два обстоятельства : первое — видимая легальность обоихъ актовъ отреченія, причемъ, второй изъ нихъ, призывая подчиниться Временному правительству, « облеченному всей полнотой власти », выбивалъ изъ рукъ монархистовъ всякое оружіе, и второе — боязнь междоусобной войной открыть фронтъ. Армія тогда была послушна своимъ вождямъ. А они — генералъ Алексѣевъ, всѣ главнокомандующіе — при-

¹⁾ Убитъ въ Кіевѣ въ 1918 году петлюровцами.

знали новую власть. Вновь назначенный Верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевичъ, въ первомъ приказѣ своемъ говорилъ : « Установлена власть въ лицѣ новаго правительства. Для пользы нашей родины я, Верховный главнокомандующій, призналъ ее, показавъ тѣмъ примѣръ нашего воинскаго долга. Повелѣваю всѣмъ чинамъ славной нашей арміи и флота неуклонно повиноваться установленному правительству черезъ своихъ прямыхъ начальниковъ. Только тогда Богъ намъ дастъ побѣду ».



Время шло.

Отъ частей корпуса стало поступать ко мнѣ множество крупныхъ и мелкихъ недоумѣнныхъ вопросовъ :

Кто-же у насъ представляетъ верховную власть: Временный комитетъ, создавшій Временное правительство, или это послѣднее? Запросилъ, не получилъ отвѣта. Само Временное правительство, повидимому, не отдавало себѣ яснаго отчета о существѣ своей власти.

Кого помянуть на богослуженіи?

Пѣть ли народный гимнъ и « спаси Господи люди Твоя »?..

Эти кажущіяся мелочи вносили, однако, нѣкоторое смущеніе въ умы и нарушали установившійся военный обиходъ.

Начальники просили скорѣе установить присягу.

Былъ и такой вопросъ : имѣлъ ли право императоръ Николай Александровичъ отказаться отъ правъ престолонаслѣдія за своего несовершеннолѣтняго сына?..

Скоро, однако, другіе вопросы стали занимать войска : полученъ былъ первый приказъ военнаго министра Гучкова, съ измѣненіями устава внутренней службы въ пользу « демократизаціи арміи ». ¹⁾ Этимъ приказомъ, на первый взглядъ довольно безобиднымъ, отмѣнялось титулованіе офицеровъ, обращеніе къ солдатамъ на « ты » и цѣлый рядъ мелкихъ ограниченій, установленныхъ для солдатъ уставомъ — воспрещеніе куренія на улицахъ и въ другихъ общественныхъ мѣстахъ, посѣщенія клубовъ и собраній, игры въ карты и т. д.

Послѣдствія были совершенно неожиданныя для лицъ, не знавшихъ солдатской психологіи. Строевые-же начальники понимали, что, если необходимо устранить нѣкоторыя отжившія формы, то дѣлать это надо исподволь, осторожно, а главное, отнюдь не придавая этому характера « завоеваній революціи »...

Солдатская масса, не вдумавшись нисколько въ смыслъ этихъ мелкихъ измѣненій устава, приняла ихъ просто, какъ

¹⁾ Отъ 5 марта.

освобожденіе отъ стѣснительнаго регламента службы, быта и чиновочитанія.

— Свобода, и конечно!

Впослѣдствіи военному министру, въ приказѣ 24 марта, пришлось разъяснять такія, напримѣръ, положенія: «воинскимъ чинамъ предоставлено право *свободнаго* посѣщенія, наравнѣ со всѣми гражданами, всѣхъ общественныхъ мѣстъ, театровъ, собраній, концертовъ и проч., а также и право проѣзда по желѣзнымъ дорогамъ въ нагонахъ всѣхъ классовъ. Однако, право *свободы* посѣщенія этихъ мѣстъ отнюдь не означаетъ права бесплатнаго пользованія ими, какъ то повидимому понято нѣкоторыми солдатами»...

Нарушеніе дисциплины и неуважительное отношеніе къ начальникамъ усилились. Въ частяхъ, и особенно въ тыловыхъ, начала сильно развиваться карточная игра съ дурными послѣдствіями для солдатъ, имѣвшихъ на рукахъ казенныя деньги или причастныхъ къ хозяйству. Командовавшій 4-ой арміей для прекращенія этого явленія принялъ весьма демократическую мѣру, запретивъ на время войны карточную игру *всѣмъ* — генераламъ, офицерамъ и солдатамъ. Временное правительство только 22 августа 1917 года, обезпокоенное послѣдствіями этого, казалось, мелкаго измѣненія устава въ пользу демократизаціи, сочло себя *вынужденнымъ особымъ* постановленіемъ «воспретить военнослужащимъ на театрѣ военныхъ дѣйствій, а также въ казармахъ, дворахъ, военныхъ помѣщеніяхъ и внѣ театра войны — всякую игру въ карты».

Но если всѣ эти мелкія измѣненія устава, распространительно толкуемыя солдатами, отражались только въ большей или меньшей степени на воинской дисциплинѣ, то разрѣшеніе военнымъ лицамъ во время войны и революціи «участвовать въ качествѣ членовъ въ различныхъ союзахъ и обществахъ, образуемыхъ съ политической цѣлью»... представляло уже угрозу самому существованію арміи.

Ставка, обезпокоенная этимъ обстоятельствомъ, прибѣгнула тогда къ небывалому еще въ арміи способу плебисцита: *всѣмъ* начальникамъ, до командира полка включительно, предложено было высказаться по поводу новыхъ приказовъ въ телеграммахъ, адресованныхъ непосредственно военному министру. Я не знаю, справился ли телеграфъ со своей задачей, достигла-ли назначенія эта огромная масса телеграммъ, но *всѣ* тѣ, которыя стали мнѣ извѣстны, были полны осужденія, во *всѣхъ* сквозилъ страхъ за будущее арміи.

А въ то-же время Военный совѣтъ, состоявшій изъ старшихъ генераловъ — якобы хранителей опыта и традиціи арміи — въ Петроградѣ, въ засѣданіи своемъ 10 марта постановилъ доложить Временному правительству:

«... Военный совѣтъ считаетъ своимъ долгомъ засвидѣ-

тельствовать полную свою солидарность съ тѣми энергичными мѣрами, которыя Временное правительство принимаетъ въ отношеніи реформъ нашихъ вооруженныхъ силъ, соотвѣтственно новому укладу жизни въ государствѣ и арміи, въ убѣжденіи, что эти реформы наилучшимъ образомъ будутъ способствовать скорѣйшей побѣдѣ нашего оружія и освобожденію Европы отъ гнета прусскаго милитаризма ».

Я не могу послѣ этого не войти въ положеніе штатскаго военнаго министра.

Намъ трудно было понять, какими мотивами руководствовалось военное министерство, издавая свои приказы. Мы не знали тогда о безудержномъ оппортунизмѣ лицъ, окружавшихъ военнаго министра, о томъ, что Временное правительство находится въ плѣну у Совѣта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ и вступило съ нимъ на путь соглашательства, являясь всегда страдательной стороной ¹⁾.

* * *

1-го марта Совѣтомъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ былъ отданъ приказъ № 1, приведшій къ переходу фактической военной власти къ солдатскимъ комитетамъ, къ выборному началу и смѣнѣ солдатами начальниковъ, — приказъ, имѣющій такую широкую и печальную извѣстность и давшій первый и главный толчокъ къ развалу арміи.

ПРИКАЗЪ № 1.

1 марта 1917 года.

По гарнизону Петроградскаго округа всѣмъ солдатамъ гвардіи, арміи, артиллеріи и флота для немедленнаго и точнаго исполненія, а рабочимъ Петрограда для свѣдѣнія.

Совѣтъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ постановилъ :

1) Во всѣхъ ротахъ, баталіонахъ, полкахъ, паркахъ, батареяхъ, эскадронахъ и отдѣльныхъ службахъ разнаго рода военныхъ управленій и на судахъ военнаго флота немедленно выбрать комитеты изъ выборныхъ представителей отъ нижнихъ чиновъ вышеуказанныхъ воинскихъ частей.

2) Во всѣхъ воинскихъ частяхъ, которыя еще не выбрали своихъ представителей въ Совѣтъ Рабочихъ Депутатовъ, избрать по одному представителю отъ ротъ, которымъ и явиться съ письменными удостовѣреніями въ зданіе Государственной Думы къ 10 часамъ утра, 2-го сего марта.

1) На съѣздѣ совѣтовъ (30 марта) Церетелли призналъ, что въ контактной комиссіи не было случая, чтобы въ важныхъ вопросахъ Временное правительство не шло на соглашеніе.

3) Во всѣхъ своихъ политическихъ выступленіяхъ воинская часть подчиняется Совѣту Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ и своимъ комитетамъ.

4) Приказы военной комиссіи Государственной Думы слѣдуетъ исполнять только въ тѣхъ случаяхъ, когда они не противорѣчаютъ приказамъ и постановленіямъ Совѣта Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ.

5) Всякаго рода оружіе, какъ-то : винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее должно находиться въ распоряженіи и подъ контролемъ ротныхъ и баталіонныхъ комитетовъ и ни въ какомъ случаѣ не выдаваться офицерамъ, даже по ихъ требованіямъ.

6) Въ строю и при отправленіи служебныхъ обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но внѣ службы и строя, въ своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты ни въ чемъ не могутъ быть умалены въ тѣхъ правахъ, коими пользуются всѣ граждане.

Въ частности, встаніе во фронтъ и обязательное отдаваніе чести внѣ службы отиѣняется.

7) Равнымъ образомъ отиѣняется титулованіе офицеровъ : ваше превосходительство, благородіе и т. п., и замѣняется обращеніемъ : господинъ генералъ, господинъ полковникъ и т. д.

Грубое обращеніе съ солдатами всякихъ воинскихъ чиновъ и въ частности обращеніе къ нимъ на «ты», воспрещается и о всякомъ нарушеніи сего, равно какъ и о всѣхъ недоразумѣніяхъ между офицерами и солдатами, послѣдніе обязаны доводить до свѣдѣнія ротныхъ комитетовъ.

Петроградскій Совѣтъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ.

Генералъ Монкевицъ увѣряетъ, что приказъ такого-же содержанія онъ читалъ въ 1905 году въ Красноярскѣ, изданный совѣтомъ депутатовъ 3-го желѣзнодорожнаго баталіона ¹⁾. Несомнѣнно приказъ этотъ — штампъ социалистической мысли, не поднявшейся до пониманія законовъ бытія арміи или, вѣрнѣе, наоборотъ — сознательно ниспровергавшей ихъ. Редактированіе приказа приписываютъ присяжному повѣренному Н. Д. Соколову, который извлекъ, якобы, образецъ его изъ своего архива, какъ бывший защитникъ по дѣлу совѣта 1905 года. Генералъ Потаповъ называетъ имена составителей приказа № 2, дополнившаго первый, въ предположеніи, что та-же комиссія редактировала и № 1. ²⁾

¹⁾ Монкевицъ. La décomposition de l'armée russe.

²⁾ Соколовъ, Доброницкій, Борисовъ, Кудрявцевъ, Филипповскій, Падергинъ, Заасъ, Чекалинъ, Кремковъ.

Миллюковъ упоминаетъ о томъ, будто 4 марта рѣшено было расклеить заявленіе Керенскаго и Чхеидзе, что приказъ № 1 не исходитъ отъ Совѣта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ. Такое заявленіе не попало ни въ печать, ни на фронтъ и совершенно не соответствовало-бы истинѣ, ибо выпускъ приказа Совѣтомъ не подлежитъ никакому сомнѣнію и подтверждается его руководителями.

Результаты приказа № 1 отлично были поняты вождями революціонной демократіи. Говорятъ, что Керенскій вполнѣдствіи патетически заявлялъ, что отдалъ бы десять лѣтъ жизни, чтобы приказъ не былъ подписанъ... Произведенное военными властями разслѣдованіе « не обнаружило » авторовъ его. Чхеидзе и прочіе столпы Совѣта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ вполнѣдствіи отвергали участіе свое личное и членовъ комитета въ редактированіи приказа.

Пилаты! Они умывали руки, отвергая начертаніе своего же символа вѣры. Ибо въ отчетѣ о секретномъ засѣданіи правительства, главнокомандующихъ и исполнительнаго комитета рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ 4 мая 1917 года записаны ихъ слова. ¹⁾

Церетелли : « Вамъ, можетъ быть, былъ бы понятенъ приказъ № 1, если бы вы знали обстановку, въ которой онъ былъ изданъ. Передъ нами была неорганизованная толпа и ее надо было организовать »...

Скобелевъ : « Я считаю необходимымъ разъяснить ту обстановку, при которой былъ изданъ приказъ № 1. Въ войскахъ, которые свергли старый режимъ, командный составъ не присоединился къ возставшимъ и, чтобы лишить его значенія, мы были вынуждены издать приказъ № 1. У насъ была скрытая тревога, какъ отнесется къ революціи фронтъ. Отдаваемые распоряженія внушали опасенія. Сегодня мы убѣдились, что основанія для этого были ».

Еще болѣе искреннимъ былъ Іосифъ Гольденбергъ, членъ Совѣта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ и редакторъ « Новой Жизни ». Онъ говорилъ французскому писателю Claude Alet ²⁾ :

« Приказъ № 1 — не ошибка, а необходимость. Его редактировалъ не Соколовъ; онъ является единодушнымъ выраженіемъ воли Совѣта. Въ день, когда мы « сдѣлали революцію », мы поняли, что если не развалить старую армію, она раздавитъ революцію. Мы должны были выбирать между арміей и революціей. Мы не колебались : мы приняли рѣшеніе въ пользу послѣдней и употребили — я смѣло утверждаю это — надлежащее средство ».

¹⁾ См. главу XXII.

²⁾ La révolution russe.

5 марта Совѣтъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ отдалъ приказъ № 2 « въ разъясненіе и дополненіе № 1 ». Приказъ этотъ, оставляя въ силѣ всѣ основныя положенія, установленныя № 1-мъ, добавлялъ : приказъ № 1 установилъ комитеты, но не выборное начальство; тѣмъ не менѣе, всѣ произведенныя уже выборы офицеровъ должны остаться въ силѣ; комитеты имѣютъ право возражать противъ назначенія начальниковъ; всѣ петроградскіе солдаты должны подчиняться политическому руководству исключительно Совѣта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, а въ вопросахъ, относящихся до военной службы — военнымъ властямъ. Этотъ приказъ, весьма несущественно отличавшійся отъ № 1-го, былъ уже скрѣпленъ предсѣдателемъ военной комиссіи Временнаго правительства...

Генераль Потаповъ, именовавшійся « предсѣдателемъ военной комиссіи Государственной Думы », такъ говоритъ о создавшихся взаимоотношеніяхъ между Совѣтомъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ и военнымъ министромъ : « 6 марта вечеромъ на квартиру Гучкова пришла делегація Совдепа въ составѣ Соколова, Нахамкеса и Филипповскаго (ст. лейтенантъ), Скобелева, Гвоздева, солдатъ Падергина и Кудрявцева (инженера) по вопросу о реформахъ въ арміи... Происходившее засѣданіе было очень бурнымъ. Требованія делегаціи Гучковъ призналъ для себя невозможными и нѣсколько разъ выходилъ, заявляя о сложении съ себя званія министра. Съ его уходомъ я принималъ предсѣдательствованіе, вырабатывались соглашенія, снова приглашался Гучковъ, и засѣданіе закончилось воззваніемъ, которое было подписано отъ совдепа Скобелевымъ, отъ комитета Государственной Думы мною и отъ правительства — Гучковымъ. Воззваніе аннулировало приказы № 1 и № 2, но военный министръ далъ обѣщаніе проведенія въ арміи болѣе реальныхъ, чѣмъ онъ предполагалъ, реформъ по введенію новыхъ правилъ взаимоотношеній команднаго состава и солдатъ ». Эти реформы должна была провести комиссія генерала Поливанова.

Единственнымъ компетентнымъ военнымъ человекомъ въ этомъ своеобразномъ « военномъ совѣтѣ » являлся генераль Потаповъ, который и долженъ нести свою долю нравственной отвѣтственности за « болѣе реальныя реформы »...

Въ дѣйствительности же, воззваніе, опубликованное въ газетахъ 8 марта вовсе не аннулировало приказовъ № 1 и № 2, а лишь разъяснило, что они относятся только къ войскамъ Петроградскаго военного округа. « Что же касается армій фронта, то военный министръ обѣщалъ незамедлительно выработать, въ согласіи съ Исполнительнымъ комитетомъ совѣта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, новыя правила отношеній солдатъ и команднаго состава ». Какъ приказъ № 2, такъ и это воззваніе не получили никакого распространенія въ вой-

скахъ и ни въ малѣйшей степени не повліяли на ходъ событій, вызванныхъ къ жизни приказомъ № 1.

Быстрое и повсемѣстное, по всему фронту и тылу, распространѣніе приказа № 1 обуславливалось тѣмъ обстоятельствомъ, что идеи, проведенныя въ немъ, зрѣли и культивировались много лѣтъ — одинаково въ подпольяхъ Петрограда и Владивостока, какъ заученныя прописи проповѣдывались всѣми мѣстными армейскими демагогами, всѣми наводнившими фронтъ делегатами, снабженными печатю неприкосновенности отъ Совѣта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ.

Были и такіе факты : въ самомъ началѣ революціи, когда еще никакіе совѣтскіе приказы не проникли на Румынскій фронтъ, командующій 6-ой арміей генераль Цуриковъ по требованію мѣстныхъ демагоговъ ввелъ у себя комитеты и даже пространной телеграммой, заключавшей доказательства пользы нововведенія, сообщилъ объ этомъ и намъ — командирамъ корпусовъ чужой арміи.

Съ другой стороны нѣкоторыя солдатскія организаціи отнеслись отрицательно къ приказу, считая его провокаціей. Такъ нижегородскій совѣтъ солдатскихъ депутатовъ 4 марта постановилъ не принимать къ исполненію полученную « прокламацію » и призвать войска « повиноваться Временному правительству, его органамъ и командному составу ».



Мало-по-малу солдатская масса зашевелилась. Началось съ тыловъ, всегда болѣе развращенныхъ, чѣмъ строевыя части; среди военной полуинтеллигенціи — писарей, фельдшеровъ, въ техническихъ командахъ. Ко второй половинѣ марта, когда въ нашихъ частяхъ только усилились нѣсколько дисциплинарныя проступки, командующій 4-ой арміей въ своей главной квартирѣ ожидалъ съ часу на часъ, что его арестуютъ распущенныя нестроевыя банды...

Прислали, наконецъ, текстъ присяги « на вѣрность службы Россійскому государству ». Идея верховной власти была выражена словами :

« ... Обязуюсь повиноваться Временному правительству, нынѣ возглавляющему русское государство, впредь до установленія воли народа при посредствѣ Учредительнаго собранія ».

Приведеніе войскъ къ присягѣ повсюду прошло спокойно, но идиллическихъ ожиданій начальниковъ не оправдало : ни подъема, ни успокоенія въ смятенные умы не внесло. Могу отмѣтить лишь два характерныхъ эпизода. Командиръ одного изъ корпусовъ на Румынскомъ фронтѣ во время церемоніи присяги умеръ отъ разрыва сердца. Графъ Келлеръ заявилъ, что приводить къ присягѣ свой корпусъ не станеть, такъ какъ

не понимаетъ существа и юридическаго обоснованія ¹⁾ верховной власти Временнаго правительства; не понимаетъ, какъ можно присягать повиноваться Львову, Керенскому и прочимъ опредѣленнымъ лицамъ, которые могутъ вѣдь быть удалены или оставить свои посты... Князь Репнинъ 20 вѣка послѣ судебной волокиты ушелъ на покой, и до самой смерти своей не одѣлъ машкеры...

Было-ли дѣйствительно принесеніе присяги машкерой? Думаю, что для многихъ лицъ, которые не считали присягу простой формальностью — далеко не однихъ монархистовъ — это, во всякомъ случаѣ, была большая внутренняя драма, тяжело переживаемая; это была тяжелая жертва, приносимая во спасеніе Родины и для сохраненія арміи...

Въ половинѣ марта я былъ вызванъ на совѣщаніе къ командующему 4-ой арміей, генералу Рагозѣ. Участвовали генералы Гавриловъ, Сычевскій и начальникъ штаба Юнаковъ ²⁾. Отсутствовалъ графъ Келлеръ, не признавшій новой власти.

Намъ прочли длинную телеграмму генерала Алексѣева, полную безпросвѣтнаго пессимизма, о начинающейся дезорганизаціи правительственнаго аппарата и развалѣ арміи; демагогическая дѣятельность Совѣта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, тяготѣвшаго надъ волей и совѣстью Временнаго правительства; полное безсиліе послѣдняго; вмѣшательство обоихъ органовъ въ управленіе арміей. Въ качествѣ противодѣйствующаго средства противъ развала арміи намѣчалась... посылка государственно мыслящихъ делегатовъ изъ состава Думы и Совѣта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ на фронтъ для убѣжденія...

На всѣхъ телеграмма произвела одинаковое впечатлѣніе :

Ставка выпустила изъ своихъ рукъ управленіе арміей. Между тѣмъ, грозный окрикъ верховнаго командованія, подержанный сохранившей въ первыя двѣ недѣли дисциплину и повиновеніе арміей, быть можетъ, могъ поставить на мѣсто переоцѣнивавшій свое значеніе Совѣтъ, не допуститъ «демократизаціи» арміи и оказать соотвѣтственное давленіе на весь ходъ политическихъ событій, не нося характера ни контръ-революціи, ни военной диктатуры. Лояльность команднаго состава и полное отсутствіе съ его стороны активнаго противодѣйствія разрушительной политикѣ Петрограда, превзошли всѣ ожиданія революціонной демонстраціи.

Корниловское выступленіе запоздало...

Мы составили сообща отвѣтную телеграмму, предлагая

¹⁾ На вопросъ толпы, кто выбралъ Временное правительство, Миллюковъ отвѣтилъ: — Насъ выбрала русская революція.

²⁾ Впослѣдствіи — начальникъ штаба Петлюры.

рѣшительныя мѣры противъ чужого вмѣшательства въ военное управление.

Въ штабѣ я ознакомился съ телеграммами Родзянко и Алексѣева главнокомандующимъ и отъ нихъ государю. Какъ извѣстно, всѣ главнокомандующіе ¹⁾ присоединились къ просьбѣ Родзянко. Но Западный фронтъ долго задерживалъ отвѣтъ; Румынскій также долго уклонялся отъ прямого отвѣта и все добивался по аппарату у сосѣднихъ штабовъ, какой отвѣтъ дали другіе. Наконецъ, отъ Румынскаго фронта послана была телеграмма, въ первой части которой высказывалось глубокое возмущеніе « дерзкимъ предложеніемъ председателя Государственной Думы », а во второй, принимая во вниманіе сложившуюся обстановку, какъ единственный выходъ, указывалось, принятіе предложенія...

18 марта я получилъ приказаніе немедленно, отправиться въ Петроградъ къ военному министру. Быстро собравшись, я выѣхалъ въ ту-же ночь, и, пользуясь сложной комбинаціей повозокъ, автомобилей и желѣзныхъ дорогъ, на 6-ой день прибылъ въ столицу.

По пути, проѣзжая черезъ штабы Лечицкаго, Каледина, Брусилова, встрѣчая много лицъ военныхъ и причастныхъ къ арміи, я слышалъ все однѣ и тѣ-же горькія жалобы, все одну и ту-же просьбу :

— Скажите имъ, что они губятъ армію...

Телеграмма не давала никакого намека на цѣль моего вызова. Полная, волнующая неизвѣстность, всевозможныя догадки и предположенія.

Только въ Кіевѣ слова пробѣгавшаго мимо газетчика поразили меня своей полной неожиданностью :

— Послѣднія новости... Назначеніе генерала Деникина начальникомъ штаба Верховнаго главнокомандующаго...

1) Всѣ: кн. Николай Николаевичъ, Рузскій, Эвертъ, Брусиловъ, Сахаровъ.

Главный редактор
Е. А. Брейтбарт-Самсонова

Адрес редакции журнала «Грани»:
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,
D 6230 Frankfurt a. M. 80
Тел. (069) 34 46 71

Непринятые рукописи не возвращаются.

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

Дорогие читатели!

Стремясь облегчить проникновение нашего журнала в Россию, а также ознакомить вас с лучшими напечатанными в нем произведениями, редакция журнала „Грани” выпускает карманные сборники избранного из „Граней”.

Эти сборники, размером 9,5 на 14,5 см, отпечатаны на тонкой бумаге и содержат в среднем 512 страниц. Они легко помещаются в кармане или женской сумочке. Каждому путешественнику – советскому ли за рубежом, иностранному ли в России – не трудно взять их с собой.

Мы обращаемся к читателям в России:

- передавайте свой экземпляр дальше, увеличивая тем число читателей;*
- просите друзей, едущих за границу, привезти вам наши сборники;*
- просите своих иностранных знакомых привезти вам их, вместо подарка!*

Мы обращаемся к читателям за рубежом:

- используйте каждую возможность (встречу с соотечественниками, свои или друзей поездки в нашу страну и т. п.), чтобы передать в Россию наши сборники!*

Эти сборники предназначены для России! Каждый, желающий их иметь ДЛЯ РОССИИ, – может получить нужное количество экземпляров, обратившись по адресу:

А. Kandaurov c/o „Possev-Verlag”

Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/Main 80

Уже выпущены следующие сборники „Граней”:

Сборник	№ 1	из	№№	87/88-94 (разошелся)
Сборник	№ 2	из	№№	78-86 (разошелся)
Сборник	№ 3	из	№№	71-77 (разошелся)
Сборник	№ 4	из	№№	69-70 (разошелся)
Сборник	№ 5	из	№№	53-68
Сборник	№ 6	из	№№	49-52
Сборник	№ 7	из	№№	40-51
Сборник	№ 8	из	№№	34/35-39

